

ЙОХАН ХЕЙЗИНГА

ЙОХАН ХЕЙЗИНГА

ТЕНИ
ЗАВТРАШНЕГО
ДНЯ
ЧЕЛОВЕК
И КУЛЬТУРА
ЗАТЕМНЁННЫЙ
МИР





JOHAN
HUIZINGA

IN DE SCHADUWEN VAN MORGEN

DER MENSCH UND DIE KULTUR

GESCHONDEN WERELD

ЙОХАН ХЕЙЗИНГА

ТЕНИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА

ЗАТЕМНЁННЫЙ МИР

*составление, перевод и предисловие Д. В. Сильвестрова
комментарий Д. Э. Харитоновича*



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИВАНА ЛИМБАХА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2010

УДК 94(492)+930.85
ББК 63.3(4Нид)–7*63.3
X 35

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Нидерландского фонда литературных изданий и переводов
(Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds),
Фонда принца Бернхарда
(Prins Bernhard Cultuurfonds),
Фонда Вильгельмины Янсен
(Wilhelmina E. Jansen Fonds) и
Посольства Королевства Нидерландов в Москве

X35 Хёйзинга Йохан. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затем-
ненный мир: Эссе / Сост., пер. с нидерл. и предисл. Д. Сильвестрова;
Коммент. Д. Харитоновича. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха,
2010. — 456 с.

ISBN 978-5-89059-127-2

Книга включает социокультурные работы выдающегося нидерландско-го историка Йохана Хёйзинги (1872–1945). В эссе *Тени завтрашнего дня* исследуются причины и возможные следствия духовного обнищания европейской цивилизации в преддверии надвигающейся катастрофы — Второй мировой войны. Статья *Человек и культура* обосновывает нерасторжимое единство этих понятий. В эссе *Затемненный мир* содержится краткий историко-культурный анализ событий многовековой жизни Европы, и на его основе высказывается прогноз о возрождении культуры в послевоенный период. Произведения Й. Хёйзинги отличаются глубиной и высоким гуманизмом, они провозглашают и отстаивают неизменную ценность духовной свободы.

Книга предназначена как специалистам — историкам, философам, культурологам, — так и широкому кругу интеллигентных читателей.

© 1935, 2010 The Estate of Johan Huizinga
(In de schaduwen van morgen)

© 1938, 2010 The Estate of Johan Huizinga
(Der mensch und die kultur)

© 1945, 2010 The Estate of Johan Huizinga
(Geschonden wereld)

© 2008, Prometheus
(Martinus Nijhoff, Verzamelde gedichten,
Voor dag en dauw, 8 sonnetten)

© Д. В. Сильвестров, составление,
предисловие, перевод, 2010

© Д. Э. Харитонович, комментарии,
указатель имен, 2010

© Н. А. Теплов, оформление, 2010

© Издательство Ивана Лимбаха, 2010

ПРЕДИСЛОВИЕ

В трех эссе, предлагаемых нами вниманию читателя, выдающийся нидерландский историк Йохан Хёйзинга (1872–1945) выступает как социальный критик и культуролог. Научно-публицистическое творчество Хёйзинги оказывало большое влияние на современников и продолжает привлекать нас сегодня. Знаменитый очерк *Тени завтрашнего дня* (1935), статья *Человек и культура* (1938) и законченное незадолго до смерти и опубликованное посмертно культурологическое исследование *Затемненный мир* (1943) захватывают нас своим историко-культурным анализом, своим гуманизмом.

8 марта 1935 г. в Брюсселе Хёйзинга прочитал доклад на тему *Кризис культуры*. Доклад имел явный успех. На основе его Хёйзинга пишет эссе *Тени завтрашнего дня*, которое выходит в свет в октябре того же года. Эта работа и в Нидерландах и за их пределами стала не менее известна, чем *Осень Средневековья* (1919) и впоследствии *Homo ludens* (1938). Подзаголовок эссе гласит: *Диагноз духовного недуга нашего времени*; недуг — «смутный страх перед ближайшим будущим, чувство упадка и заката нашей цивилизации. Это не просто кошмары, мучающие нас в праздные ночные часы, когда пламя жизни горит слабее всего. Это трезво взвешенные ожидания, основанные на наблюдениях и выводах». И тем более поразительно, что, предваряя свой мрачный анализ кратким Предисловием, Хёйзинга, имя которого современники помещали в одном ряду с именами таких культурпессимистов, как Хосе Ортега-и-Гассет и Освальд Шпенглер, называет себя оптимистом. Подобное определение многие или попросту не принимали, или пытались отнести его к некоей философской риторике. Сын Йохана Хёйзинги Якоб, в то время корреспондент газеты *Nieuwe Rotterdamse Courant* в Лондоне, в письме к отцу от 24 августа 1936 г. писал: «...твой вид оптимизма в конце концов не что иное, как вера в от-

носительную неважность всего, что происходит в этой юдоли скорби. Это метафизический оптимизм, если можно так выразиться»*.

Вглядимся пристальнее в само название очерка *In de schaduwen van morgen*. Смысл его далеко не однозначен. Слово *schaduw* [тень] стоит во множественном числе (*schaduwen*), с предлогом *in* [в]; далее, в родительном падеже, стоит слово *morgen* [завтра]. В сочетании с подзаголовком заглавие звучит мрачным пророчеством, предостережением о грядущем завтрашнем дне, тени которого уже сгустились над нами. Зловещие тени будущего — одна из устойчивых библейских метафор. Но в слове *morgen* слышится и *de morgen* [утро]. Тогда заглавие может быть прочитано как *Тени утра*, и оно говорит нам об утренних, предрассветных тенях, которые неминуемо рассеются с наступлением дня. И это, конечно, взгляд оптимиста!

Эссе *In de schaduwen van morgen* известно по-русски как *В тени завтрашнего дня*. Но Хёйзинга говорит не об одной тени, а об их множестве, что принципиально важно. Однако заглавие *В тенях завтрашнего дня* выглядело бы неуклюже.

Заглавие очерка двусмысленно, особенно в сравнении с предельной ясностью подзаголовка. Для характеристики своего времени Хёйзинга нашел емкую формулу. В ней исчерпывающе воплотилась не только чуткость историка, видевшего катастрофическое падение интеллектуальных и моральных ценностей и чудовищный рост самого дикого национализма, грозивший миру новой, еще более жестокой войной, — но и вера в неотъемлемо присущее человеку благородство, побуждающее его неизменно противостоять злу.

Знаменательно свидетельство поэта Мартинюса Нейхоффа (1894–1953). Он пишет Хёйзинге 1 сентября 1936 г.**, что в магазинах объявления об этой книге вывесили уже за несколько недель до ее появления: «Слова *In de schaduwen van morgen* можно было понять совершенно по-разному. Мне, например, слышалось в них

* J. Huizinga. Briefwisseling, I (1894–1924); II (1925–1933); III (1934–1945). Veen, Tjeenk Willink, Utrecht/Antwerpen, 1989–1991; III. 1221.

** Briefwisseling, III. 1222.

более *A l'ombre de l'aube* [В тени рассвета], чем *A l'ombre de l'avenir* [В тени будущего]. Но после того как я прочитал саму книгу, я понял, что <...> Вы делаете ударение в большей степени на *schaduw*, чем на *morgen*». Тем не менее Нейхофф принял уверение Хёйзинги в том, что он — оптимист, скорее Исаия, нежели Иеремия: «Господь утешит Сион <...> и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа» (Ис 51, 3). Письмо Нейхоффа предшествует восьми ясным и глубоким сонетам, навеянным книгой Хёйзинги*.

В сонетах примечательно отразилась амбивалентность названия *In de schaduwen van morgen*: по тону они оптимистичны, персонажи их преисполнены бодрости и надежды, что полностью соответствует самоопределению Хёйзинги, книгой которого были вызваны к жизни эти восемь сонетов. Однако то в одном, то в другом из них внезапно прорываются тревога, отчаяние, сознание неотвратимости наказания за поругание морали в жизни современного общества. Если в I сонете сменяющий ночной мрак рассвет сравнивается с осеняющей мир Божией дланью, то в III сонете вид пустынного города на рассвете порождает ассоциацию с библейским пророчеством о гибели Израиля. Такая же внезапная тревога возникает в V сонете. Покой, безмятежность, надежду олицетворяют дети (II и VII сонеты), человек дела (инженер в I сонете), художник (VIII сонет). Выздоровление, возрождение, сколь бы драматичными они ни были, обещают IV и VI сонеты. Перед нами предстает поразительная картина перевода социально-критического произведения Хёйзинги на язык поэзии. Восемь сонетов Мартинюса Нейхоффа вобрали в себя духовное содержание трактата *In de schaduwen van morgen*, с абсолютной эмоциональной точностью раскрыли содержание его названия, не сводимого к четкой логической формуле. Вспоминается только один аналогичный случай, когда прозаическому произведению сопутствует поэтическая квинтэссенция, прямо не затрагивающая его содержание, но предельно точно выражающая его смысл и значение: стихи к роману Бориса Пастернака *Доктор Живаго*.

* См. Приложение на сс. 419–439 наст. изд.

За два года очерк *Тени завтрашнего дня* выдержал шесть изданий и еще при жизни Хёйзинги был переведен на девять языков. Известный английский дипломат, активный деятель Лиги Наций, лауреат Нобелевской премии мира 1937 г. виконт Сесил Челвуд (1864–1958) предлагал Хёйзинге написать продолжение *Теней*. В письме от 7 сентября 1936 г. Мартинюсу Нейхоффу, сообщившему ему об этом, Хёйзинга отвечал: «Писать продолжение бестселлера — дурной тон. Но если я всё-таки когда-нибудь напишу продолжение, то исходным пунктом станут эти восемь сонетов»^{*}.

Мы не знаем, вдохновлялся ли Хёйзинга этими восемью сонетами Нейхоффа, когда, уже будучи изгнан оккупантами из родного Лейденского университета и из самого Лейдена, приступил к своей последней работе — пространному очерку *Geschonden wereld* [*Затемненный мир*].

Хотя имя его уже в мае 1940 г. было внесено оккупантами в список потенциальных заложников, Хёйзинга отказался от сделанного ему в августе предложения эмигрировать в США, ссылаясь на свой долг перед страной и университетом. 26 ноября 1940 г. профессор Рудольф П. Клеверинга (1894–1980) произносит пламенную речь против антиеврейских постановлений оккупационных властей. Занятия в университете прекращены. Профессор Клеверинга арестован. В апреле 1942 г. Хёйзинга подает прошение об отставке. С 1 июля он больше не профессор Лейденского университета, который 26 ноября закрыт окончательно. В августе Хёйзингу отправляют в лагерь заложников Синт-Михелсгестел. Через три месяца его выпускают, но запрещают пребывание в Лейдене. Оставшийся более двадцати лет вдовцом, Хёйзинга со второй женой и маленькой дочкой живет в деревне Де Стеег, близ Арнема, в доме, предоставленном ему его коллегой, профессором Клеверингой, за время оккупации дважды находившимся под арестом. Оторванный от своей библиотеки, архивов, по памяти, Хёйзинга пишет краткую историю европейской цивилизации, с течением времени всё

^{*} Briefwisseling, III. 1224.

больше и больше отступающей перед аморальностью и невежеством.

Очерк, написанный Хёйзингой во время войны и законченный к концу 1944 г., незадолго до смерти, непосредственно продолжает тематику *Schaduiwen* [Теней], и само заглавие его — *Geschonden wereld* (*гесхонден верелд*) — не случайно фонетически перекликается с *In de schaduiwen van morgen* (*ин де схадювен фан морген*). Русское заглавие *Затемненный мир* кажется поэтому достаточно убедительным. *Затемненный*, не будучи точным переводом слова *geschonden* [поврежденный], гораздо ближе ему по тону, нисколько не противоречит самой сути метафоры и полностью отвечает содержанию очерка, описывающего мир, который пренебрег светом разума и погрузился в темень варварства, с его доселе неслыханными злодеяниями.

Поврежденный в заглавии звучало бы излишне энергично и напряженно, тогда как в слове *затемненный* нет безнадежности; *затемненность* не навсегда, она неминуемо кончится — а ведь именно в этом весь пафос очерка!

Очерку *Затемненный мир* предшествует статья *Человек и культура*. Она представляет собой доклад, подготовленный для выступления в Австрии в мае 1938 г. и не прочитанный из-за вступления туда в марте немецких войск. Написанный по-немецки доклад, провозглашающий нерасторжимость личности и культуры, в той или иной степени волился затем в очерк *Затемненный мир*, однако он представляет несомненную ценность как выразительное и лаконичное изложение взглядов Хёйзинги на суть обозначенной им проблемы.

Все три публикуемые произведения носят открыто публицистический характер и обращены к самой широкой публике.

Эссе *Тени завтрашнего дня* зародилось в атмосфере бурных споров относительно общественной значимости либерализма. Антиинтеллектуализм подтачивал основы свободомыслия. Диктаторские режимы Германии, Италии и России представляли непосредственную угрозу духовным ценностям, самым моральным основам за-

падного мира. О кризисе, упадке культуры говорилось и писалось немало*, но с таким широким охватом, с такой ясностью и убедительностью, и столь выразительно, это прозвучало впервые. Хёйзинга вскрывал *диагноз недуга* и, хотя и не предлагал средств излечения, указывал единственный, по его глубокому убеждению, путь: необходимость осознания того, что высшее направляющее начало всякой человеческой жизни содержится исключительно в христианской этике, — только сознательным возвращением к ней можно спасти культуру, и «только личность может быть тем сосудом, где хранится культура»**.

Хёйзингу упрекали за то, что, описывая недуг конкретного *времени*, он указывает на слишком уж общие средства спасения, средства *на все времена*. Однако если дьявол — в деталях, это вовсе не значит, что бороться нужно с деталями. Бороться нужно именно с дьяволом. Человек — стадное животное. Но он волен сам выбирать себе стадо (или, говоря иначе, *референтную группу*)! Книжки Хёйзинги помогают нам делать выбор в пользу осознанного стремления к высоким духовным ценностям, к духовной свободе личности.

Друг Хёйзинги, бельгийский историк Анри Пиренн, в письме от 30 ноября 1933 г., говоря о Германии и указывая на массовое оболванивание граждан, цитирует относящиеся к 1849 г. строки австрийского поэта Франца Грильпарцера (1791–1872):

* *Кризис искусства* Николая Бердяева (Москва, 1918); труды Питири-ма Сорокина. Джордж Харинк (*In de schaduwen van morgen*. Ingeleid en geannoteerd door George Harinck. Aspekt, 2007) говорит об оживленно дискутировавшихся в Нидерландах работах: G. J. Heering. *De zondeval van het christendom* [Грехопадение христианства], 1928; B. D. Eerdmans. *Het geestelijk probleem van onzen tijd* [Духовная проблема нашего времени], 1932.

** В письме к племяннику, писателю и литературному критику Менно тер Брааку от 29 декабря 1938 г. См.: Briefwisseling, III. 1334.

Der Weg der neueren Bildung geht	Путь новейшего образования идет
Von Humanität	От гуманности
Durch Nationalität	Через национализм
Zur Bestialität*.	К озверению.

Острота неприятия наиболее пронизательными людьми всепо-
дающей власти государства, беспрекословно подчиняющегося
воле вождя, особенно заметна на фоне реакции тех, кто проявлял
безразличие, а нередко и одобрял появление сильной руки, взяв-
шейся навести порядок у себя дома. Швейцарский историк Церк-
ви Вальтер Кёлер (1870–1946) в письме Хёйзинге от 26 марта
1933 г. наивно писал: «Если Германия при Гитлере добьется того
же, чего добилась Италия при Муссолини, мы будем только радо-
ваться. И не только мы. Ибо если одна страна возвышается, то и все
прочие возрастают с ней вместе»**. В письме от 28 марта Хёйзинга
отвечает, пока еще достаточно сдержанно: «Что сказать о ходе ми-
ровых событий? Об опасности войны никто здесь не думает. Твер-
дой руки против опасности потрясений многие желают также и
здесь. Историк знает, что всё требует времени. Что значат всего
14 лет после конца войны для развития столь сложного мира, как
наш?»*** Не будем забывать о том, что тогда не только никто не
знал о событиях, о которых теперь знаем мы, но и в самом страш-
ном сне не мог бы себе представить масштабы их ужасов.

Хёйзинга верил, что его труд не напрасен, что везде есть люди,
не поддающиеся пропаганде. Вот одно из свидетельств. Немецкий
историк Йоханнес Халлер (1865–1947) в письме от 10 февраля
1935 г. говорит о теплой реакции публики, когда на заседании
Historischer Verein [Исторического общества] в Мюнстере 15 но-
ября 1934 г., где присутствовало не менее 600 человек, в своем док-
ладе *Über die Aufgaben des Historikers* [О задачах историка] он высо-

* Briefwisseling, II. 1064.

** Briefwisseling, II. 992.

*** Briefwisseling, II. 993.

ко отозвался о Хёйзинге: «Ваше мнение о сегодняшней Германии, возможно, немного улучшилось бы, если бы Вы смогли убедиться, что и сегодня всё еще справедливы слова: „Впрочем, Я оставил между Израильянами семь тысяч [мужей]; всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его“ (Цар 19, 18)»*.

В социокультурных очерках Хёйзинги через его отношение к своему времени раскрывается личность автора. Для нас это не менее важно, чем систематическое изложение рассматриваемого им материала, подробный анализ и выводы. В пространном Предисловии к недавнему нидерландскому изданию эссе *In de schaduw van morgen* Джордж Харинк называет *Тени* ключом к творчеству и к личности Йохана Хёйзинги. Он отмечает, что исторические сочинения Хёйзинги не порывали с современной ему действительностью, и его актуальная критика культуры всегда исторически мотивирована**.

Говоря об угрозе культуре, Хёйзинга искал для последней поддержки в истории: «История как наука — это форма, в которой культура отдает себе отчет в собственном прошлом». Поэтому с таким отчаянием писал он об отказе от интеллектуализма, когда «логос вытесняется мифом». Свидетелями этого процесса мы все являемся и сегодня.

Мы не можем не коснуться одного обстоятельства, а именно критического отношения Хёйзинги к современному ему изобразительному искусству. Отождествление искусства, черпающего вдохновение в мифологии, мистике, религиозном чувстве (Марк Шагал), с философией жизни, сколь бы очевидной иногда ни казалась подобная аналогия, неправомерно. Визионерское, магическое искусство художественного авангарда, так же как и формальные новации художников 1920-х–1930-х гг., можно рассматривать как гуманистическую, персоналистскую реакцию на обезличенность тоталитаристской идеологии. Именно поэтому модернизму не было места ни в СССР, ни в нацистской Германии. Хёйзинга, когда пи-

* Briefwisseling, III. 1120.

** Op. cit.

сал *In de schaduwen van morgen*, еще не знал о выставке *Дегенеративное искусство* (*Entartete Kunst*), которая будет устроена нацистами в июле 1937 г.*

Йохан Хёйзинга подходил к новому искусству с мерками человека, воспитанного на классике, он был идеалистом, человеком не вполне XX века, в чем-то наивным. Тем более поражает охват и точность его анализа социально-политической картины недавней европейской истории, убедительность диагноза болезни нашей цивилизации. Он с пронзительной чуткостью отмечал ее больные места, потому что это была собственная его боль.

Многое, очень многое в этих очерках сохраняет поразительную актуальность. Высказанные там наблюдения и идеи вскоре стали неотъемлемой частью европейской культуры. Так, вышедшая уже после войны и получившая широкую известность книга Ханса Зедльмайра (1896–1984) *Verlust der Mitte*** по сути полностью воспроизводит многие суждения Хёйзинги, как в целом, так и в деталях, — при том что австрийский исследователь, безусловно читавший первый из публикуемых нами очерков, даже не упоминает имени знаменитого нидерландского историка и культуролога. Критику современного искусства, «утратившего центр — человека», Зедльмайр ведет с достаточно реакционных позиций. Взгляд его обращен вспять. Этот блестящий и тонкий знаток искусства, тесно сотрудничавший с нацистами, заставляет вспомнить другого блис-

* В июле 1937 г. в мюнхенском Доме искусств была открыта выставка под названием *Entartete Kunst* [Дегенеративное искусство] — термин нацистской пропаганды для обозначения авангардного искусства, которое объявлялось не только модернистским, антиклассическим, но и еврейско-большевистским, антигерманским, а потому опасным для нации и для всей арийской расы. На выставке экспонировалось около 650 произведений, конфискованных нацистами в 32 музеях Германии.

** Hans Sedlmayr. *Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit*. Salzburg, 1948. — Зедльмайр Ханс. Утрата Центра. Изобразительное искусство 19 и 20 столетий как символ эпохи. / Пер. с нем. С. С. Ванеяна. М., 2008.

тательного эстета — Андре Йоллеса (1874–1946), автора завоевавшей признание книги *Einfache Formen* [Простые формы]*, многолетнего ближайшего друга Йохана Хёйзинги; их дружбе пришел конец после вступления жившего в Германии Йоллеса в нацистскую партию.

В очерках Хёйзинги мы находим язвительную критику расистских теорий. Он подчеркивает, что характер *этнoса* ни в коем случае не определяется феноменом *расы* и неотделим от феномена *культуры*.

Вполне правомочно заключить, что упадок и конец культуры неминуемо связаны с концом соответствующего этноса.

Этнос и его культура находятся в нерасторжимом единстве. Беспочвенны и бесплодны попытки возрождения «былой культуры» без учета того, что и былой этнос уже безвозвратно утрачен.

«Возрождение культуры», на которое так надеялся Хёйзинга, по-видимому, возможно только как создание культуры того нового этноса, который постепенно создается в Европе.

Дмитрий Сильвестров

* André Jolles. *Einfache Formen*. Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz [Простые формы. Легенда, сказание, миф, загадка, притча, случай, воспоминание, сказка, шутка]. Halle (Saale), 1930.

ТЕНИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ*

ДИАГНОЗ ДУХОВНОГО НЕДУГА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Habet mundus iste noctes suas et non paucas**.

Бернард Клервоский

Моим детям

* Н. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V. Haarlem, 1939. 7-е издание.

** Имеет мир сей ночи свои, и их немало (лат.). Здесь и далее примеч. пер.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ИЗДАНИЯМ

Книга представляет собою переработанный доклад, прочитанный мною в Брюсселе 8 марта 1935 г.

Возможно, на основании изложенного на этих страницах многие сочтут меня пессимистом. На это я могу ответить только одно: я — оптимист.

Лейден, 30 июля 1935 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕДЬМОМУ ИЗДАНИЮ

Если через три года та же книга выходит вновь без каких-либо изменений, не следует делать вывод, что автора ни в коей мере не коснулась критика, которой подверглись его суждения. И до, и после автор осознавал наличие многих пробелов и мест, где он не слишком удачно излагает свои доказательства. И всё же работу над вопросами, столь злободневными, как те, что здесь рассматриваются, произведение, столь явно обязанное взгляду на один определенный период, следовало бы, — поскольку и спустя три года спрос на него всё еще существует, — либо писать заново и, по сути дела, иначе, либо оставить его таким, как оно есть, раз уж оно обрело свой собственный путь. Для первого мой взгляд еще не созрел: времена нынче запутанней, чем когда-либо ранее.

В этом предисловии всё же хотелось бы вкратце остановиться на нескольких пунктах. Многие спрашивали меня: вы видите наше время и нашу культуру в столь черном свете и тем не менее считаете себя оптимистом? — Мой ответ: да, именно так. Оптимистом называю я не того, кто при виде самых угрожающих зна-

ков упадка и разложения беспечно восклицает: «А! Пустяки! В конце концов всё уладится!» Оптимистом я называю того, кто даже тогда, когда путь к улучшению едва заметен, всё же не теряет надежды.

Многие говорили мне: вы ставите диагноз болезни, но не предлагаете ни прогноза на будущее, ни терапии недуга. — О том, что я не в силах дать прогноз, я и сам заявил (6-е изд., с. 200). Взяться за лечение, когда зло въелось так глубоко, было бы еще более дерзко. Указать возможности выздоровления — вот самое смелое, до чего я жажду возвыситься. Несколько ближе я подошел к этому вопросу в статье *Der Mensch und die Kultur* [Человек и культура]. Schriftenreihe «Ausblicke», Stockholm, Bermann-Fischer Verlag, 1938.

Пусть каждый для себя решит, возможен ли рост шансов на выздоровление. Да или нет, главное — сохранять мужество, веру и исполнять свой долг.

Лейден, 11 декабря 1938 г.

I. НАСТРОЕНИЯ ЗАКАТА

Мы живем в каком-то безумном мире. И мы это знаем. Ни для кого не было бы неожиданностью, если всеохватывающая одержимость взорвется однажды неистовством, из которого бедная Европа вынырнет оцепеневшей и поглупевшей; при этом моторы всё так же работали бы и флаги всё так же реяли, но дух отлетел бы.

Повсюду — сомнения в прочности общественного устройства, в котором мы существуем, смутный страх перед ближайшим будущим, чувство упадка и заката нашей цивилизации. Это не просто кошмары, мучающие нас в праздные ночные часы, когда пламя жизни горит слабее всего. Это трезво взвешенные ожидания, основанные на наблюдениях и выводах. Мы завалены фак-

тами. Мы видим, как на наших глазах расшатывается почти всё то, что некогда казалось прочным, священным: истина и человечность, разум и право. Мы видим государственные институты, которые более не функционируют, производственные структуры, которые балансируют на краю гибели. Мы видим, как безрассудно расточаются силы нашего общества. Грохочущая машина нашего кипучего времени, кажется, вот-вот остановится.

Но на ум сразу же приходит обратное. Никогда еще не было времени, когда человек настолько осознавал бы неотступную задачу сотрудничать в сохранении и поддержании земного благоденствия и культуры. Никогда ранее труд не был в таком почете. Никогда человек не был настолько готов работать, дерзать, в каждое мгновение посвящать свое мужество и свою личность всеобщему благу. Он не утратил надежды.

Чтобы цивилизация была спасена, чтобы она не канула в веховечное варварство, но, сохранив высшие ценности, которые являются ее наследием, перешла в новое и более устойчивое состояние, ныне живущему поколению необходимо полностью отдавать себе отчет в том, насколько далеко зашел распад, который ей угрожает.

Лишь недавно настроения грозящего заката и разрастающегося упадка культуры стали всеобщими. Для большинства только экономический кризис, пережитый собственной плотью (большинство теперь более чувствительны плотью, нежели духом), приготовил почву для таких мыслей. Вполне очевидно, что те, кто привык систематично и критически размышлять о культуре и общественной жизни: философы и социологи, — увидели раньше других, что с хваленой современной культурой не всё *в порядке*. Для них давно стало ясно, что расстройство экономики есть лишь одно из проявлений культурного процесса гораздо более широких масштабов.

В первые десять лет этого века пугающие ожидания, связанные с будущим культуры, еще вряд ли были известны. Трения и

угрозы, потрясения и страхи наличествовали тогда, как и в любое другое время. Но они не казались, быть может за исключением опасности Революции, которую марксизм явил миру, болезнями, угрожавшими крахом всего мирового устройства; и даже сама Революция выступала для ее противников как опасность, которую можно устранить или отвлечь, — тогда как ее сторонники видели в ней спасение, а не гибель. Декадентские настроения девяностых годов прошлого века почти не выходили за рамки литературной моды. Акции анархистов, казалось, утихли с убийством Мак-Кинли¹. Социализм, по-видимому, развивался в направлении реформизма. Первая Мирная конференция², несмотря на Англо-бурскую и Русско-японскую войны, как будто бы возвещала наступление эры мировой гармонии. Основным тоном повсеместных настроений в культуре оставалась твердая вера, что мир, управляемый белой расой, находится на верном и широком пути согласия и благоденствия, в условиях свободы и человечности, под защитой знания и могущества, достигших, казалось, почти пика своего развития. Согласия и благоденствия — если бы политика сохраняла разум! Но именно этого она и не делала.

Даже годы Мировой войны не привели к переменам. Всеобщее внимание тогда направлено было на непосредственные заботы: собрать все силы, чтобы пройти через *это*, а затем, когда всё *это* останется позади, всё делать гораздо лучше, да-да, непременно делать как следует! — И даже первые послевоенные годы прошли для многих всё еще в оптимистических ожиданиях благословенного интернационализма. К тому же наступление кажущегося расцвета промышленности и торговли, которому, однако, суждено было прекратиться в 1929 г., сдерживало всеобщий культурный пессимизм в течение этих нескольких лет.

Ныне же сознание того, что мы переживаем сильнейший, грозящий гибелью кризис культуры, распространилось в самых широких слоях. *Untergang des Abendlandes*³ стал для множества людей во всем мире сигналом тревоги. Это не означает, что все

читатели прославленной книги Шпенглера превратились в сторонников его взглядов. Но она приучила их к мысли о возможности упадка современной культуры, тогда как прежде они были проникнуты безотчетной верой в прогресс. Непокколебимый культурный оптимизм всё еще является достоянием тех, кто либо из-за недостатка проницательности не в состоянии осознать, чего именно не хватает культуре, ибо сами затронуты процессом упадка; либо, вооружившись спасительным социальным или политическим учением, полагают, что у них в руках мешок, полный будущей культуры, которую они готовы тотчас же вытряхнуть на обделенное человечество.

Между охваченными культурным пессимизмом и уверенными в грядущем земном блаженстве находятся те, кто видят серьезные беды и пороки нашего времени, кто, если и не знают, как их преодолеть или устранить, всё-таки трудятся и не теряют надежды; кто пытаются их осознать и намерены преодолеть все невзгоды.

Было бы крайне интересно, если бы удалось изобразить на графике ускорение, с которым слово *Прогресс* выходило из употребления во всем мире.

II. СТРАХИ СЕЙЧАС И РАНЬШЕ

Можно поставить вопрос, не переоцениваем ли мы серьезность кризиса культуры просто в силу того, что осознаем его с такой ясностью. Опасные периоды в прошлом ничего не знали об экономике, социологии, психологии. К тому же им не доставало непосредственной и всеобщей публичности относительно всего происходящего в мире. Мы же, напротив, видим каждую царапину на глазури, слышим каждый треск в швах. Само наше точное и многостороннее знание постоянно вынуждает нас задумываться о бесспорной *рискованности* происходящего, в котором мы обретаемся, о чрезвычайно лабильном характере общества как

такового. Мало того, что наш «горизонт ожиданий», как недавно метко выразился Карл Маннхайм¹, стал значительно шире, теперь всё находящееся вблизи него или на нем самом мы видим в бинокль нашей многогранной науки с пугающей ясностью.

Поэтому необходимо исторически ориентировать наше осознание кризиса — в сравнении с крупнейшими потрясениями прежнего времени. Тотчас же бросается в глаза существенное различие между тем, что мы видим сейчас, и тем, что виделось раньше. Сознание того, что наш мир (велик он или мал) в опасности, что ему угрожает упадок или закат, живо переживалось во многих эпохах. Однако, как правило, такое сознание было неотделимо от ожидания близящегося конца света. Ожидание само собой приводило к тому, что мысль «как отворотить беду?» не возникала вовсе. Прежнему кризисному сознанию, по самой природе явления, никогда не сопутствовала научная формулировка. Как таковое, оно принимало по преимуществу религиозные формы. В той мере, в коей мысли о конце света и Страшном суде оставляли место тревогам чисто земного свойства, ощущение надвигающейся гибели выражалось в неустойчивом состоянии смутного страха, частично находившего выход в ненависти, направленной против сил, которые люди считали виновными в земных бедствиях, а то и видели в них всеобщее зло: это могли быть еретики, ведьмы и колдуны, богачи, королевские советники, аристократы, иезуиты, франкмасоны, — в соответствии с тенденциями того или иного периода времени. Победа грубых и примитивных норм суждений в настоящее время у многих до чрезвычайности оживила фантастические измышления по поводу злых сил, направляемых дьяволом. Даже образованные люди сейчас во множестве поддаются *злобе дня*, разделяя суждения, которые были бы простительны лишь для низкой и невежественной черни.

Не всякое ожидание будущего и осуждение настоящего исходило в прошлом из представлений о предстоящем конце света и вечном возмездии. Бывали периоды, когда люди жили верой в

прекрасное будущее на земле, которое придет на смену нынешним дурным временам. Но и тогда ожидания такого рода отличались от культурного сознания настоящего времени. Людям казалось, что прекрасное будущее всегда где-то рядом, оно вот-вот настанет, и обрести его можно будет через осознание своих заблуждений, преодоление недоразумений и обращение к добродетели. Изменение виделось в форме некоего предстоящего *поворота*.

Так смотрели на это религиозные учения, которые, помимо вечного спасения, проповедовали также и мир на земле. Так виделось это Эразму: теперь, в отвоеванном знании античной культуры, люди обрели ключ, открывающий доступ к чистым истокам веры; ничто более не препятствует земному совершенству, как далеко оно бы ни простиралось; этот новый взгляд должен будет вскоре принести плоды согласия, человечности и образованности. Для Просвещения XVIII в. и для Руссо, который к нему примыкает, благополучие мира также было просто делом сознания, поворота в умах. Для деятелей Просвещения вопрос заключался в отказе от суеверий и в триумфе науки; по мысли Руссо — исключительно в возврате к природе и следовании добродетели. Из древнего, постоянно обновляющегося представления просто об обращении или повороте общества произросла по сути дела также идея революции. Термин *революция* заимствован из вращения колеса. Образ в течение длительного времени неизменно связывали с Колесом Фортуны, с королями, опрокидываемыми вместе со своими коронами⁴. Налиествовала здесь также и мысль об обращении небесных тел. По отношению к государству этим словом первоначально обозначают простой политический поворот, вроде событий 1688 г.⁵ И только после того как завершился грандиозный феномен 1789 г.⁶, понятие революции на протяжении XIX столетия наполнилось всем тем содержанием, которое было придано ему социализмом. Революция как идея неизменно сохраняет связь с прежней концепцией: благо, сразу и навсегда.

Вековому представлению о внезапном и осознанно желаемом повороте всего общества противится современное достаточно обоснованное знание, которое полагает, что всё природное и всё человеческое должно рассматриваться как результат действия многочисленных, взаимообусловленных, долговременных сил. Вовсе не делая выбора в пользу неизбежного, безоговорочного детерминизма, наш разум не может не признавать, что в игре общественных сил влияние того или иного человеческого решения есть фактор лишь ограниченного значения. В лучшем случае человек, целеустремленно сконцентрировавшись и оптимально распределяя свою энергию, может так или иначе использовать природные и социальные силы, которые ведут игру в обществе. Он может содействовать определенным тенденциям процесса, но изменить его направление он не может. И убеждение в необратимости социальных процессов мы формулируем с помощью такого термина, как *Развитие*, — понятие, которое в самом себе содержит противоречие и которое тем не менее наша мысль неизменно использует как орудие крупного калибра. *Развитие* подразумевает ограниченную необходимость. Оно идет наперекор *повороту* и *перелому*. В противоположность наивным ожиданиям былых времен, видевшим впереди либо конец всего — либо золотой век, наша мысль предполагает твердое убеждение в том, что переживаемый нами кризис, каким бы он ни был, не что иное, как фаза в безостановочном и необратимом процессе. Нам всем, независимо от нашей расположенности и направленности, известно: мы не можем вернуться назад, мы должны пройти *через* это. Вот то новое в нашем понимании кризиса, что не проявлялось никогда ранее.

Третье противоречие между пониманием кризиса прежде и теперь подразумевалось уже во втором. Все прежние провозвестники лучшего хода вещей и лучших времен: реформаторы и пророки, носители и приверженцы всякого рода ренессансов, реставраций, *réveils* [пробуждений]⁷, — неизменно указывали на

былое величие, взывая к необходимости вернуть, восстановить древнюю чистоту. Гуманисты, реформаторы, моралисты времен Римской империи, Руссо, Мохаммед, вплоть до прорицателей какого-нибудь негритянского племени Центральной Африки, всегда устремляли взгляд к мнимому прошлому, лучшему, нежели грубое настоящее, и *возврат* к нему был целью их проповедей.

Мы не отвергаем и не презираем былое величие. Мы знаем, что многие вещи во многие времена, да и совсем недавно, были лучше, чем в наше время. Возможно, позднейшая культура в отдельных чертах, об утрате которых мы теперь сожалеем, в дальнейшем приобретет больше сходства с прошедшей. Но мы знаем и то, что всеобщего *обратного* пути не бывает. Нам не остается ничего иного, как двигаться дальше, даже если у нас кружится голова от неведомых глубин и далей, даже если ближайшее будущее зияет, как бездна, где клубится туман.

III. НЫНЕШНИЙ КРИЗИС КУЛЬТУРЫ — В СРАВНЕНИИ С ПРЕЖНИМИ

Хотя обратный путь невозможен, прошлое всё-таки может быть поучительным, может служить нам для ориентации. Можно ли указать моменты в истории, когда культуру народа, царства, целого континента мучили столь же тяжкие родовые схватки, как в наше время? Кризис культуры — понятие историческое. Через проверку историей, через сравнение нашего времени с прошлым можно придать этому понятию определенные объективные очертания. Ибо относительно культурных кризисов прошлого нам известны не только их возникновение и развитие, но и их завершение. Наши сведения о них имеют одним измерением больше. Иногда гибла целая культура, иногда она возрождалась к новой и другой жизни. Подобный исторический процесс можно определить как законченный случай. И хотя такая историческая эксгумация не предлагает нам на сегодняшний день никакой тера-

пии, а возможно, и никакого прогноза, нам всё же не следует оставлять неиспробованным ни одного средства, чтобы понять природу недуга.

Однако возникает существенное ограничение. Материал для сравнения здесь гораздо беднее, чем, вероятно, могло бы казаться. Если взять многочисленные культуры, останки которых, год за годом извлекаемые из песка пустынь, руин обезлюдивших местностей или разросшейся тропической растительности, предстают нашему взору, то их внутренняя история — сколь многого ни поведали бы все эти останки — известна нам далеко не достаточно, чтобы мы могли вынести суждение о каких-либо иных причинах разложения и упадка этих культур, нежели вследствие какой-либо катастрофы. Даже Древний Египет и Древняя Греция вряд ли обеспечивают нас материалом для относительно тщательного сравнения. И только двадцать веков со времени правления Августа и жизни Христа отстоят от нас достаточно близко, чтобы дать почву для плодотворных сравнений.

Может возникнуть вопрос: находилась ли когда-либо в течение этих двадцати веков наша цивилизация в состоянии, отличном от состояния кризиса? Разве не связана с колоссальным риском вся человеческая история? — Несомненно. Но это — житейская мудрость, годная для философских разглагольствований, потребных своему времени. Для вынесения же исторического суждения есть тем не менее достаточно обозначенные периоды, которые носят явно выраженный кризисный характер, когда исторические события следует понимать именно как решительный культурный поворот. Такие эпохи суть: переход от Античности к Средневековью, переход от Средневековья к Новому времени, и от XVIII к XIX столетию.

Обратимся сперва к 1500 г. Измѣнения грандиозны: Земля открыта мореплавателями, мироздание разгадано, Церковь переживает раскол, печатный станок работает, дабы распространять повсюду слово во всем его бесконечно возрастающем многообразии; средства ведения войны совершенствуются, кредит и де-

нежное обращение неуклонно растут, греческий язык извлечен из забвения, к прежнему зодчеству относятся с пренебрежением, искусство раскрывается во всей своей титанической силе. Посмотрим теперь на период 1789–1815 гг. Свершающееся в мире вновь гремит раскатами грома. Первая монархия Европы сокрушена мечтаниями философов и яростью черни — чтобы вскоре воспрянуть деяниями и счастьем военного гения. Провозглашена свобода, и церковная вера отвергнута. Европа разодрана в клочья, но в конце концов склеена заново. Уже слышится пыхтение пара и грохот появившихся ткацких станков. Наука завоевывает одну территорию за другой, сферу духа обогащает немецкая философия; благодаря немецкой музыке жизнь становится прекрасней, чем раньше. Америка достигает политического и экономического совершеннолетия, оставаясь в культурном отношении гигантским младенцем.

На протяжении двух этих периодов сейсмограф истории, кажется на первый взгляд, отмечает колебания столь же резкие, как и теперь. Толчки, оползни и валы прилива выглядят, при поверхностном рассмотрении, не меньшими по воздействию, чем в наше время. Но если копнуть поглубже, то вскоре обнаружится, что как во времена Ренессанса и Реформации, так и во времена Революции и Наполеона, устои общества были поколеблены в меньшей степени, чем это имеет место сейчас. И прежде всего: в обоих предшествующих периодах надежда и идеалы в большей степени определяли всеобщее культурный климат, чем в наши дни. Хотя и прежде некоторые полагали, что исчезновение того старого, что было им дорого, говорит о гибели мира, чувство грозящей опасности краха цивилизации не распространялось столь широко и не опиралось на столь точные наблюдения, как в наше время. И наша историческая оценка подтверждает позитивное содержание тогдашних поворотов в культуре: мы не можем воспринимать их иначе, как, главным образом, восход и подъем.

Основы общественного порядка, как мы сказали, в периоды около 1500-го и 1800-го гг. пошатнулись в меньшей степени, чем

сейчас. Сколь ожесточенно ни ненавидели и ни сражались друг с другом католический и протестантский мир со времен Реформации, общая основа их веры и их церковных установлений делала обе группы взаимно более родственными, а разрыв с прошлым — значительно меньшим, чем та пропасть, которая теперь зияет между полным отрицанием христианства или религии вообще, с одной стороны, и обновлением и упрочением старых христианских основ — с другой. О принципиальном и мотивированном посягательстве на христианскую этику (за исключением фантастического распутства) в XVI в. вообще, а около 1800 г. почти, не было речи. Изменения государственного порядка, при всех переменах в годы Французской революции, в период 1789–1815 гг., о XVI в. и говорить нечего, простирались отнюдь не так далеко, как те, что мир пережил начиная с 1914 г. О систематическом подрыве общественного порядка и единства таким учением, как учение о классовых противоречиях и классовой борьбе, ничего не знает ни XVI в., ни начало XIX столетия. Экономическая жизнь в течение обоих этих периодов являет вполне картину расстройств, но вовсе не столь далеко идущего кризиса. Великие экономические сдвиги XVI столетия: болезнетворный капитализм, грандиозные банкротства, повсеместный рост цен — никогда не приводили к судорожному свертыванию торгового обращения во всем мире или к иступленной валютной лихорадке нашего времени. Все беды введения в оборот ассигнатов⁸ в период после 1793 г., по сравнению с нашим длительным монетарным расстройством, суший пустяк. Да и так называемая «промышленная революция» (над этим термином еще стоит подумать) носила характер не бурного расстройства, а одностороннего роста.

Если мы хотим иметь еще одно чувствительное мерило, чтобы убедиться в нынешнем лихорадочном состоянии культурной жизни, сравним черты искусства разных периодов. Все изменения, которые оно претерпело, от кваттроцента до рококо, были постепенны, консервативны. Строгая проверка вышколенности, искусности не ослабевала в течение всех этих веков и сохраня-

лась как естественное основное условие. И лишь в импрессионизме начинается отказ от принципов, который в конечном счете открыл дорогу бурлескному чередованию подстегиваемых рекламой эксцессов моды, как то показали нам первые десятилетия нашего века.

При сравнении нашего времени с временами около 1500-го и 1800-го гг. создается общее впечатление, что мир претерпевает сейчас более интенсивный и более основательный процесс распада, чем в оба эти периода.

Остается вопрос, в какой мере распространяющиеся на нас изменения можно сравнить с теми, которые, в пределах Римской империи, имели место при переходе от Античности к Средневековью. — Мы тоже, по сути дела, являемся свидетелями надвигающихся, по мнению многих, событий: высокая и богатая цивилизация шаг за шагом уступает место другой, поначалу бесспорно более низкого уровня и намного хуже организованной. Но одно громадное различие тотчас же вторгается в наше сравнение. Уходящая около 500 г. н. э. культура передала из наследия прошлого высокую форму религии, из-за которой в определенном смысле сама эта античная культура потерпела крушение. Варвары несли с собой грандиозную метафизическую стихию. Христианство, несмотря на всю его устремленность к отказу от мира, стало движущей силой, которая взрастила из веков варварства высокую культуру Средневековья XII и XIII столетий, цельную и гармоничную, представляющую собой фундамент, на котором всё еще покоится современная цивилизация.

Действует ли сила сверхземного сознания, в качестве власти на будущее, и в наше время столь же решительно, как тогда?.. Но продолжим наше сравнение. Если отвлечься от триумфального шествия христианства, процесс культурных перемен в Римской империи представляется нам застоем и вырождением. Мы видим, как цепенеют, увядают, сокращаются и исчезают выдающиеся способности социального упорядочения, духовного постижения и выражения. Управление государством делается всё менее

доброкачественным и результативным. Это технический застой, падение производительности, расслабление духа поиска и созидания, который в основном ограничивался тем, что воспроизводил прежние формы или подражал им. Похоже, что культурный процесс поздней Античности имеет весьма мало общего с тем, что мы видим сегодня. Ибо большинство из названных функций в наше время как будто бы всё еще возрастает в интенсивности, разнообразии и изощренности. Кроме того, и общие условия совершенно различны. Тогда множество народов, разъединенно и слабо, и всё же весьма существенным образом, были собраны в едином мировом государстве. Теперь же мы живем в крайне жестко сформированной системе отдельных соперничающих государств. В нашем мире всё более неоспоримо господствует техническая эффективность, производительность увеличивается, возможности науки и страсть к познанию день за днем торжествуют во всё новых открытиях. К тому же и темп изменений совершенно различен: то, что раньше измерялось веками, у нас, по видимости, происходит за годы. Короче говоря, сравнение с историей периода между 200-м и 600-м гг. н. э. дает слишком мало точек соприкосновения, чтобы быть действительно плодотворным для понимания нынешнего культурного кризиса.

И всё же один важный пункт не дает нам покоя, несмотря на все эти различия. Путь римской цивилизации — это путь к варварству. Не идет ли по такому пути и нынешняя культура?

Мы можем многое почерпнуть из поисков исторических аналогий для понимания кризиса, который переживаем, — но только не успокоение относительно его исхода. Вывод, что дело не зайдет столь далеко, не из какой исторической параллели не вытекает. Мы по-прежнему устремлены в неизвестное.

Здесь лежит еще одно существенное различие с предшествующими периодами бурных событий в культурной жизни. Тогда неизменно полагали, что совершенно ясно видят перед собой цель, к которой стремятся, а также и средства. Такой целью, мы

уже говорили об этом, было почти всегда *возрождение*. Возвращение к чистоте или древнему совершенству. Идеал был ретроспективным. И не только сам идеал, но и метод его достижения. Нужно было отыскать и употребить в дело *древнюю* мудрость и *древнюю* добродетель. Древняя мудрость, древняя красота, древняя добродетель были *той* мудростью, *той* красотой, *той* добродетелью, которые требовались, чтобы внести в этот мир столько порядка и благополучия, сколько он в состоянии вынести. Видя вокруг себя мрак и упадок, благородные умы, вроде Боэция, на закате Античности старались сохранить мудрость отцов, чтобы передать ее грядущим поколениям как путеводную нить и действенный инструмент. Бесценный дар для потомков: чем было бы раннее Средневековье без Боэция? И даже когда люди жили в сознании взлета и обновления, они тем не менее с удвоенной ревностью заново извлекали на свет забытую мудрость, не только во имя бескорыстного знания, но чтобы она снова вступила *в силу*: будь то римское право или творения Аристотеля. Именно с этой целью гуманизм в XV и XVI вв. предложил миру вновь открытые, и исправленные, словесные сокровища древности — как вечно живой образец знания и культуры. И не для того чтобы перед ним преклоняться, но чтобы с его помощью созидать. Почти вся осознанная, преднамеренная культурная деятельность прежних времен тем или иным образом вдохновлялась источниками, которые как образчики и примеры, достойные подражания, она заимствовала из прошлого.

Подобное почитание старины стало нам чуждо. Если наше время ищет, оберегает, хранит, постигает древнюю красоту, мудрость, величие, то совсем не для того, во всяком случае не в первую очередь, чтобы ими вновь *руководствоваться*. Культурные устремления — в том числе и тех, кто, возможно, ценит прежние времена выше нынешних из-за их веры, их искусства, их крепкого и здорового общественного устройства, — более не исходят из воображаемого идеала возрождения древности. Мы уже не можем и не хотим ничего иного, кроме как смотреть вперед и

двигаться к неведомым далям. Взоры мыслящего человечества, в прошлом то и дело обращавшиеся к древнему совершенству, со времен Бэкона и Декарта изменили свое направление. Уже в течение трех столетий человечество знает, что нужно искать свой собственный путь. Побуждение постоянно идти вперед может приводить к крайностям, и тогда оно вырождается в суетное и беспокойное желание всеохватывающей новизны, с презрением ко всему старому. Но таково поведение пресыщенных или незрелых умов. Люди здоровой культуры не боятся обременять себя духовными ценностями прошлого, чтобы двигаться дальше.

Одно несомненно: если мы хотим сохранить культуру, мы должны продолжать создавать ее.

IV. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КУЛЬТУРЫ

Культура — это слово не сходит у нас с языка. Но вполне ли очевидно то, что мы под ним понимаем? И почему оно вытесняет в нашем словоупотреблении добрую старую нидерландскую *bescaving* [возделанность → образованность]? — На этот вопрос очень просто ответить: *cultuur* [культура], как международный термин и общее понятие, несет большую смысловую нагрузку, чем внушительная *beschaving*, которая делает слишком большое ударение на эрудиции, переводом чего она, собственно, и является. Слово *культура* благодаря немецкому языку распространилось по всему миру. Нидерландский, скандинавские и славянские языки переняли его уже давно; в испанском, итальянском и американском английском оно также в широком ходу. Только во французском и английском, хотя в ряде значений оно употреблялось с давних времен, это слово всё еще наталкивается на определенное сопротивление, и во всяком случае им не может быть тотчас же заменено слово *цивилизация*. И это не случайно. Французский и английский языки из-за их давнишнего и богатого развития в качестве языков науки при формировании со-

временной научной лексики нуждались в немецких образчиках гораздо меньше, чем большинство других языков Европы, которые на протяжении XIX в. во всё большем количестве кормились от щедрот богатых выразительных возможностей немецкого языка.

Освальд Шпенглер речевые варианты Kultur [культура] и Zivilisation [цивилизация] развел в качестве полюсов своей прицельно точной, но чересчур уж категоричной теории заката. Мир читал Шпенглера и слышал предостережение, которое звучало в его словах, но ни его терминологии, ни его приговора целиком так и не принял.

Слово *культура* во всеобщем употреблении не создает опасности непонимания. Что именно имеется в виду, *примерно* известно. Если же попытаться дать более точное определение, это окажется очень трудным. Чем является *то*, из чего состоит культура? Дать дефиницию, исчерпывающую содержание этого понятия, едва ли возможно. Однако перечислить некоторые существенные условия и основные требования, которые должны наличествовать, чтобы возник феномен культуры, не так уж трудно.

В первую очередь, культура требует определенного равновесия духовных и материальных ценностей. Такое равновесие делает возможным расцвет в обществе качеств, которые воспринимаются как более высокие ценности, чем удовлетворение непосредственных нужд или голая жажда власти. Термин *духовные ценности* охватывает сферы духовного, интеллектуального, морального и эстетического. Но и эти сферы должны находиться в определенном состоянии равновесия или гармонии, чтобы речь могла идти о таком понятии, как культура. Говоря о равновесии, а не о безусловной вершине, мы оставляем за собой право оценивать тем не менее в качестве культуры также ранние, низкие или грубые состояния *возделанности*, не впадая ни в одностороннюю переоценку далеко продвинувшихся культур, ни в одностороннюю оценку одного определенного фактора культуры, будь то религия, искусство, право, государственное устрой-

ство и прочее. Состояние равновесия прежде всего заключается в том, что, в составе целого, различные виды культурной деятельности, каждый в отдельности, выполняют свою жизненную функцию по возможности наиболее действенно. Если такая гармония культурных функций налицо, то она проявляется в упорядоченности, прочном сочленении элементов, стиле, ритмичности жизни данного общества.

Само собой разумеется, что историческая оценка различных культур, в той же мере, что и оценка собственного окружения, должна быть свободна от норм, разделяемых самим оценивающим субъектом. Всегда одни свойства будут рассматриваться как желательные, другие — как нежелательные. Следует заметить, что в конечном счете квалифицировать культуру вообще как высокую или низкую, в ее глубинной сути, приходится не в соответствии с интеллектуальными или эстетическими мерками, но согласно этическим и духовным мерилам. Культуру можно назвать высокой, даже если она не породила ни техники, ни искусства, но она не может быть названа таковой, если ей недостает милосердия.

Второе основное свойство культуры таково: всякая культура содержит в себе стремление. Культура — это направленность, и всегда направленность к идеалу, причем к идеалу большему, нежели идеал индивидуума — к идеалу общественному. Идеал может быть самого разного рода. Он может быть чисто духовным: блаженством, приближением к божеству, порыванием всяческих связей; идеалом может быть знание — логическое или мистическое: познание мира природы, познание собственного Я, познание духа, богопознание. Идеал может быть общественным: честью, престижем, властью, величием, но всегда — идеалом общества. Он может быть экономическим: богатством, благополучием; идеалом может быть и здоровье. Идеал для самих носителей культуры всегда означает *благо*. Благо всего общества, здесь или где-либо в другом месте, сейчас или позже.

Будь то загробная жизнь или ближайшее земное будущее, мудрость или благосостояние — предпосылкой к достижению цели или стремлению к ней всегда являются порядок и безопасность. Самим существом, устремленностью всякой культуры повелительно предписывается требование поддержания порядка и безопасности. Из требования порядка вырастает всё то, что является властью; из необходимости безопасности — то, из чего формируется право. В многочисленных разновидностях властных и правовых систем постоянно образуются людские сообщества, чья устремленность к *благу* выражает себя в *культуре*.

Более конкретной и более позитивной, чем эти две основные черты: равновесие и устремленность — является третья, в сущности первая, исконнейшая черта, отпечаток которой лежит на всякой культуре. *Культура* означает власть над *природой*. Культура наличествует с того момента, когда человек убеждается на опыте, что рука, вооруженная грубым каменным резцом, может делать вещи, дотоле ему недоступные. Человек подчинил себе частицу природы. Он овладел природой, враждебной, но и богатой дарами. Он заимел *орудия*, он стал *homo faber**. Он употребляет силы для приобретения жизненно необходимого, для изготовления инструментов, для защиты себя и своих близких, для охоты, для истребления хищников или врагов. С этих пор он вносит изменения в ход естественной жизни, ибо последствия, вызванные применением им орудий, иначе не наступили бы.

Если бы эта черта, власть над природой, была единственной предпосылкой существования культуры, не было бы никаких оснований отрицать наличие культуры у муравьев, пчел, птиц, бобров. Все они используют имеющиеся в природе предметы, превращая их в нечто новое. Психологии животных еще следовало бы выяснить, насколько в подобной деятельности может иметь место целенаправленность и, стало быть, стремление к бла-

* Человек делающий (*лат.*).

гу. Но даже если бы это было и так, признание у животных культуры неизбежно натолкнулось бы на решительное возражение ума, что этот термин здесь не подходит. Культурные пчела или бобр — нет, невозможно; в таком представлении есть нечто абсурдное. Сбросить со счетов дух не так уж просто, как некоторым кажется.

На самом деле власть над природой, которая сводится к тому, чтобы построить, застрелить, поджарить, это всего лишь поддела. Богатое по значению слово *природа* означает также человеческую природу, и над ней также следует властвовать. Уже на самых примитивных стадиях общественной жизни человек сознает, что он *что-то должен*. У животного, которое заботится о своем потомстве и защищает его, не может быть признано наличие такого сознания, хотя мы и любим животных за то, что они это делают. Только в человеческом сознании забота становится *долгом*. Этот долг лишь в малой степени определяется природными отношениями, такими, как материнство или защита семьи. Понятие долга уже довольно рано разрастается в разного рода *табу*, условностях, правилах поведения, формах отправления культа. Удобство употребления слова *табу* привело в широких кругах к идущей от материализма недооценке этического характера так называемых «примитивных культур». Не говоря уже о социологическом направлении, которое, даже когда судит о развитых культурах, с неслыханной, поистине современной, наивностью всё, что зовется моралью, правом, страхом Божьим, просто-напросто помещает в одну бутылку с этикеткой *Табу*.

Этическим содержанием наделено чувство долга в том случае, когда речь идет об обязанности по отношению к человеку, установлению, требованию духовного свойства, — обязанности, от которой можно было бы уклониться. Этнологи, подобные Малиновскому, доказали несостоятельность мнения, что в примитивных культурах люди следовали предписаниям общественного долга механически и непреложно. Если в какой-либо общественной группе такие предписания, как правило, соблюдают,

то это происходит под воздействием полноценного морально-го импульса, и тем самым основное условие власти над природой выполняется в форме обуздания собственной человеческой природы.

Чем более в культуре особые чувства долга упорядочены и объединены единым принципом человеческой зависимости от некой высшей силы, тем чище и плодотворнее будет реализовано понятие, присущее всякой подлинной культуре, а именно понятие *служения*. — От богослужения до служения тому, кто является вышестоящим согласно простым общественным отношениям. Искоренение понятия служения из народного сознания было самым разрушительным делом поверхностного рационализма XVIII столетия.

Если суммировать предложенное нами в качестве основных предпосылок и основных черт культуры, то приближенное описание понятия культуры, которое, как уже было сказано, никак не претендует на роль точного определения, может звучать следующим образом: культура как особое свойство общества наличествует тогда, когда господство над природой в материальной, моральной и духовной сферах поддерживается в таком состоянии, которое *выше* и *лучше*, чем навязывают данные природные условия; которое характеризуется гармоничным равновесием духовных и материальных ценностей и в своей основе единообразно определяемым идеалом, к каковому совместно стремятся различные виды общественной деятельности.

Если вышеприведенное описание — из которого оценочные суждения *выше* и *лучше*, несмотря на весь содержащийся в них элемент субъективности, не могут быть исключены, — в какой-то степени истинно, тогда следует вопрос: выполняются ли на том отрезке времени, в котором мы живем, основные предпосылки культуры?

Культура предполагает власть над природой. Это условие кажется действительно выполненным в масштабах, до сих пор

неизвестных никакой другой цивилизации, о которой мы знаем. Силы, о самом существовании которых мы едва ли подозревали еще сто лет назад, существо и возможности которых были совершенно нам неизвестны, человек сумел сковать тысячью способов, заставив их работать на таких расстояниях и таких глубинах, о каких еще поколение назад никто и не грезил. И почти каждый день приносит нам открытия новых, неизведанных сил природы и способов овладения ими.

Материальная природа вокруг нас лежит в оковах и путах, выкованных или сплетенных человеческими руками. Но как обстоит дело с господством над природою человека? Здесь нечего указывать на триумфы психиатрии, социального обеспечения и борьбы с преступностью. Господство над человеческой природой может означать только одно: что человек, ради себя самого, владеет самим собою. Делает ли он это? Или, если уж человеческая натура лишена совершенства, делает ли он это, по крайней мере в соответствии с достигнутым им безграничным господством над материальной природой? — Разве посмеет кто-либо утверждать подобное! Не кажется ли скорее, что слишком часто сама человеческая натура, при той свободе, которую дало ей господство над материальным, отказывается властвовать над собою и отрекается от всего, что, видимо, *более, чем натура*, получено ею от духа? Во имя прав человеческой природы обязывающая власть непререкаемого действенного нравственного закона повсюду взята под сомнение. Условие господства над природой соблюдается лишь частично.

Второе условие: что культура должна поддерживаться одним, в основе своей единообразным, стремлением, — и вовсе невыполнимо. Требование блага, выражаемое обществом в целом и каждым в отдельности, принимает сотню обликов. Каждая группа стремится к своему собственному благу, не заботясь о том, объединяются ли эти частные устремления в один, превышающий всё и вся, идеал. Лишь выражение такого всеобщего идеала,

реально достижимого или воображаемого, полностью узаконило бы существование понятия *нынешняя культура*, хотя в более широком смысле разговор об этом можно было бы продолжить и далее. Так, прежние эпохи видели общепризнанный идеал в почитании Бога, как бы они это ни понимали, в справедливости, добродетели, мудрости. — Устаревшие и неопределенные метафизические понятия, с точки зрения духа нашего времени. Но с отказом от подобных понятий единство культуры ставится под сомнение. Ибо то, что выдвигают взамен, есть всего лишь сумма противоречащих друг другу желаний. Понятия, объединяющие все культурные устремления нашего времени, можно найти лишь в ряду: благосостояние, мощь, безопасность (сюда попадают также мир и порядок), — идеалы, более способные разделять, нежели соединять, и к тому же вытекающие из природного инстинкта, не облагороженного духом. Уже пещерному жителю ведомы были подобные идеалы.

Теперь много говорят о национальных культурах, о классовых культурах, то есть понятие культуры ставится в подчинение идеалам благосостояния, мощи и безопасности. Такого рода подчинением это понятие фактически низводится до животного уровня, где оно утрачивает всякий смысл. Поступая так, забывают парадоксальный, но в свете уже сказанного непререкаемый вывод, что для понятия культуры главное, чтобы идеал, определяющий ее направленность, лежал вне и поверх интересов той общности, которая является носителем данной культуры. Культура должна быть ориентирована метафизически, или ее не будет вообще.

Существует ли в сегодняшнем мире, на Западе или на Востоке, то равновесие между духовными и материальными ценностями, которое мы приняли в качестве предпосылки культуры? — Утвердительный ответ кажется едва ли возможным. Интенсивное производство в обеих областях — да, существует, но равновесие? Гармония, равноценность материальных и духовных возможностей?

Происходящее в наши дни повсюду, кажется, исключает всякую мысль о действительном равновесии. Доведенная до высшего совершенства и целесообразности система производства ежедневно дает продукты и порождает действия, которых никто не желает, которые никому не нужны, которых каждый боится, которые многие ненавидят как бесполезные, бессмысленные, непригодные. Хлопок закапывают в землю, чтобы не подорвать рынок, военные материалы встречают заинтересованных покупателей, но никто не хочет, чтобы они нашли применение. Диспропорция между совершенством системы производства и возможностями ее использования, перепроизводство рядом с нуждой и безработицей не оставляют места для понятия *равновесие*. Существует также и интеллектуальное перепроизводство, постоянный переизбыток печатного и идущего в эфир слова и почти безнадежное его расхождение с мыслью. Художественная продукция замкнута внутри порочного круга, внутри которого художник зависит от прессы и тем самым от моды, а та и другая — от коммерческих интересов. Начиная от государственной жизни и вплоть до жизни семьи порядок вещей претерпевает разлад, неслыханный когда-либо ранее. — Равновесие? Разумеется, нет.

V. ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ ПРОГРЕССА

Пожалуй, хотелось бы, прежде чем рассматривать различные симптомы кризиса культуры более пристально, услышать и другие голоса, отличные от мрачных настроений на грани отчаяния.

Наше суждение о действиях и взаимоотношениях людей никак не может отрешиться от настроений момента. Если они негативны, то объективно приводят к тому, что открывающаяся нашему взору картина вероятней всего будет окрашена мрачными красками. Если былые эпохи: Элладу в ее высшей точке, расцвет Средневековья, Ренессанс — мы скорее видим в свете рав-

новесия и гармонии, а свое собственное время — в чреде расстройств и волнений, здесь неизбежно сказывается гармонизирующее воздействие далекой дистанции. Так что мы сразу, до того как приступим к рассмотрению этих симптомов, должны учесть влияние «возможной погрешности». Не может быть равноценности между выхваченными картинками прошлого и путанным взглядом на собственное время, к которому мы причастны. Не исключено, что окончательный приговор нашему времени, пока еще невозможный, оценит явления, сейчас вызывающие беспокойство, как всего лишь поверхностные или же преходящие. Какая-нибудь легкая хворь может лишить нас сна, отнять аппетит, мешать работе и омрачать настроение, при том что наш организм будет в хорошей форме и полное выздоровление вот-вот наступит. И не вовсе уж отсутствуют признаки того, что под внешним обличьем социальных и культурных невзгод, от которых мы мучаемся, здоровый ток крови общества тем не менее струится сильнее, чем это нам кажется.

Но ведь мы сами все вместе одновременно сочетаем в себе и врача, и пациента. Болезнь бесспорна, организм нормально не функционирует. Наш взгляд должен быть устремлен на симптомы, наша надежда — на выздоровление.

В нашем рассуждении мы прибегаем к образному языку медицины! Вне образного языка невозможно обращаться к общим понятиям, таким, как недуги и нарушения. Ведь само слово *кризис* — понятие, введенное Гиппократом. Для общественных и культурных явлений ни одно уподобление не подходит лучше, чем взятое из области медицины. Горячка присуща нашему времени вне всяких сомнений. Горячка роста? — Кто знает? Бред, нелепые фантазии, речь, лишенная смысла. Представляет ли это собой нечто большее, чем преходящее возбуждение мозга? Есть ли основание говорить о безумии, вызванном серьезным поражением центральной нервной системы?

Каждая из этих метафор имеет свой вполне определенный смысл, приложимый к явлениям современной культуры.

Наиболее явственны и наиболее чувствительны признаки расстройств экономики. Каждый ощущает их что ни день на себе самом, во всяком случае замечает. Чуть менее непосредственно затрагивают нас политические неурядицы, хотя выносить суждения о них средний человек может преимущественно лишь из газет. Если охватить взором совокупный процесс расстройства в экономике и политике, то, как кажется, рассматриваемый в своем постепенном развитии, он неуклонно шел к теперешнему упадку. Всего за столетие овладение средствами производства достигло такой степени совершенства, что социальные силы, не регулируемые и не координируемые принципом, который превосходил бы устремленность каждой из них (Государство не является таким принципом), действуют с избыточной эффективностью, нарушая гармонию всего организма. Это касается машинной продукции и техники вообще, транспорта, печати, мобилизации масс — политическими и другими организациями — на основе всеобщего народного образования.

Если рассматривать развитие каждого из средств или каждой из сил самих по себе, не опираясь на ценностные критерии, тогда в отношении их еще можно было бы безоговорочно говорить о прогрессе. Все они неслыханно возросли по своей мощи. Но прогресс сам по себе означает лишь направление и оставляет открытым вопрос: ожидает нас по его завершении благо — или утрата. Мы забываем, как правило, что лишь поверхностный оптимизм наших предков в XVIII и XIX вв. связал с таким чисто геометрическим представлением движения *вперед* уверенность в том, что это *bigger and better* [больше и лучше]. Рассчитывать, что каждое новое изобретение или усовершенствование данного средства непременно содержит в себе обещание более высокой ценности или большего счастья, — мысль чрезвычайно наивная и является наследием благостного века интеллектуального, морального и сентиментального оптимизма, века XVIII. И вовсе нет парадокса в утверждении, что культура вполне может погибнуть при существенном и несомненном прогрессе. Про-

гресс — вещь опасная и понятие двусмысленное. Ведь может оказаться, что чуть дальше по пути обрушился мост или в земле зияет громадная трещина.

VI. НАУКА НА ГРАНИ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Область, особенно пригодная для того, чтобы начать с нее описание кризисных явлений в культуре, это область науки. Ибо здесь мы находим соединившимися очевидный и постоянный прогресс, и тем не менее явственное состояние кризиса, но в то же время незыблемое сознание, что продвижение вперед — неизбежно и сулит всеобщее благо.

Для развития научного и философского мышления с XVII в. и по сегодняшний день считается несомненным и признается почти в полном объеме утверждение о положительном и постоянном прогрессе. Почти каждая отрасль науки, включая философию, продолжает развиваться, с каждым днем углубляясь и утончаясь. Поразительные открытия — вспомним об обнаружении космического излучения, положительных электронов — становятся в порядке вещей. Для естественных наук — прогресс более чем примечательный, прежде всего благодаря непосредственному приложению каждого вновь приобретенного знания к технике. Но и для гуманитарных наук, прежде всего для двух, которые стоят от обеих групп несколько в стороне: для математики и философии, — дело обстоит тоже неплохо; они вторгаются во всё более глубокие области знания, используя всё более тонкие средства наблюдения и выражения.

Всё это тем более разительно, если вспомнить, что около 1890 г. царила уверенность, что прогресс науки вот-вот достигнет своего конечного пункта. Система человеческого знания казалась почти полностью выстроенной. Кое-что еще следовало подправить и отшлифовать, с течением времени еще можно было ожи-

дать кое-какого нового материала, но крупные изменения в конституировании и оформлении нашего знания едва ли предполагались. И чем же всё обернулось! Какой-нибудь ученый Эпименид⁹, удалившийся в свою пещеру в 1879 г. и проспавший там восьмидесять семь лет, пробудившись сегодня, едва ли бы понял даже язык науки в любой ее отрасли. Понятия из области физики, химии, философии, психологии, языкознания — мы называем лишь некоторые дисциплины — остались бы для него пустыми звуками. Каждый, кто обратит внимание на нынешнюю терминологию по своей специальности, тотчас же убедится, что слова и понятия, с которыми он изо дня в день имеет дело, еще сорок лет тому назад вовсе не существовали. И если отдельные науки, как, например, история, могут быть исключением, то только потому, что они вынуждены продолжать изъясняться словами обыденной жизни.

Если мы теперь мысленно сопоставим сегодняшнее состояние всего научного знания с тем, которое отмечалось полвека назад, у нас ни на мгновение не возникнет сомнения в том, что его развитие означало прогресс, рост, улучшение. Наука стала шире по охвату проблем и глубже по содержанию. Оценка ей может быть дана не иначе, как положительная. И к тому же здесь попутно обнаруживается поразительное следствие: с подлинного, позитивного пути прогресса дух не может и не хочет свернуть. Мысль, что ученый, мыслитель мог бы отречься от всего того нового, что пробило себе дорогу, абсурдна. Между тем не будет ничего необыкновенного в том, если в искусстве, развитие которого не знает ни прогресса, ни твердой и непрерывной последовательности, кто-либо захочет забыть пройденное целой эпохой, как время от времени и на самом деле случается.

Взятая как пример, наука предстаёт перед нами поэтому чрезвычайно важной областью культуры, где прогресс, по крайней мере до теперешнего момента, бесспорен и, по всей очевидности, последователен и непрерывен; областью, где дух идет прямо и неуклонно по пути, который ему предписан. Куда этот путь

должен нас привести, мы не знаем, и благо, которое ждет нас на этом пути, нам неизвестно.

Очевидно, однако, что неоспоримый и позитивный прогресс, означающий углубление, уточнение, очищение, сиречь улучшение, привел научную мысль в состояние кризиса, выход из которого всё еще скрыт в тумане. Всегда новая наука всё еще не отстоялась в культуру, да это и невозможно.

Поразительно возросшее знание еще не вошло в состав новой гармоничной картины мира, которая пронизывает нас лучами и, как яркий свет солнца, озаряет путь, по которому мы идем. Сумма всех наук в нас еще не стала *культурой*.

Скорее кажется, что с постоянно углубляющимся проникновением в действительность и уточняющимся ее разложением посредством науки самые основы нашего мышления всё сильнее колеблются и становятся всё более шаткими.

Старые истины должны быть отброшены; общие понятия, которые находились в повседневном употреблении и казались нам ключами к познанию, к замку уже не подходят. Эволюция — да, прекрасно, но с ней следовало бы быть осторожнее, ибо понятие это несколько заржавело. Элементы — от их неизменности ничего не осталось. Причинность — ну да, однако с этим понятием можно достигнуть не слишком многого: оно разрушается прямо у вас в руках. Законы природы — конечно, но о безусловной их действенности лучше не говорить. Объективность — она остается идеалом и долгом, но полностью достигнуть ее невозможно, во всяком случае это задача не для наук о культуре. Как тяжки вздохи, которые испускает наш новоявленный Эпименид! Как трет он себе глаза, когда ему рассказывают, что в некоторых науках (по крайней мере, это утверждают относительно математики) исследования до такой степени дифференцированы, что даже специалисты в близких областях уже не понимают друг друга. Но и с каким радостным изумлением он слышит, что вот-вот должно быть доказано единство материи, так что химия снова сольется с физикой, отпрыском которой она некогда стала.

И вновь то же самое: сами средства познания оказываются несостоятельными! На микрофизическом уровне явления уже не поддаются наблюдению по причине того, что исследуются процессы более тонкого свойства, чем те средства наблюдения, которыми располагают исследователи, — ибо это связано со скоростями, граничащими со скоростью света. При наблюдении сверхмалых величин погрешности, вносимые измерительными приборами, слишком велики, чтобы можно было всё еще говорить об объективности измерений. Действие причинности достигает своих границ, и за их пределами лежит область недетерминированной случайности.

Феномены, которые физика описывает точными формулами, находятся настолько вне нашей жизненной сферы, и соотношения, которые устанавливает математика, настолько шире по своей применимости, чем существующие в системе, внутри которой движется наше мышление, что обе эти науки, по сути, уже давно выявили недостаточность нашего старого и, казалось бы, проверенного логического инструментария. Нам пришлось так или иначе свыкнуться с мыслью, что в познании природы требуется прибегать к неевклидовой геометрии и оперировать более чем тремя измерениями. Рассудок в его прежнем обличии, то есть привязанный к аристотелевой логике, не может больше идти в ногу с наукой. Научные исследования заставляют выходить далеко за пределы того, что можно представить наглядно. Открытие позволяет выразить себя в формуле, но силы воображения уже оказывается недостаточно, чтобы полностью осознать и усвоить подразумеваемую реальность. Самоуверенное «это так» сводится к «предстает как». Процесс предстает как действие частиц — или волн, в зависимости от того, как именно мы его наблюдаем. Обобщающее суждение, помимо формулы, может быть выражено лишь посредством образного сравнения. Кто из нас, людей посторонних, не хотел бы услышать от физика, следует ли образы, с помощью которых физик пытается объяснить мир атомов, воспринимать как символы или же как истинное описание фактически происходящих процессов.

Похоже, что в науке мы уже подошли к границам наших мыслительных способностей. Хорошо известно, что далеко не один физик, постоянно работающий в столь высоких слоях духовной атмосферы, на которые человеческий организм, по-видимому, не рассчитан, воспринимает это как тяжкое бремя, доводящее его до отчаяния. Но обратно он не может, да и не хочет вернуться. Человек со стороны может поддаться тоске по привычной, старой, постижимой действительности прежних времен и раскрыть своего Бюффона¹⁰, чтобы полюбоваться простой и ясной картиной мира, где пахнет свежескошенным сеном и слышится пение птицы в часы заката. Но эта наука давно ушедших дней — теперь только поэзия и история, и современный естествоиспытатель обращается к совершенно иному.

Я как-то спросил Де Ситтера, не охватывает ли его порой тоска по наглядным представлениям прошлого, когда он размышляет о расширении, пустоте и сферической картине Вселенной. Серьезность, с которой он отверг подобные предположения, тотчас же показала мне всю глупость моего вопроса.

Не есть ли чувство головокружения при мысли о безграничном познании тот самый страх, который предстояло преодолеть духу исследователя, чтобы перейти от Птолемеевой картины мира к Коперниковой?

Категории, которыми до сих пор обходилось мышление, похоже, теряют свои очертания. Границы стерты. Противоречия кажутся вполне совместимыми. Все группы явлений сплетаются в одном хороводе. Взаимозависимость становится ключевым словом при рассмотрении всевозможных процессов, проходящих в человеке и обществе. Коснемся ли мы социологии, экономики, психологии или истории, повсюду одностороннее, ортодоксально-причинное объяснение должно уступать место изучению многосторонних, взаимообусловленных отношений и взаимозависимостей. Понятие предпосылки вытесняет понятие причины.

Можно пойти еще дальше. Мышление в сфере истории культуры становится всё более антиномичным и амбивалентным.

Антиномичным — это значит, что мысль словно бы находится в подвешенном состоянии меж двумя противоположностями, которые прежде, казалось, исключали друг друга. Амбивалентным — это значит, что оценочное суждение, при относительной приемлемости двух противоположных решений, колеблется в выборе, как Буриданов осел.

Поистине, есть достаточно оснований, чтобы говорить о кризисе в области современного мышления и современного знания, кризисе, столь фундаментальном и столь далеко зашедшем, с каким мы вряд ли когда-либо сталкивались в предшествующие, известные нам периоды жизни в прошлом.

Интеллектуальная составляющая всеобъемлющего культурного кризиса, который мы переживаем, заслуживает преимущественного рассмотрения также и потому, что ее можно выделить и описать гораздо более объективно, чем вызывающие опасения события общественной жизни, и, кроме того, судить о ней можно без всякой предвзятости. Она лежит, во всяком случае для огромного большинства, вне сферы вражды, конфликтов и злой воли. Она свидетельствует о кризисе, но, строго говоря, не расстройстве или развале. Само собой разумеется, что под интеллектуальным кризисом следует понимать не сопротивление со стороны мышления, находящегося под политическим давлением, но само развитие науки — так, как оно проявляется там, где дух всё еще обладает свободой, в которой он нуждается, чтобы оставаться тем, что он есть. Если не говорить о таких странных блюдах, как *μάθησις* (*мáтесис*) по-марксистски или по-нордически¹¹ (которыми кое-кто всерьез хочет нас потчевать), полной свободой всё еще обладают прежде всего естественные науки, с их лидером — математикой. Естественные науки до сих пор интернациональны. Никакие предвзятости не могут помешать ходу исследований. Национальная зашнурованность тех или иных стран причиняет естествонаучному мировому обмену и совместной работе исследователей не так уж много вреда. Субъек-

том, который *мыслит* в сфере естественных наук, всё еще является человек, без каких-либо дополнительных уточнений. Гуманитарные науки, имеющие отношение к духовной культуре, издавна в гораздо большей мере, нежели естественные науки, были связаны с национальным характером и государственными границами. Это заложено в самой природе их предмета. Они с большим трудом восходят на тот уровень духовной свободы, который сообщает им качественные свойства науки. Угрозы и политическое принуждение неотвратимо разят их в самое сердце. Тем не менее на небосклоне гуманитарных наук пока еще относительно ясно. И когда там видится что-то действительно новое: существенные изменения в методе и во взгляде, дальнейшее накопление и обработка материала, новый синтез, — над всем этим шумливые приспешники той или иной политической системы нисколько не властны.

Если же научное мышление в целом пребывает в состоянии кризиса, то это кризис, развивающийся изнутри, а вовсе не вызванный соприкосновением с пороками общества, утратившего равновесие. Это процесс, проходящий в самой сфере духа и увлекающий науку по узкой, крутой, почти недоступной тропинке к вершинам, с которых едва ли откроется путь куда-либо дальше. В кризисе чистого мышления человеческое скудоумие или духовный разлад не принимают участия. Именно утончение инструмента познания и углубление самой воли к познанию являются причиной кризиса.

Поэтому кризис не только неизбежен, но желателен и *благотворен*. Здесь, по крайней мере, пока еще ясно, каково стремление нашей культуры. Но это стремление вперед, с обогащенными средствами, *через* нынешние неразрешимые сомнения и неуверенность, от настоящего — *к будущему*. Мысль видит перед собою свой путь и должна по нему идти. Не останавливаясь и не поворачивая назад.

Простая констатация уверенности, что, по крайней мере, в одной исключительно важной сфере курс выбран правильно,

поддержит и успокоит тех, кто стал бы отчаиваться в будущем нашей культуры. Каким бы обескураживающим ни был кризис мышления, в отчаяние приведет он лишь тех, кому недостает мужества принимать эту жизнь и этот мир такими, какими они нам дарованы.

VII. ВСЕОБЩИЙ УПАДОК СПОСОБНОСТИ СУЖДЕНИЯ

Если отвлечься от того, как порождаются знания и идеи, и обратить взгляд на то, как знания распространяются, а идеи подхватываются и пускаются в обращение, картина сразу меняется. Общее состояние того, что может быть охарактеризовано как людское мышление, это не только состояние кризиса, но состояние кризиса, чреватого разложением и опасностью.

Сколь наивной кажется нам сейчас радостная иллюзия прошлого столетия, видевшего в прогрессе науки и распространении всеобщего образования залог и обещание непрерывно совершенствующегося общества! Кто еще всерьез верит, что переход триумфа науки в еще более прекрасный триумф техники может спасти культуру! Или что искоренение безграмотности положит конец невежеству! Нынешнее общество, вдоль и поперек окультивированное и почти сплошь механизированное, выглядит совершенно иначе, чем грезившаяся картина Прогресса...

В нашем обществе множество опасных симптомов, которые лучше всего охватывает понятие «упадок способности суждения». И это весьма постыдно. Мы живем в мире, который осведомлен о себе самом, о своей природе и своих возможностях во всех отношениях гораздо лучше, чем в любой предшествующий период истории. Мы на самом деле объективно знаем лучше, чем раньше, как устроено и как себя ведет мироздание, как действует живой организм, как соотносятся между собой вещи духовного свойства, как последующее проистекает из предыдущего. Субъект

человек знает себя и свой мир лучше, чем раньше. Человек действительно стал более способен судить о чем-либо. Интенсивно, поскольку его ум проникает глубже в связь и состав вещей; экстенсивно, поскольку его знание равномерно распространяется на гораздо более широкие области; и прежде всего поскольку гораздо большему числу людей, по сравнению с прошлым, стала доступна определенная степень познания. Общество, взятое как абстрактный субъект, познает само себя. «Познай самого себя» всегда считалось воплощением мудрости. Вывод кажется непреложным: мир стал мудрее. — *Risum teneatis**...

Мы знаем лучше. Глупость, во всех ее проявлениях, пустая и смехотворная, злобная и вредоносная, никогда еще не устраивала таких вакханалий по всему миру, как ныне. Сейчас она уже не смогла бы стать темой остроумного и насмешливого трактата гуманиста вроде Эразма, который был наделен благородным умом и всерьез обеспокоен состоянием общества. Как болезнь всего общества следует нам рассматривать нескончаемую глупость нашего времени, выискивать ее симптомы, трезво и беспристрастно, пытаться определить вид недуга и, наконец, обдумать средства выздоровления.

Ошибка вышеприведенного силлогизма: «самопознание есть мудрость — мир познал себя больше, чем раньше, — следовательно, мир стал более мудрым» — лежит в двойной двусмысленности понятий. Во-первых, в том, что *мир* познаёт и ведет себя не как абстрактный субъект, но выражает себя лишь в мыслях и поведении индивидуумов; во-вторых, в том, что в слове *познание* двусмысленность *знания* и *мудрости* остается неустранимой. Последнее едва ли нуждается в обстоятельном пояснении.

В обществе с всеобщим народным образованием, всеобщей и незамедлительной публичностью ежедневных событий и далеко зашедшим разделением труда средний человек ощущает себя всё менее зависимым от собственного мышления и собственных

* Удержитесь ли от смеха? (лат.) — Гораций. *Наука поэзии*, ст. 5.

действий. Пожалуй, это может на какое-то мгновение показаться парадоксальным. Ведь обычно считают, что в менее интеллектуальной культурной среде, с недостаточным уровнем знаний, мышление отдельного человека остается более связанным, чем в среде более развитой; более ограниченным и управляемым узким кругом собственного окружения. Такому более примитивному мышлению приписывают характер типического, по необходимости однородного. Сказанному, однако, противоречит тот факт, что подобное мышление, интегрированное в собственную жизненную сферу, с его ограниченными средствами и замкнутое внутри узкого круга, достигает уровня самостоятельности, который исчезает в более всесторонне организованные периоды. Крестьянин, шкипер или ремесленник былых времен обретал в совокупности своих практических знаний духовную целостность, с которой соизмерял и жизнь, и окружающий мир. Он понимал, что у него нет права судить о том, что лежит вне его кругозора (если только не был пустословом, какие встречаются во все времена). Он признавал авторитет — там, где видел, что не может полагаться на свое собственное суждение. Как раз в своей ограниченности мог он быть мудрым. И именно в такого рода ограниченности средств выражения, опиравшейся на устои *Священного Писания* и пословиц, обретал он свой стиль и подчас делался красноречивым².

Современная организация распространения знаний очень быстро приводит к прекращению благотворного воздействия подобных духовных ограничений. Среднему человеку в западных странах сейчас известно абсолютно всё и еще что-то сверх этого. У него газета за завтраком и радио — стоит только подойти и повернуть ручку. Вечером — кинофильм, игра в карты или какая-нибудь встреча, после того как он целый день провел на предприятии или за торговым прилавком, где не приобрел ничего поучительного. С небольшими изменениями эта картина, пусть усредненно, подходит ко всем, от рабочего до директора. Единственно лишь стремление к собственной культуре, неваж-

но, в какой области и с какими исходными данными или какими средствами, может возвысить человека над общим уровнем. Заметим, что здесь речь идет о культуре в узком смысле, то есть о своего рода сокровищах красоты и мудрости в индивидуальной жизни. Не исключено, что человек невысокой культуры тем не менее сможет придать своей повседневной жизни более высокую ценность каким-либо другим видом деятельности, нежели чисто культурным в узком смысле, — например, в сфере религиозной, социальной, политической или спортивной.

Но даже там, где он вдохновляется стремлением к знанию или красоте, из-за назойливого воздействия аппарата культуры ему будет трудно избежать опасности приобщения к навязываемым сведениям и суждениям. Знания, одновременно разнообразные и поверхностные, духовный горизонт, чересчур широкий для критически не вооруженного глаза, неизбежно приведут к ослаблению способности критического суждения.

Навязывание и обезоруженное принятие знаний и суждений не ограничивается только интеллектуальной сферой в узком смысле слова. И в том, что касается эстетических и эмоциональных суждений, средний современный человек испытывает сильнейший натиск дешевой массовой продукции. Чрезмерное предложение тривиальных развлечений задает размытое и фальшивое обрамление его вкусам и ощущениям.

К этому добавляется еще и другой сомнительный, и неминуемый, фактор. В более ранних и более замкнутых обществах люди сами создают и культивируют увеселения: пение, танцы, игры, атлетику. Они поют, танцуют, участвуют в играх все вместе. Для современной культуры всё это в подавляющей степени сводится к одному и тому же: приглашают исполнителей, чтобы они пели, танцевали, разыгрывали разные игры. Разумеется, соотношение *исполнители и зрители* есть нечто изначально данное, также и в более ранних культурах. Но сейчас пассивный элемент постоянно увеличивается по сравнению с активным. Даже в отношении спорта, мощного фактора современной культуры, всё больше и

больше возрастает масса, ради которой разыгрываются спортивные игры. Отдаление зрителей от активного участия в происходящих событиях делает еще один шаг. От театра к кинематографу происходит переход от лицезрения игры — к лицезрению тени игры. Слово и движение уже более не живое действие, но всего лишь их репродукция. Голос, звучащий в эфире, всего лишь эхо. И даже зрелище спортивных состязаний подменяется суррогатом радиосообщения или спортивной колонки в газете. Во всем этом лежит некая обездушенность и немочь культуры. На примере искусства кино в особенности это очень заметно еще в одном отношении. Драматизм вообще почти полностью переместился во внешнюю видимость, рядом с которой живое слово занимает лишь второстепенное место. Искусство видеть превратилось в навык быстро схватывать и постигать постоянно меняющиеся визуальные образы. Молодежь овладела этим кинематографическим видением в такой степени, которая просто ошеломляет людей постарше. Таким образом изменившаяся духовная *Einstellung* [установка] означает выключение целого ряда интеллектуальных функций. Нужно отдавать себе отчет в том, насколько уровень духовной энергии, требующейся, чтобы следить за ходом комедии Мольера, отличается от того уровня, который нужен, чтобы смотреть кино. Вне всякого стремления поставить интеллектуальное понимание над визуальным, нужно всё же признать, что кино оставляет определенное число эстетико-интеллектуальных средств восприятия не востребуемым, что тоже вносит свой вклад в ослабление способности суждения.

Механика современных массовых развлечений также чрезвычайно препятствует концентрации. Потребность *углубиться во что-то, отдаться чему-то* разрушается механическим воспроизведением увиденного и услышанного. Погруженность и освящение отсутствуют. Погруженность в глубины самого себя, чувство святости мгновения суть вещи, совершенно необходимые человеку, чтобы обладать культурой.

Подверженность визуальной внушаемости — пункт, который реклама использует для атаки на современного человека, с его пониженной способностью к самостоятельному суждению. Это в равной степени касается и коммерческой, и политической рекламы. Возбуждающий образ — основа рекламы — призывает мысль к осуществлению пробудившегося желания. Реклама до предела нагружает образ эмоциями. Она наделяет его настроением и вызывает тем самым к появлению суждения, для возникновения которого достаточно лишь мимолетного взгляда. Если задаться вопросом, как, собственно говоря, реклама воздействует на индивидуум и тем самым выполняет свою коммерческую функцию, то ответ будет вовсе не прост. Действительно ли решается человек на покупку товара из-за того, что прочел или увидел соответствующую рекламу? Или она всего лишь закрепляет воспоминание, на которое потом люди чисто механически реагируют? Или здесь действует некая духовная интоксикация? — Еще труднее описать воздействие политической рекламы. Действительно ли избирателя, идущего к урне для голосования, побуждает к принятию решения вид всех этих мечей, топоров, молотков, шестеренок, кулаков, восходящих солнц, окровавленных рук и суровых лиц, с помощью которых различные партии разыгрывают в поле его зрения свои нехитрые фокусы? Мы этого не знаем и должны с этим смириться. — Ясно, однако, что реклама, во всех ее формах, не только спекулирует на ослабленной способности к суждению, но из-за чрезмерного распространения и напористости сама способствует этому ослаблению.

Наше время, таким образом, стоит перед удручающим фактом. Два великих культурных завоевания, которыми особенно привыкли гордиться: всеобщее образование и современная гласность, — вместо того чтобы регулярно вести к повышению уровня культуры, напротив, несут с собой явные проявления вырождения и упадка. Всевозможные виды знания проникают в массы в невиданных дотоле объемах и формах, но этого недостаточно

для применения знания в жизни. Непереработанное знание препятствует выработке суждения и закрывает путь к мудрости. *Onderwijs maakt onder-wijs** — ужасная игра слов, но, к сожалению, она полна глубокого смысла.

Будет ли общество неминуемо отдано во власть процесса духовного измельчания? Как далеко зайдет этот процесс? Или наступит момент, когда, полностью исчерпав все возможности, зло само себя уничтожит? — Вопросы, которые мы отложим до завершения нашего рассмотрения, но и тогда они не найдут окончательного ответа. А пока что бросим взгляд и на другие симптомы вырождения в интеллектуальной области.

VIII. СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КРИТИКЕ

Не говоря уже о всеобщем ослаблении способности суждения, — внешние формы явления мы рассмотрели выше, — есть все основания указать на ослабление потребности в критике, омрачение критической способности, утрату понимания истины; и на сей раз это не массовое явление в среде потребителей знания, но органический недостаток производителей знания. Рядом с этими проявлениями упадка стоит еще и другое, а именно — искажение роли науки или злоупотребление наукой как средством. Попробуем подойти к этой группе явлений и по отдельности, и в их связи друг с другом.

Одновременно с тем, что наука продемонстрировала доселе невиданные возможности господства над природой и тем самым

* Игра слов возникает из-за наличия приставки *onder* [*нод-, недо-*] в обоих словах, в состав которых входит *wijs* [*мудрый*]. *Onderwijs* (пишется слитно) происходит непосредственно от *wijzen* [*показывать, направлять*] и означает образование (букв.: указание, направление, подстраивание). *Onder-wijs* (написанное через дефис) — недоумок. Таким образом, фраза приобретает смысл: «Образование делает недоумком».

обеспечила расширение человеческой мощи и достигла глубин проникновения в строение всего сущего как никогда ранее, теперь она гораздо менее способна заставить считаться с собой как с оплотом и критерием достоверного знания и оставаться путеводной нитью для жизни. Соотношение различных функций науки полностью изменилось.

Этих функций издавна было три: приобретение и умножение знаний, воспитание общества в культурном отношении и создание возможностей применения и обуздания сил. На протяжении двух столетий становления современной науки, в XVII и XVIII вв., между двумя первыми функциями сохранялось определенное равновесие, тогда как третья еще значительно отставала. Восхищались просвещающим прогрессом познающего духа и отступлением невежества. Никто не ставил под сомнение культурно-воспитательную и направляющую ценность науки. Опираясь на нее, строили больше, нежели мог выдержать ее фундамент. С каждым новым открытием всё лучше постигали мир и его законы. Просветленность сознания давала также и определенный нравственный выигрыш. Зато третья из названных функций: приложение науки для развития технических возможностей — проявлялась всё еще слабо. Электричество оставалось курьезом для развлечения образованной публики. Способы приложения силы, в том числе и в качестве тяги, вплоть до XIX в. ограничивались издревле известными формами. Соотношение функций науки: культурного воспитания, умножения знаний и их технического применения — для XVIII столетия можно выразить как 8:4:1.

Если выразить то же соотношение для нашего времени, то оно выглядело бы, вероятно, как 2:16:16. Соотношение этих трех функций полностью изменилось. Возможно, признание незначительности культурно-воспитательной ценности науки в сравнении с ее познавательной и прикладной ценностью вызовет бурное негодование. И всё же: можно ли утверждать, что поразительные открытия современной науки, которые, по сути, по-

нятны лишь ограниченному кругу ученых, пошли на пользу *всеобщему культурному уровню* хоть сколько-нибудь существенным образом? Даже самое превосходное преподавание в университетах и средних школах ничего изменить здесь не может: в то время как содержание научного знания и прикладная ценность науки с каждым днем неизмеримо возрастают, ее культурно-воспитательная ценность не увеличилась в сравнении с прошлым веком; она даже меньше, чем была в XVIII столетии, когда в деле интеллектуального образования предстояло сделать еще очень многое, — при том что теперь всеобщий уровень образованности, достигаемый на основе начальной школы, гораздо выше.

Современный человек усваивает себе взгляд на жизнь не из науки, если не брать совсем уж редкие случаи. И это вовсе не вина самой науки. Мощное основное течение отворачивается от науки или искажает ее. Уже больше не верят в ее способность вести нас вперед. Отчасти по праву; было время, когда она выдвигала слишком непомерные притязания на господство над миром. Но здесь всё-таки нечто другое, чем неминуемая реакция. Сказывается упадок интеллектуальной составляющей в нашем сознании. Потребность размышлять о разумно постигаемых вещах столь точно и объективно, насколько возможно, и подвергать свои размышления критическому анализу явно ослабевает. Далеко зашедшее помрачение мыслительной способности стало уделом слишком многих умов. Всяким разграничением между логическими, эстетическими и аффективными функциями намеренно пренебрегают. Чувство, без критических возражений со стороны разума, и даже сознательно противопоставляемое ему, неминуемо вмешивается в вынесение суждения, независимо от объекта суждения. Провозглашают интуицией то, что в действительности представляет собой лишь намеренный выбор на основе аффекта. Смешивают побуждение, вызванное интересом и желанием, с убеждением на основании знания. И в оправдание называют необходимым сопротивлением диктату рассудка то, что в действительности является отказом от самих принципов логики.

Из тиранически насаждаемого рационализма мы все без исключения уже давно выросли. Мы знаем, что не всё можно мерить меркой разумности. Ход развития мышления учит, что одного разума недостаточно. Более содержательный и более глубокий взгляд, чем чисто рациональный, обнаружил большее понимание *смысла* в вещах, чем раньше. Но там, где мудрый в расширении свободы и простора суждения усматривает возможность более глубокого смысла, глупый видит единственно лишь право для большей бессмыслицы. И вот поистине трагический вывод: дух времени, наряду с тем что осознал ограниченность приложения старой рациональной схемы, одновременно сделался восприимчивым к такой мере бессмыслицы, против которой он долгое время обладал достаточным иммунитетом.

Пренебрежение критическим вето может быть лучше всего проиллюстрировано несколькими словами о нынешней расовой теории. Антропология — важная отрасль того, что раньше называли естественной историей. Это отдел биологии с сильным историческим уклоном, что роднит антропологию с геологией и палеонтологией. Путем точных методических исследований, на основе учения о наследственности, она выстроила систему расовых различий, применимость которой уступает другим биологическим схемам единственно лишь из-за слишком большой доли сомнений в непреложности ее выводов, основанных на измерениях черепа, а также из-за сильных колебаний в ее методах систематизирования. Телесным отличительным признакам, по которым она с большей или меньшей уверенностью различает расы, в общем как будто соответствует определенная степень сходства духовных свойств внутри этих рас, во всяком случае такое кажется допустимым. Китаец отличается от англичанина не только физически, но и духовно; никто этого не отрицает. Однако чтобы иметь возможность произвести констатацию такого рода, в рассмотрение феномена *расы* следует включить рассмотрение феномена *культуры*. И китаец, и англичанин суть продукты сочетания: *раса + культура*. Другими словами: величина, совершен-

но не поддающаяся измерению в антропологии, была соединена с предметом наблюдения, прежде чем могло быть выражено суждение о расовых признаках духовного свойства. Предположение, что духовные особенности могут быть выведены непосредственно из антропологической определенности, ни в коем случае не может быть полностью правильным. Ибо бесспорно, что духовное своеобразие расы, по крайней мере, в некоторой части, раскрывается лишь в соответствии с жизненными обстоятельствами и благодаря им. Никакой наукой нельзя отделить эту часть от той, которую мы предположительно считаем врожденной. Столь же мало может какая-либо наука доказать специфическую корреляцию между каким-либо телесным признаком, например, монгольской складкой у глаз, и каким-либо духовным признаком (при условии, что этот духовный признак вообще может быть доказательно признан объединяющей особенностью всей расы в целом). Пока эти недостатки входят в учение о расах, остается убеждение, что выведение характера народа из расы как безусловное правило дает неверное, и даже при наличии необходимых оговорок, лишь сомнительное и неточное знание. Если же принять ограничение, что оперировать возможно только понятием *раса + культура*, то это будет уже фактическим отказом от выдвижения научно обоснованного расового принципа, и лучше всего будет не основывать на нем никаких выводов.

Один пример. Если принять, что духовные способности уже заложены в расе, тогда само собой разумеется, что сходство способностей должно говорить и о расовом сходстве. Евреи и немцы необычайно одарены в области философии и музыки, двух важнейших элементах культуры. Ясно, что это должно убедительно свидетельствовать о близком сходстве семитской и германской расы. — И так далее, на ваш выбор. Пример смехотворный, но не глупее тех выводов, которые в настоящее время встречают одобрение в широких кругах образованных людей.

Нынешний спрос на расовые теории в их приложении к оценке культуры и к политике не следует приписывать какой-то осо-

бой громогласности антропологической науки. Здесь мы имеем дело с примечательным случаем общедоступного учения, которое долгие годы и вплоть до самого недавнего времени оставалось за гранью признанного и критически выверенного культурного достояния. С самого начала отвергаемое серьезной наукой как несостоятельное, оно продолжало свое существование более полустолетия в сфере дряблой романтики, пока вдруг политическими обстоятельствами не было возведено на пьедестал, с которого теперь отваживается изрекать научную истину. Вывод о собственном превосходстве на основании претензий на расовую чистоту всегда был привлекательным для многих, так как он ровно ничего не стоит и сильно подыгрывает романтическим натурам, не обремененным потребностью в критике и снедаемым жадой самовозвеличения. Всё это не что иное, как плохо переваренная пища одряхлевшей романтики, которую отгрыгнули Х. С. Чемберлен, Шеманн и Вольтманн¹². Успех мнений, подобных высказанным Мэдисоном Грантом и Лотропом Стоддардом¹³, причисляющим рабочих к более низкой расе, имел опасный политический привкус.

Расовые тезисы как аргумент культурной борьбы — всегда самовосхваление. Признавал ли когда-нибудь со страхом и стыдом какой-либо расовый теоретик, что расу, к которой он себя причисляет, следует считать менее ценной? Здесь всегда речь идет о возвышении самого себя и себе подобных над другими и за счет других. Расовые тезисы всегда чему-то враждебны, всегда *анти*-; для учения, которое выдает себя за науку, — весьма дурной признак. Их установка — антиазиатская, антиафриканская, антипролетарская, антисемитская.

Нельзя отрицать существование очень серьезных проблем и конфликтов социального, экономического или политического характера, которые возникают из соприкосновения двух рас в *одном* государстве или в *одной* местности. Нельзя также отрицать того, что неприязнь одной расы по отношению к другой может быть чисто инстинктивного свойства. Но в обоих случаях разье-

диняющий момент иррационален, и не дело науки возводить его в критический принцип. Из-за наличия подобных противоречий квазинаучность прикладных расовых теорий предстает в особенно ярком свете.

Если инстинктивная расовая антипатия и в самом деле обусловлена биологически (как вроде бы имеет место у тех, которые объявляют, что не могут переносить запаха негров), то воспитанному человеку следовало бы заблаговременно отдать себе отчет в животном свойстве подобной реакции и по возможности с нею бороться, а не культивировать ее и ею гордиться. Политике «на зоологической основе», как ее в свое время очень метко обозначила *Osservatore Romano*¹⁴, не место в обществе, построенном на христианских принципах. Культура, предоставляющая свободу расовой ненависти и даже поощряющая ее, более не отвечает условию: *культура — это власть над природой*.

Осуждая политическое использование расовой теории, следует сделать две оговорки. Во-первых, не следует смешивать ее со здраво продуманной евгеникой¹⁵. Того, что именно эта последняя, быть может, способна сделать для блага государства и человечества, мы здесь касаться не будем. Во-вторых, самовозвеличение одного народа над другим не обязательно должно основываться на расовых претензиях. Чувство превосходства у латинских народов во все времена основывалось гораздо больше на качестве культуры, чем на расе. Французское *la race* никогда не получало чисто антропологического оттенка. Высокомерие и самовосхваление на почве собственного культурного благородства иногда может быть в чем-то более рационально и даже более оправданно, чем расовое высокомерие, однако всё равно остается духовным тщеславием.

Прикладное расовое учение, как ни верти, является убедительным доказательством падения требований, которые предъявляет общественное мнение к чистоте критического суждения. Тормоза критики не срабатывают.

Они не срабатывают и во многих других случаях. — Нельзя отрицать, что с возобновившейся потребностью в синтезе гуманитарных наук, который, с начала этого века, не мог не последовать за периодом чрезмерного увлечения анализом (явление, само по себе целительное и плодотворное), акции *внезапных идей* в науке заметно повысились. Кишмя кишат дерзкие синтезы культуры, как правило, пронизанные всевозможной ученостью, где «оригинальность» их автора выступает с гораздо большим триумфом, чем тот, которым его, собственно, могла бы удостоить осмотрительная наука. Культурфилософ подчас занимает место *bel esprit*¹⁶ уже отошедших времен. И не всегда вполне ясно, насколько он сам принимает себя всерьез, хотя и желает быть принятым всерьез своими читателями. Возникает нечто среднее между культурфилософией и культурфантазией, и даже опытному человеку здесь не всегда легко отделить пшеницу от плевелов. К тому же и повышенная склонность к эстетическому эффекту в выражении своих мыслей также вносит свой вклад в сумбурный характер подобной продукции.

Естественные науки не испытывают затруднений такого рода. Математические формулы являются для них инструментом проверки, который непосредственно устанавливает верность (но не *достоверность*) продукта. Для *bel esprit* в их сфере нет места, и шарлатаны без труда изгоняются. С одной стороны, преимущество, но, с другой стороны, и беда гуманитарных наук в том, что формирование идей и способы выражения там протекают в областях, включающих и эстетическое, и эмоциональное.

Общее формирование суждений вне области точных наук стало более неопределенным, в то время как естественные науки в состоянии неизменно требовать всё большей строгости суждения. Строго рациональное как исключительный инструмент в гуманитарных науках менее заметно, чем в прежние времена. Вынесение суждений менее регулируется формулой и традицией. Как часты и необходимы стали для обозначения процесса формирования знания слова *видение, концепция*, не говоря уже о

таких вещах, как *интроспекция* или *Wesensschau*¹⁷ [*усмотрение сущности*]! Вместе с ними в суждение привносится немалая степень неопределенности. Неопределенность тоже *может* быть благотворной. Правда, она слишком легко позволяет витать между твердым убеждением и приятной игрой ума. Уму, подвергающему себя строгой проверке, решить: «я так действительно думаю», — принимая во внимание антиномический характер мышления вообще, о чем мы уже говорили ранее, — представляется более затруднительным, чем во времена схоластики или рационализма. Тем проще прийти к такому мнению уму поверхностному или предубежденному.

В снижение стандартов образования критического суждения немаловажный вклад, как мне кажется, внесло направление, названное по имени Фрейда. О чем, собственно, идет речь? Психиатрия обнаружила важные факты, интерпретация которых вывела ее из области психологии в область социологии и культурологии. И тогда произошло то, чему мы нередко бываем свидетелями. Ум, воспитанный на точных наблюдениях и анализе, но поставленный перед проблемой культурологической, то есть не точной, интерпретации, не располагает никакими тщательно выверенными нормами, имеющими силу доказательств, и в незнакомой ему области из каждой неожиданной мысли извлекает далеко идущие выводы, не способные выдержать проверку историко-философским методом, который здесь требуется. Если мало осведомленная широкая публика принимает таким образом разработанную систему в качестве признанной истины, а технические термины этой системы использует как готовые к употреблению средства мышления, которые вполне пригодны для каждого, тогда множеству лиц с низкими стандартами в отношении критики предоставляется приятная возможность порезвиться в науке. Кого не приводил в изумление жалкий лепет, с помощью которого авторы популярных изданий с психоаналитическим уклоном пытались объяснить человека и мир, доволь-

ствуясь «символами», комплексами и фазами инфантильной душевной жизни для своих выводов и построения на их основе многомудрых теорий!

IX. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ НАУКОЙ

В случае расовой теории нам приходилось иметь дело с квазинаукой, которая протискивается на место подлинной науки, чтобы служить желанию властвовать. Однако желание властвовать находит гораздо более сильный и действенный инструмент в настоящей науке, которую использует для того, чтобы выдумывать и изготавливать средства обретения власти. Лозунг «знание — сила», ликующий тон буржуазно-либеральной эпохи, начинает звучать зловеще.

Наука, не обуздываемая неким высоким принципом, без сопротивления передает свои тайны гигантски разросшейся и подвижной коммерцией технике, притом технике, еще менее сдерживаемой верховным принципом, поддерживающим культуру, и создающей с помощью науки все те инструменты, которые требует от нее организм власти. Техника поставляет всё, в чем нуждается общество для совершенствования коммуникаций и для удовлетворения потребностей. Ее возможности всё еще далеко не исчерпаны. Каждое научное достижение открывает новые горизонты, однако общество в его нынешнем виде пока не в состоянии востребовать всё то, что техника способна предложить в сфере жилья, питания, передвижения и передачи идей.

Общество требует от опирающейся на научные достижения техники также создания средств разрушения. Не всякое истребление жизни есть военное насилие или преступление. Борьбу с бедствиями, которыми растительный и животный мир угрожает человеческой жизни, всякое общество, если оно не основано на принципе крайнего ненасилия, провозглашаемого некоторыми индийскими религиями, должно признать благодетельной и доз-

воленной, даже необходимой. Поддержание порядка и осуществление правосудия также могут требовать применения насилия, вплоть до лишения жизни.

Следующий шаг уже приводит к использованию науки для подавления жизни в самом зародыше. Применение искусственных средств для предохранения от возможной беременности *может* поддерживать общественное здоровье и служить общему благу. Но понятие власти над природой, которое мы считаем существенным для культуры, здесь, собственно говоря, уже не подходит. Это уже не власть, а насилие над природой, потенциальное ее истребление. Граница, за которой использование науки для этих целей становится злоупотреблением, зависит от моральной оценки ограничения рождаемости и, как известно, в значительной степени определяется религиозными принципами.

Не говоря уже о моральном критерии, позволяющем различать между употреблением и злоупотреблением, возникает вопрос о социальных последствиях продолжающегося ограничения рождаемости. Нет недостатка в голосах, предсказывающих быстро прогрессирующее уничтожение народонаселения, а с ним и культуры. Согласно расчетам, опирающимся на теорию наследственности и демографию, при продолжающемся ограничении рождаемости в степени, достигнутой в большинстве стран Западной Европы, вымирание резерва коренного населения стало бы вопросом нескольких поколений³. Если расчеты верны, то тем самым проблема кризиса культуры во многом утратила бы свою безотлагательность, ибо тогда закат в итоге уже предрешен заранее. Да и какой смысл в поддержании культуры, если наследников, которым она пригодилась бы, вообще не будет?

Как бы то ни было, о науке, которая технически усовершенствовала способы ограничения рождаемости и сделала их гигиенически безвредными, не может быть сказано без оговорок, что она тем самым безусловно выполнила свою функцию во благо человечеству и культуре.

Еще более критическим должно быть суждение об употреблении науки и злоупотреблении ею, когда дело касается производства прямых средств уничтожения человеческой жизни и истребления всего окружающего в гигантских размерах. Автор этих страниц вовсе не радикальный пацифист и отнюдь не поборник абсолютного непротивления. Его осуждение человекоубийства останавливается не только перед дозволенной личной самообороной и обеспечением правопорядка, он убежден также, что гражданин обязан служить своему отечеству, убивая и жертвуя своей жизнью, если этого требует его воинский долг. Но он полагает, что можно помыслить обстоятельства, при которых добровольное вымирание всего рода человеческого было бы предпочтительнее, нежели выживание некоторых при вине всех.

Минувшая Мировая война до крайности раздвинула наши представления о пределах допустимого для государства. Мы постигли и испытали на себе, что, если уж война разразилась, возможности техники, воплотившей достижения науки, вряд ли позволят оставить без применения новые средства уничтожения, воздушные и подводные, химические и баллистические. Мы взираем с чувством бессильного негодования на то, как во всем мире техника, опирающаяся на науку, продолжает производить и совершенствовать все эти средства. Однако есть одна точка, где нашей готовности мириться со всем этим должен быть положен конец. Это бактериологическая война. Кажется несомненным, что открыто восхваляемые некоторыми возможности ведения войны путем распространения болезнетворных бактерий серьезно изучаются и разрабатываются в нескольких странах⁴. Можно спросить: какая разница, оперируют ли взрывчатыми веществами, газом или микробами? Разве раньше не отравляли колодцы? — И правда, это лишь дело вкуса. Но если дело дойдет до того, что люди, *с помощью науки*, станут уничтожать друг друга тем, чего все прежние культуры, от самой высокой до самой низкой, страшились как вмешательства Богов, Судьбы, Демонов или Природы, то это будет такой сатанинской насмеш-

кой над устоями нашего мира, что виновному человечеству тогда лучше бы сгинуть в своем бесчестии.

Если культура, в которой мы живем, восстановится до лучшего порядка вещей и более человеческого смысла, то один лишь факт, что бактериологическая война замышлялась вполне серьезно, навечно останется омерзительным позорным пятном на этом извратившемся поколении.

Х. ОТКАЗ ОТ ИДЕАЛА ПОЗНАНИЯ

Снижение потребности в критике и помрачение способности к ней, извращение функции науки, разумеется, указывают на серьезное расстройство культуры. Но полагать, что, указав на симптомы, можно в принципе устранить зло, значит жестоко ошибаться. Ибо сейчас же слышатся яростные возражения тех, кто видит себя носителями новой культуры: мы не желаем, чтобы опробованное знание возводили на престол как судию наших деяний. Наша цель не думать и знать, но жить и делать!

Вот центральный момент кризиса культуры: конфликт между *знанием* и *бытием*. Он не нов. Принципиальная недостаточность нашего знания стала осознаваться уже с самых ранних дней философии. Действительность, которой мы *живем*, остается по существу непознаваемой, непостижимой средствами разума, совершенно отличной от мышления. В первой половине XIX столетия эта старая истина, известная уже Николаю Кузанскому, была вновь воспринята Кьеркегором и как противопоставление *экзистенции* и *мышления* стала центральным пунктом его воззрений. Она послужила ему, однако, лишь для более глубокого укоренения веры. И только те, кто пришли после него и прошли подобный же путь независимо от него, отрешили эту идею от ее устремленности к Богу и предоставили ей мельчать либо в нигилизме и отчаянии, либо в культе земной жизни. Ницше пытался спасти человека в его трагическом изгнании за пределами

истины тем, что, наряду с волей к познанию вещей, различал в качестве более глубокого основания волю к жизни, которую считал необходимым понимать как волю к власти. Прагматизм лишил понятие истины притязания на абсолютную действенность, поместив ее в русле потока времени. Истиной является то, что обладает существенной ценностью для людей, которые признают эту истину. Нечто становится истиной, когда и поскольку оно действительно для определенного времени. Неотесанный ум может легко прийти к выводу: действительно, стало быть истинно. Редуцированное до состояния относительности понятие истины должно было привести к некоему роду духовного и морального эгалитаризма, к устранению всех различий ранга и значения среди идей. Мыслители в области социологии, такие, как Макс Вебер, Макс Шелер, Освальд Шпенглер, Карл Маннхайм, нашли в *Seinsverbundenheit des Denkens* [бытийственной обусловленности мышления] исходный пункт, который сделал их ближайшими соседями исторического материализма, их *professo** заключавшего в себе анти-ноэтическую^{5 18*} тенденцию. Так анти-ноэтические силы столетия мало-помалу образовывали мощный поток, вскоре ставший угрожать дамбам духовной культуры, которые почитались незыблемыми. И вот Жорж Сорель в своих *Réflexions sur la violence* [Размышлениях о насилии] сделал из всего этого практико-политические выводы и тем самым стал духовным отцом всех нынешних диктатур.

Дело, однако, не только в диктатурах или их приверженцах, которые исповедуют подчинение жажды знания воле к жизни. Нужно указать на глубинную основу всего культурного кризиса. Именно духовный сдвиг и является тем процессом, который управляет непосредственно затрагивающими нас событиями.

Но разве философия вела в танце, а общество, будучи партнером, ей следовало? Приходится обратить это суждение вспять

* По профессии (лат.).

и признать: философия плясала под дудку жизни. Учение, которое знание подчиняет жизни, видимо, и само этого требует.

Отвергала ли какая-либо из ранних культур идеал познания, то есть в принципе сам интеллект? — Найти историческую параллель для сравнения вряд ли возможно. Систематизированный философский и практический антиинтеллектуализм, который мы переживаем в настоящее время, поистине кажется чем-то новым в истории человеческой культуры. История мышления, без сомнения, знала немало поворотов, когда чересчур далеко зашедший примат *постижения* сменялся выдвигавшейся на первый план *волей*. Таким поворотом был, например, период, когда к концу XIII в. идеи Дунса Скота распространялись наряду с идеями Фомы Аквинского. Но эти повороты затрагивали тогда не практическую жизнь или земной порядок, но веру, устремленность к глубинным основам бытия. И происходило это всегда в форме *познания*, как бы далеко ни старались при этом отбросить разум. Нынешнее сознание легко смешивает интеллектуализм с рационализмом. Даже те способы интерпретации, которые, отвергая стремление к логическому мышлению и пониманию, стремились путем интуиции или созерцания достичь того, что было закрыто для разума, всегда оставались направленными на *постижение истины*. Греческое слово *гносис* или индийское *джнана* говорят достаточно ясно о том, что даже чистая мистика остается познанием. Ибо движение *духа* всегда происходит в мире интеллигибельного. Идеалом всегда оставалось постижение истины. Культуры, которые отвергали бы познание в самом широком смысле слова или отступали от Истины, мне неизвестны.

Когда прежние духовные течения нарушали вассальную верность инструменту логики — разуму, то всегда исключительно ради *сверхразумного*. Культура, желающая сегодня задавать тон, отказывается не только от разума, но и от интеллигибельного вообще, и именно ради *недоразумного*, ради влечений и инстинктов. Она выбирает *волю*, однако не волю Дунса Скота, которая

его устремляла к вере, но волю к земной власти; выбирает «бытие», «кровь и почву»¹⁹ вместо «познания» и «духа»⁶.

Остается пока что открытым вопрос, в какой степени неизбежное признание *der Seinsverbundenheit, Situationsverbundenheit* [бытийственной обусловленности, ситуативной обусловленности] мышления способствовало прояснению культурного сознания — и в какой степени оно, будучи принято как исключаящее все прочие, могло быть прелюдией заката культуры.

ХІ. КУЛЬТ ЖИЗНИ

Новым ученым словечком, модным в образованных кругах, без сомнения, будет «экзистенциальный». Оно всё чаще мелькает у любителей бросаться словами и скоро станет достоянием самой широкой публики. Если раньше автор, дабы убедить читателей в том, что он больше смыслит в неких вещах, чем его сосед, довольно долго говорил «динамичный», то теперь это будет «экзистенциальный». Слово послужит ему средством, чтобы еще более торжественно отвергать дух, выражением презрения ко всему, что есть знание и истина.

Высказывания, которые еще до сравнительно недавнего времени считались слишком уж несуразными даже для того, чтобы казаться смешными, теперь можно слышать на съездах ученых. На конгрессе филологов в Трире в октябре 1934 г., по сообщениям газет, один из выступавших заявил, что от науки нужно требовать скорее «отточенных мечей», а не истины. Когда другой выступавший не проявил должной почтительности к некоторым вопросам толкования национальной истории, председатель упрекнул его за «недостаток субъективности». И это на научном конгрессе!

Так далеко зашло дело в просвещенном мире. Не следует полагать, что упадок способности суждения ограничивается странами, где восторжествовал крайний национализм. Видящий то,

что происходит вокруг, постоянно замечает, что у образованных людей, большей частью у молодежи, проявляется определенное равнодушие к доле истинности в образах их идейного мира. Такие категории, как вымысел и история, в простом, общепотребительном значении этих слов, уже утратили отчетливые различия. Больше не интересуются, можно ли проверить материал духовного свойства на предмет его истинности. Взлет понятия *миф* — знаменательный пример всего этого. Принимают как данность некий образ, в котором сознательно допускают элементы желания и фантазии, но который тем не менее провозглашают «былой реальностью» и возвышают, превращая в путеводную нить жизни, тем самым безнадежно смешивая сферы известного и желаемого.

Как только «*seinsverbundene*» [«бытийственно обусловленное»] мышление хочет выразить себя в слове, между логическими аргументами, без всяких помех со стороны критики, проскальзывают фантастические метафоры. Если жизнь не находит выражения в понятиях логики (с чем каждый вынужден согласиться), то, чтобы выразить нечто большее, чем позволяет нам логика, слово дают поэту. Так было с тех пор, как мир узнал искусство поэзии. Но по мере того как развивалась культура, становилось отчетливее различие между мыслителем и поэтом, и за каждым из них была оставлена его область. Язык нынешней философии жизни возвращается к примитивной стадии и не знает удержу в используемой им поразительной мешанине средств логики и поэзии. В числе этих последних именно метафора крови получает наибольшее распространение. Поэты и мудрецы разных народов и поколений охотно прибегали к образу *крови*, чтобы метко выразить в одном слове самоё суть жизни. Хотя, взятые абстрактно, и другие телесные соки могут точно так же внушать мысль о родстве и наследственности, в крови видели, слышали, ощущали ток жизни, жизнь уходила вместе с вытекающей кровью, кровь означала мужество и борьбу. Образ крови издавна наделяли священным значением, именно он стал выра-

зителем глубочайшей божественной тайны. В то же время он оставался содержательным понятием в повседневном речевом обиходе. Разве не сверх меры мифологично, когда на наших глазах метафора крови вновь входит в юридическое кредо крупного современного государства²⁰, и министр, вводя новое уголовное право, так говорит о крови, что и средневековый феодализм не мог бы претендовать на подобную образность?

Иерархия крови и духа сторонниками философии жизни выстроена в обратном порядке. Я нашел такое высказывание Р. Мюллер-Фрайенфельса⁷: «Сущность нашего духа — не в чисто интеллектуальном познании, но в его биологической функции как средстве поддержания жизни». И невозможно отважиться заявить, что такова именно сущность *крови*!

Одержимость жизнью, если придерживаться терминологии ее пророков, следует рассматривать как проявление чрезмерного полнокровия. Современное общество благодаря техническому совершенствованию бытового комфорта, всевозможным мерам повышения безопасности, возросшей доступности всякого рода удовольствий, продолжительно возрастающему и еще сохраняющемуся процветанию достигло такого состояния, которое древняя медицина могла бы обозначить как $\pi\lambda\eta\theta\acute{\omega}\rho\alpha$ ²¹ (*плетбра*). Духовно и материально мы уже давно живем в изобилии. Мы так носимся с жизнью, потому что она стала для нас чрезвычайно удобна. Постоянно обостряющиеся возможности восприятия, легкость духовного общения вносят в жизнь силу и дерзновение. Более чем до середины XIX столетия даже состоятельные люди на Западе гораздо чаще и непосредственнее соприкасались со скудостью существования, чем привыкли мы, считая к тому же, что так оно и должно быть. Еще наши деды могли лишь в очень ограниченной степени заглушать боль, лечить раны или переломы костей, защищаться от холода, рассеивать тьму, общаться с другими лично или по почте, в должной мере поддерживать чистоту тела, избегать вони и нечистот. Человек постоянно ощу-

щал со всех сторон природные ограничения земного благополучия. Действенные усилия техники, гигиена и улучшение санитарного состояния среды избаловали человека. Он утратил добродушное смирение, привычку к каждодневной нехватке удобств — урок предшествующих поколений. И одновременно подвергся опасности утратить также способность наивно принимать счастье жизни, когда оно выпадало ему на долю. Жизнь сделалась слишком легкой. Моральная опора оказалась слишком слабой, чтобы нести все эти богатства.

В отношении прежних культурных периодов, христианских или мусульманских, буддистских или каких-либо еще, всегда приходится иметь дело со следующим противоречием. В принципе ценность земного счастья отрицалась по сравнению с небесным блаженством или растворением во Вселенной. Но поскольку названные религии всё же признают относительную ценность этого мира, то, приняв это однажды, они не оставляют или почти не оставляют места для забвения дарованных Богом жизненных ценностей: ведь это было бы неблагодарным отказом от Его милостей. И именно эта столь хрупкая достижимость каждой толики земных радостей поддерживала представление об их ценности. Решительная ориентация на потустороннее могла приводить к отрицанию мира, но не допускала *Weltschmerz* [мировой скорби]²².

Также и в наши дни мы сталкиваемся с противоречиями в этой области, но с совершенно иными, чем прежде. Первое из них заключается в том, что увеличение безопасности, досуга и возможностей получения удовольствий, вкратце — надежности жизни, с одной стороны расширило границы всех форм жизниотречения: философского отрицания ценности жизни, чисто эмоционального *сплина* или пресыщённости жизнью. С другой стороны, это позволило укорениться всеобщему сознанию права на земное счастье. К жизни стали предъявлять требования. К этому противоречию присоединяется и другое. Амбивалентное отношение, нерешительное в выборе между наслаждением

жизнью и ее отрицанием, присуще исключительно индивидууму. Общество же, напротив, без колебаний, и убежденней, чем раньше, принимает земную жизнь как предмет всех надежд и свершений. Поистине культ жизни утверждает себя повсюду.

Остается серьезный вопрос, может ли вообще удержаться высокий уровень культуры без определенной степени ориентации на смерть. Такую ориентацию знали все великие культуры, известные нам в прошлом. Есть признаки, что философская мысль уже нащупывает этот путь. И тем самым будет находиться в согласии с течениями, которые воодушевляют философию жизни, поскольку логично, что теория, ставящая *существование* выше *познания*, также и конец существования включает в свое целеполагание.

Странное время. Разум, который некогда боролся с Верой и полагал, что сокрушил ее, должен теперь, дабы избежать краха, искать прибежища в вере. Ибо лишь на неослабном, непоколебимом фундаменте живого метафизического сознания абсолютное понятие истины, с вытекающими из него всецело действенными нормами морали и справедливости, будет защищено от нарастающего потока инстинктивного напора жизни.

Поразительная слепота! Нападают на знание и понятия, но при этом всегда средствами полужнания и ложных понятий. Чтобы доказать непригодность средства познания, нет иного способа, кроме как обратиться к другому знанию, отличному от того, которое отвергают. Действительность и сама жизнь остаются безмолвными и непроницаемыми. Всё высказываемое включает в себя некое знание. Даже поэзия, которая наиболее страстно стремится достичь непосредственного соприкосновения с жизнью (я думаю здесь об Уитмене и о некоторых стихотворениях Рильке), остается духовной формой, остается *познанием*. Кто хочет всерьез опираться на анти-ноэтический принцип, должен отказаться от речи.

Философия, которая, предваряя обоснование своей истинности, объявляет себя зависимой от определенной жизненной фор-

мы, которой она служит, на самом деле совершенно не нужна представителям этой жизненной формы, а для остального мира вообще не представляет никакой ценности. Она служит лишь для подкрепления уже признанного. Для чего же, если здесь и речи нет о познании, государство полагает необходимым впрягать впереди или позади своей триумфальной колесницы мыслителей, чтобы они доказывали его ценность? Дайте им супружеское ложе, лопату, форменную фуражку.

ХII. ЖИЗНЬ И БОРЬБА

Жизнь — это борьба. Такова старая истина. Христианство знало ее во все времена. Ее действенность в качестве начала, истока культуры заключена в нашей предпосылке, что всякая культура содержит в себе стремление. Всякое стремление есть борьба, то есть приложение воли и всех сил для преодоления препятствий, которые противодействуют достижению цели или встречаются на пути к ней. Вся терминология, касающаяся душевной жизни человека, располагается в домене борьбы. Одним из существенных признаков живого организма является то, что он в определенной степени оснащен для ведения борьбы. Уже чисто биологическое представление говорит: «жизнь — это борьба». Понятно, что теория, которая всё подчиняет настояниям жизни, ни за какую другую истину не ухватится в качестве лозунга столь жадно, как за эту. Но как она ее понимает?

Христианское учение, исходя из своей сущности и целевой установки, указало зло в качестве объекта, с которым нужно бороться. Зло было отрицанием всего, что сообщается в откровении как Божья воля, мудрость, любовь, сострадание и в качестве таковых осознается душой отдельного человека. Именно здесь, в последней инстанции, расположено поле битвы, где может и должно даваться сражение: *самим* человеком, *против* зла, *внутри* самого себя. Но по мере того как знание о добре и зле, истине

и лжи сформировывалось в Церкви, общине или у земной власти, борьба со злом делалась экстенсивной и направлялась вовне. Борьба со злом стала христианским долгом. Трагизм земного существования, состояние «переплетения и смешения» *civitas Dei* и *civitas terrena*²³, которое будет длиться, доколе существует мир, превратили историю христианства, то есть народов, исповедующих Христа, в нечто совершенно иное, нежели триумфальное шествие христианства. Власть, которая сообщала пароль для распознавания тех, кто суть носители зла, попеременно была властью теологических, в своем догматическом упорстве озлобленных, партий; властью варварских государств; борющейся за свое существование Церкви; народов, с их пылкой верой и необузданными желаниями; правительств, втянутых в гущу церковных конфликтов. Но куда бы мы ни устремили свой взор: на церковные Соборы прошлого времени, на крестовые походы, на борьбу между императором и Папой или на религиозные войны — неизменно оказывается, что корнем вражды был вопрос понимания истины и лжи, добра и зла. И эта убежденность лежала также в основе решения о том, какие именно средства дозволены христианам в их борьбе. В границах христианства компасная стрелка могла указывать долг на шкале совести, которая простиралась от полного непротивления — до ратного дела.

Если проверить содержание нынешних ходячих убеждений в отношении добра и зла с христианской или даже с Платоновой точки зрения, окажется, что теоретически самые основы христианства отброшены в гораздо большей степени, чем кажется исходя из их официальных или полуофициальных низложений. Вопросы, насколько это справедливо также для индивидуального сознания, мы пока что касаться не будем. Известно, что в общественном понимании гражданских обязанностей представления о безусловном добре и безусловном зле занимают не слишком большое место. Понятие борьбы в жизни для многих переместилось из области индивидуальной совести в область обществен-

ной жизни, при том что этическое содержание понятия борьбы в значительной степени улетучилось. Жизненная борьба, которую многие признают как судьбу и долг, представляется им почти исключительно борьбой определенной общности за определенное общественное благо, то есть культурной задачей. Следовательно, борьбой против определенных общественных зол. В осуждении этих зол может присутствовать искренняя нравственная убежденность, например, в отношении преступности, проституции, пауперизма. Но чем больше данное зло затрагивает общественное благо как таковое, — например, экономическая депрессия или политические неурядицы, — тем больше понятие зла редуцируется до понятия внутренней слабости, которую нужно преодолеть, и внешнего противодействия, с которым нужно бороться.

Поскольку, однако, человек, даже если он отбросил все моральные нормы, проявляет склонность к моральному негодованию и осуждению других, то к подобному понятию обидной слабости либо противодействия всегда примешивается некий остаток отвращения к *злу*, вызывая путаницу, приводящую к тому, что любое противодействие сразу воспринимают как зло.

Противодействие, от которого якобы страдает общество, оказывают главным образом другие группы людей. Жизненная борьба как общественный долг становится борьбой людей против людей. Эти *другие*, против которых ведется борьба, теоретически не выступают больше как носители *зла*. В борьбе за власть и благополучие они только соперники либо экономические или политические поработители. *Другие* таким образом, в зависимости от точки зрения субъектной группы, суть конкуренты, владельцы средств производства, носители нежелательных биологических качеств или просто родственные или неродственные соседи, стоящие на пути расширения власти. Во всех этих случаях моральное осуждение само по себе нисколько не связано с желанием сражаться, покорять, изгонять, отчуждать собственность или истреблять. Но человеческая натура слаба, хотя за ге-

роическим язычеством и отказываются признавать эту слабость. Так что ко всякой готовности к борьбе с врагами присовокупляется ненависть, которую должно было бы вызывать только зло.

Все эти психологические реакции, коим подвержены массы, одурманивают общество, которое ищет или страшится борьбы. И прежде всего фатально действует пагубный страх перед надвигающейся издалека неизвестностью. Чем сильнее техническая оснащенность, чем оживленнее в целом контакты причастных сторон, тем сильнее опасность, что, несмотря на желание избегать крайностей, из-за страха разразится внешнеполитический конфликт в той стремительной и в конечном счете нецелесообразной форме, которую мы называем войной.

Честь солдату на поле брани. В невзгодах и тяготах боевых действий он вновь обретает все ценности наивысшей аскезы. Ненависть для него исключена. В постоянной и спокойной готовности к полному самопожертвованию, в абсолютном подчинении не им самим поставленной цели свершает он свое дело, которое приводит к наивысшему раскрытию его нравственных качеств⁸.

Но можно ли сам факт безгрешности солдата расширить до признания безгрешности вражды между государствами, то есть до признания того, что государство имеет полное право вести войну за свои интересы? — Этого хочет политическая теория, которую исповедуют теперь в Германии почти без исключения: как мыслящие, так и действующие. Наипростейшим образом она исключает из отношений государств друг с другом всякий элемент человеческой злобы.

В дополнение к этому остается еще только соорудить априорное суждение, ставящее Государство в качестве самостоятельного равноценного объекта рядом с основами истины и добра. С немалой долей красноречия и изощренности проделывает это авторитетный специалист в области государственного права Карл Шмитт в своей брошюре *Der Begriff des Politischen*⁹ [Понятие политического]. Вот его доводы: «Die eigentlich politische

Unterscheidung ist die Unterscheidung von *Freund* und *Feind*. Sie gibt menschlichen Handlungen und Motiven ihren politischen Sinn; auf sie führen schließlich alle politischen Handlungen und Motive zurück... Insofern sie nicht aus andern Merkmalen ableitbar ist, entspricht sie für das Politische den relativ selbständigen Merkmalen anderer Gegensätze: Gut und Böse im Moralischen, Schön und Häßlich im Ästhetischen, Nützlich und Schädlich im Ökonomischen. Jedenfalls ist sie *selbständig*...» [«Собственно *политическое* различие — это различие между *друг* и *враг*. Оно придает людским действиям и мотивам их политический смысл; к нему сводятся в конечном счете все политические поступки и мотивы... Поскольку оно не вытекает из других признаков, для сферы *политического* оно соответствует относительно самостоятельным признакам других оппозиций: добра — и зла в сфере морального, прекрасного — и безобразного в сфере эстетического, полезного — и вредного в сфере экономического. В любом случае оно *самостоятельно*...»].

В выдвижении политического как самостоятельной категории мы имеем дело, очевидно, с явным и к тому же *implicite** принимаемым *retitio principii*²⁴, то есть с поиском некоего начала. И именно начала, которое никто, чье мировоззрение хоть сколько-нибудь соприкасается с Платоном (несмотря на его возвеличение понятия *πολιτεία*²⁵), христианством или Кантом, не склонен будет принять, так сказать, не торгуясь.

Если бы можно было принять, что противоположность *друг* — *враг* вообще равнозначна другим, упомянутым выше, тогда действительно само собой вытекало бы, что в сфере политического, где эта противоположность весьма существенна, соотношение *друг* — *враг* первенствует в ряду всех прочих противоположностей. В конце первого раздела читаем: «Die Selbständigkeit des Politischen zeigt sich schon darin, daß es möglich ist, einen derartig-spezifischen Gegensatz wie den von Freund und Feind von andern Unterscheidungen zu trennen und als etwas Selbständiges zu begreifen» [«Самостоятельность в сфере политического проявля-

ется уже в том, что такого рода специфическую противоположность, как противоположность *друг — враг*, возможно отделять от других различий и постигать как нечто самостоятельное»]. Не переоценивается ли здесь выносливость логического аргумента как такового, напоминая детские годы схоластики? Не движется ли мысль весьма изощренного юриста с самого начала в *circulo vitioso* [порочном круге] в буквальном смысле слова?

Автору брошюры нетрудно было бы избавить понятие *враг* от морального привкуса, понимая его как *polémios*, *hostis* [противник], а не как *ἐχθρός*, *inimicus* [ненавистник]¹⁰. Совершенно справедливо указывает он на то, что в *Мф.* 5, 44 и *Лк.* 6, 27 сказано не «*diligite hostes vestros*» [«любите *супротивников* ваших»], но «*diligite inimicos vestros*» [«любите *ненавистников* ваших»]. Совершенно справедливо также, что в практике христианства, во все времена его существования, понятие *hostes*, *открытые враги*, было хорошо известно и признано и что вышеупомянутое библейское изречение не касается политической ситуации. Но правомерно ли ставить враждебные отношения в политике (ясно, что в этом случае *друг* не обозначает, собственно говоря, ничего позитивного) в один ряд с *истинно — неистинно, хорошо — плохо* остается вопросом, на который, независимо от принятия или непринятия христианского принципа, ответ должен быть отрицательным.

Ясно, что логичнее было бы вместо отношения *друг — враг* взять отношение *более слабый — более сильный*. Ибо *друг* в этом противопоставлении ничего не означает, а *враг* — только противника. Ведь равенства сил в конце концов не будет ни в каком военном противостоянии. Сам этот тезис заключает в себе безоговорочное признание права сильного.

Но посмотрим, какова же позиция автора. Согласно принятой им точке зрения, предоставление решения конфликта между двумя государствами третьей стороне должно быть отвергну-

* Скрытно, подразумеваемым образом (*лат.*).

то как неоправданное, глупое и бесполезное¹¹. Только самому государству, то есть в принципе всякому государству, дано абсолютное право решать, *когда* и *как* сразиться с врагом¹². И, вероятно, как следствие, решать и *кто* этот враг. А также, как можно предположить, решать, является ли сам *политически* выступающий субъект *государством*, то есть обладает ли он правом иметь *врага*. Здесь мы наталкиваемся на препятствие, всех последствий которого автор, вероятно, не предусмотрел, во всяком случае, не коснулся. Правомочна ли группа, желающая стать политически независимой, вести себя политически? А как быть с членами союза государств, с партией или классом, который требует предоставить ему бразды правления в государстве? Вряд ли могут быть здесь иные последствия, нежели те, что во всех этих случаях сообщество, которое рвется к борьбе, само будет определять характер своей политичности. Таким образом, непосредственно за независимостью *политического* стоит признание анархии.

Далее само собой выясняется, что, поскольку всякий интерес к расширению власти предоставлен решению самого государства и всегда может интерпретироваться как условие его существования, покорение малого государства более крупным становится всего лишь вопросом желания и благоприятного стечения обстоятельств.

Рядом с глашатаем независимости *политического* стоят принципиальные сторонники войны.

Завоевание само по себе есть условие существования государства, полагает известный социолог Ханс Фрайер. «Der Staat (braucht), damit er unter andern Staaten wirklich sei... eine Sphäre der Eroberung um sich her... Er muß erobern, um zu sein» [«Государство, чтобы реально существовать среди других государств... (нуждается) в сфере возможных завоеваний вокруг себя... Чтобы существовать, оно должно завоевывать»]¹³. Более убедительного отказа малым государствам в их праве на существование невозможно придумать. Фрайер — один из тех, кто прославляет войну, относя ее к важнейшим делам государства. Это обнару-

живается из назойливо повторяющегося изречения: «Alle Politik ist... Fortsetzung des Krieges mit veränderten Mitteln» [«Всякая политика есть... продолжение войны другими средствами»]. Государство «während der Waffenstillstände, die wir Frieden nennen» [«во время прекращения огня, которые мы называем миром»] должно постоянно иметь в виду возвращение к нормальному состоянию: к войне¹⁴.

Полторы тысячи лет назад Августин посвятил несколько глав своего грандиозного замысла *De civitate Dei*¹⁵ [О граде Божьем] простому доказательству, что всякая битва, даже схватка между собой диких животных или бой с мифическим великаном-разбойником Какусом²⁶, имеет целью восстановить состояние равновесия и гармонии, которое он называет *миром*. Выворачивать наизнанку простую истину — что человек в космосе стремится к гармонии, а не к дисгармонии, — превращая ее в прославление войны как нормального состояния, предоставлено мудрости XX века.

«Menschliche Geschichte im Zeitalter der hohen Kulturen ist die Geschichte politischer Mächte. Die Form dieser Geschichte ist der Krieg. Auch der Friede gehört dazu. Er ist die Fortsetzung des Krieges mit andern Mitteln...» [«Человеческая история в эпоху высоких культур — это история политических сил. Форма этой истории — война. Мир также всецело принадлежит ей. Он есть продолжение войны другими средствами»]¹⁶.

«Der Mensch ist ein *Raubtier*... Wenn ich den Menschen ein Raubtier nenne, wen habe ich damit beleidigt, den Menschen — oder das Tier? Denn die großen Raubtiere sind *edle* Geschöpfe in vollkommener Art und ohne die Verlogenheit menschlicher Moral aus Schwäche» [«Человек — хищное животное... Если я называю человека хищным животным, кого именно я оскорбляю: человека или животное? Ибо крупные хищники суть благородные создания, самые совершенные для своего вида и без лживости человеческой морали из слабости»]¹⁷.

Не отдает ли почти вековой затхлостью последнее высказывание, которое, выйдя из уст Шпенглера, отозвалось в гораздо

более широких кругах, чем слова Шмитта или Фрайера? Не проникнуто ли оно этакой слегка поизносившейся романтической разочарованностью? И разве справедливо называть изначальной жажду борьбы — по природе свойственной хищникам? Существуют ли хищники, сражающиеся ради сражения? Или, скорее, всегда, как доказывал Августин, ради того, чтобы сохранить *рах* [*мир*], спокойствие бытия, каковое он зрел простирающимся, как основное начало космической жизни, от безжизненных вещей вплоть до небес?

Эти распрекрасные рассуждения, которые слывут реализмом, потому что походя расправляются со всеми докучными принципами, обладают немалой притягательной силой для подросткового возраста. Вот признак нашего времени — у значительной части людей продолжают доминировать подростковые представления. Путаница и смешение страстей и мнений более неустранимы в условиях современной жизни. И к этой путанице взывает философия жизни.

Возвышению *бытия* над *познанием* сопутствует еще одно следствие, которое заслуживает внимания. А именно то, что вместе с приматом познания должны быть отброшены также нормы суждения, а вместе с ними и нормы долженствования. Ибо каждое нравственное суждение в конечном итоге есть акт познания. Вышеупомянутые авторы полностью принимают это следствие. Мы не выносим никакого суждения относительно явлений культуры, говорят они, мы их лишь констатируем. Но там, где речь идет о человеческих отношениях и поступках, констатировать уже недостаточно, там необходимо и неизбежно возникает оценка. В цитированном сочинении К. Шмитт посвящает несколько примечательных страниц понятию зла. Он склоняется к признанию первородного греха, а именно констатирует, «*daß alle echten politischen Theorien*¹⁸ *den Menschen als „böse“... voraussetzen*»¹⁹ [«что все истинно политические теории... исходят из предположения, что человек есть существо „злое“»]. Но как он это понимает? — А вот как: «*„böse“*, *das heißt als ein keineswegs unproblematisches*

tisches, sondern „gefährliches“ und „dynamisches“ Wesen» [«„злое“, то есть никоим образом не свободное от проблем, но существо „опасное“ и „динамичное“»]. Которому, очевидно, вполне дозволено потакать своей злобе. Вот совершенно внехристианское, и вместе с тем совершенно бессмысленное, определение зла, которое вхолостую вращается в порочном круге выдвинутого автором тезиса.

К чему приверженцы философии жизни обременяют себя христианскими терминами? Имей эти термины для них хоть какой-нибудь смысл, им давно стало бы ясно, что теория автономной политической жизни, реализуемая в противопоставлении *друг — враг*, означает отпадение от духа, гораздо ниже сферы наивного анимализма, в сатанинскую бездну, где зло превозносится как путеводная нить и спасительный огонь маяка.

XIII. УПАДОК МОРАЛЬНЫХ НОРМ

Рассмотрение последствий учения, отвергающего идеал познания как таковой ради требований в конечном счете не сводимого к познанию бытия, непосредственно привело нас к вопросу о нравственных основаниях общества. Следует ли, наряду с ослаблением потребности и способности к критике, говорить об упадке морали? И если да, в чем обнаруживается это явление?

Здесь прежде всего необходимо делать различие между моралью и нравственностью, теорией и практикой в обществе определенной эпохи. Моралисты всегда сокрушались по поводу резкого падения нравов в их время. Они исходили не из сравнительной статистики, которой не имели. Они видели только, что многие люди их времени достаточно скверны, и предавались идиллической иллюзии, что раньше всё было лучше. Может, и было, может, и нет. — Наше время располагает начальными данными сравнительной статистики, но они не заходят очень уж далеко в прошлое. Материал их ограничен, достоверность сомни-

тельна, доказательность невелика. Что касается заметных фактов общественного характера, то, по-видимому, нет оснований обвинять наше время в падении нравов больше, чем любое из предшествующих. Это не значит, что моральный уровень индивидуума стал выше, но единственно лишь то, что более решительные меры поддержания общественного порядка лучше, чем раньше, держат в узде определенные проявления аморального поведения. Это касается преимущественно явлений, которые непосредственно коренятся в неудовлетворительных условиях жизни и социального окружения, таких, как алкоголизм, проституция, детская беспризорность.

Менее доступен для статистики вопрос, стал средний человек «честнее», чем раньше, или наоборот. И дело здесь не в числе приговоров за воровство, лжесвидетельство, мошенничество или растрату, но в тысяче оттенков искренности и верности, которые ускользают от судьи, налогового инспектора и даже от пристального внимания критиков отношений друг к другу.

То же справедливо в еще большей степени для всего, что относится к сфере сексуальной этики. Осуждение — будь то по религиозным или социальным мотивам — увеличения числа разводов, искусственного ограничения рождаемости, свободы половых связей среди молодежи вряд ли затронет существо проблемы. Сексуальная этика в гораздо большей мере, чем обязанность быть правдивым и честным, освободилась от связи с религиозными нормами. Однако точно так же, как осознанная обязанность давать правдивые показания, она требует наличия критерия, лежащего глубоко в индивидуальной совести. Без персонального осознания каждым человеком в отдельности, что он должен противостоять коренному пороку, называемому распутством, общество безнадежно обречено на сексуальное вырождение и в итоге на гибель.

Всё вместе взятое не дает достаточных оснований говорить о падении морального уровня по сравнению с прежними периодами в западном обществе. Что действительно очень сильно за-

тронуто, так это нормы нравственности вообще, сама теория морали. Здесь все основания говорить о феномене кризиса, который, быть может, должен считаться более опасным, чем снижение интеллектуального уровня. Если средний человек, по всей видимости, ведет себя ни хуже, ни лучше своих предшественников, то у тех, кто не чувствует себя связанными нравственным законом, данным в откровении и предписанным верой, крайне шатки самые основы понятий о нравственном долге. Безусловно обязывающие нормы христианской этики для очень и очень многих утратили свою действенность. Но утрачивается ли с исчезновением теоретического основания и всякое осознание такой обязательности? Очевидно, нет. То ли под влиянием инерции, то ли в силу глубокой укорененности в душах людей, христианская мораль, в той несколько обесцененной форме, в которой она всегда принималась общественной жизнью, продолжает главенствовать в общественных и личных нормах нравственного поведения. Закон, взаимоотношения, деловая жизнь — все они исходят из предпосылки, что люди, нормальное большинство, следуют нормам нравственного закона. Человек чувствует себя обязанным его соблюдать, вовсе не задаваясь вопросом, покоится ли эта его личная обязанность на вере, философии, общественном интересе или каком-либо ином основании. Он старается вести себя «пристойно» и ради других, и ради себя самого. Вопрос «почему» его нисколько не трогает.

Разве только он будет поставлен перед ним его духовной культурой. Но как только человек захочет узнать, на чем именно зиждется нравственный закон, он тут же рискует обнаружить, что ему было бы по душе в принципе отказаться от своих без особых размышлений принятых моральных норм. С трех разных сторон систему морали уже давно грозят подорвать философский имморализм, определенные системы научного толка и сентиментально-эстетические доктрины.

Философский имморализм по самой своей природе оказывает прямое воздействие лишь на ограниченный круг людей.

Непрямое, однако, — на гораздо более обширный. В силу склонности послушно следовать авторитетам, многие, стоит им только узнать, что есть философы, отрицающие всякие основы морали, готовы прийти к заключению: тогда, пожалуй, такая мораль нам ни к чему.

Гораздо радикальней, чем философский имморализм, влияет утверждение относительности морали, содержащееся как в теории исторического материализма, так и в психологических системах понятий, идущих от Фрейда.

В учении марксизма всей области нравственных убеждений и обязанностей не дано занимать другого места, кроме как в некоей духовной надстройке, которая возникает на основе экономической структуры — и из экономической структуры — эпохи, будучи обусловлена этой последней, и которая неминуемо должна с нею же видоизменяться и исчезать. Нравственный идеал остается, таким образом, подчиненным общественному идеалу и в полном смысле слова относительной ценностью. Даже высокие принципы, насаждаемые этим учением: товарищества и верности делу пролетариата — мотивированы в конце концов интересом, а именно классовым интересом. Настольный справочник по морали для юного советского гражданина сообщает ему о важности верности, в рамках классовых интересов, в тех же выражениях, что и о правилах поведения и пользе чистоты ногтей. Нравственное суждение, как его понял бы христианин, мусульманин, буддист, платоник, последователь Спинозы или кантианец, здесь вообще не рассматривается. — Факт говорит сам за себя: подобное учение, в его практическом применении, до массового восприятия дойдет огрубленным и малопонятным.

Столь необыкновенно заманчивый, благодаря своему мифологическому аппарату, фрейдизм, с такой легкостью порождающий иллюзию проницательности, без сомнения, в неслыханных масштабах втянул в свое легко постигаемое понятие *сублимации* нравственное сознание поколений, выросших с начала этого столетия. Несмотря на возможность, которую он оставляет для оп-

ределенной самостоятельности духа, он, собственно, является еще более антихристианским, чем теория морали в марксизме. Выдвигая на первый план инфантильные влечения как основу *всей* душевной и духовной жизни, он, если прибегнуть к христианским понятиям, располагает добродетель *ниже* греха, утверждая, что *из* плотской природы проистекают самые высокие побуждения. Но разве существуют какие-либо препятствия для уже умершего для христианского учения поколения, которое на растяжимом понятии *либидо* может, как на гармонике, играть в свое удовольствие?

Еще раз: автор не собирается высказывать суждение о заслугах психоанализа как рабочей гипотезы или метода терапии. Но если выше фрейдизм уже рассматривался как прямой путь к снижению критического стандарта в сфере интеллектуального, то сейчас можно с определенностью утверждать, что он значительно способствовал искоренению этики, берущей начало в совести и сформулированных убеждениях.

Если придерживаться строго хронологического порядка, то при рассмотрении факторов, подорвавших систему христианской морали, философскому и естественнонаучному факторам должен, собственно, предшествовать эстетический. Его воздействие датируется уже XVIII веком. В то время, когда ослабление веры коснулось почвы нравственных убеждений, там начался процесс растворения под воздействием эстетического и сентиментального реагентов. Литература обнаружила не слишком много правдивости в расхожих описаниях добродетели и героизма. Вместе с новым почитанием добродетели, которую теперь, когда она покоилась на естественных и гражданских основаниях, полагали достаточно прочной, возникла потребность подвергнуть ее содержание более тонкому испытанию. Здесь сказывалось определенное сознание вины общественных отношений в преступлениях и пороках. Это — время, когда литература начинает оправдывать соблазненных девиц и матерей-детоубийц. Как

только романтический инстинкт одерживает верх, возникает, помимо романтического почитания добродетели, романтическое презрение к добродетели. Добродетель и честность, которые так долго прославляли, становятся несвоевременными, их начинают стесняться. Плутовской роман, при всей своей выразительной «non-committal» [«непричастности»], уже подготовил почву для этого. С неизменной последовательностью, свойственной развитию литературного жанра, интерес всё более перемещается от вознагражденной добродетели к безнаказанному пороку. По мере того как в XIX столетии всё сильнее начинают действовать антиморалистические факторы иного рода, литература всё больше и больше отходит от воззрений, основывающихся на этике. Упразднение цензуры позволяет ей самой позволять себе всё. Литературный жанр, чтобы и дальше возбуждать внимание публики, должен постоянно стараться перещеголять сам себя, пока не угаснет. Реализм видел свою задачу в том, чтобы во всё возрастающей степени срывать покровы с явлений, сначала естественных для человека, а потом также и противоестественных. Нельзя сказать, что тем самым он взял на себя функцию непристойной литературы, которая более или менее скрытно существовала гораздо раньше. Затронутая всем этим широкая и в известном смысле простодушная публика постепенно привыкла переносить изумляющие крайности дозволенности и аморальности, приучаясь видеть в них допустимое право искусства.

Остается неясным вопрос, в какой степени освобождение литературы от всякой морали непосредственно вызывало испорченность нравов. Тот, кто иной раз удивлялся тому, что читает нынешняя молодежь обоих полов, должен был бы признать, что намеренное отрицание всяких нравственных принципов и заигрывание с преступлениями, каковой пищей эта литература отравляет читателей, вовсе не побуждает молодое поколение тотчас же, не рассуждая, брать литературные примеры за образец для себя. Даже известное выставление напоказ имморализма, кото-

рое прежде всего свойственно этому направлению, собственно, не является вполне приметой нашего времени.

Уместно сказать и несколько слов о кино. Его обвиняют во многом дурном: в разжигании нездоровых инстинктов, поощрении преступности, порче вкуса, безрассудном культивировании погони за наслаждениями. В противовес сказанному можно утверждать, что кино, гораздо больше, чем письменная литература, придерживается в своем искусстве старых, общенародных нравственных норм. Кино в моральном отношении консервативно. Оно требует если не вознаграждения добродетели, то хотя бы сочувствия, когда ее постигает несчастье. Если оно оправдывает злодея, то непременно подрывает это намерение либо элементом комического, либо сентиментальным элементом жертвы-во-имя-любви. Оно требует горячей симпатии к своим героям и вознаграждает их счастливым концом, неотъемлемым заключительным эффектом всякой настоящей романтики. Короче говоря, кино придерживается прочной, исконно народной морали, не колеблемой философскими или иными сомнениям.

Возможно, кто-нибудь скажет: оно делает это, преследуя свои меркантильные интересы. Но эти меркантильные интересы определяются спросом публики гораздо больше, чем риском вмешательства киноцензуры. Можно также прийти к заключению, что нравственный кодекс кинематографа всё еще отвечает требованиям народного нравственного сознания. Это важно, *поскольку* доказывает, что искоренение моральных идей в основе своей не слишком повлияло на изменение всеобщего нравственного чувства. Мы скоро увидим, *насколько* же именно.

Новая воля к возвышению бытия и жизни над знанием и суждением находит, таким образом, почву в нравственно расшатанном духе. Воля, отказавшаяся от направляющей линии интеллекта, не может найти путеводной нити в этике, которая сама себя определяет как *знание*. Дело первостепенной важности — хорошо различать, чем эта воля мотивирована и на что она направлена. Но что же тогда задает направление вообще, если этого боль-

ше не в состоянии делать ни трансцендентная вера, устремленная на внеземное и посмертное существование, ни взыскующая истины мысль, ни какая-либо вообще человеческая, понимаемая как замкнутая система, мораль, охватывающая такие ценности, как справедливость и милосердие? Ответ опять-таки один: это способна делать лишь сама жизнь, слепая и непроницаемая, — и объект, и путеводная нить одновременно. Отказ от всех духовных основ, который несет с собой эта новая точка зрения, заводит гораздо дальше, чем сознают сами ее носители.

Всеобщее ослабление морального принципа проявляет свое прямое воздействие на общество, возможно, более в том, что именно допускается, оправдывается и приветствуется, — нежели в каком-либо изменении норм поведения индивида. Пока острые формы насилия, лживости и жестокости, которыми мир полон как никогда ранее, выражаются в личных поступках, мы большей частью имеем дело с одичанием и озлоблением как результатом величайшей войны и ее последствиями — ненавистью и нуждой. Всеобщее притупление нравственного суждения поэтому пока можно наблюдать в более чистом виде в странах, которые пощадила эта ужасающая катастрофа. В особенности это относится к оценке политических событий, что явственно отличается от суждений относительно экономической деятельности. В отношении нравственных дефектов экономического характера: нарушений коммерческих обязательств, посягательств на чужую собственность и т. д. — общественное суждение остается вообще неизменным: искреннее осуждение, хотя порой и с улыбкой толерантности. Толерантность увеличивается и сочетается с восхищением — в той мере, насколько в большем масштабе это всё происходит. Международный мошенник встречает больше симпатии, чем обыкновенный нечестный бухгалтер. В суждение о крупном финансовом скандале примешивается определенное уважение к таланту, с которым играют на гигантском органе технической организации и международных связей. В общей слож-

ности, можно сказать, что моральная оценка экономических преступлений не изменилась.

Совсем иначе обстоит дело, когда выносят суждение о субъекте, причастном к органам власти и действующем от их имени, независимо от того, облечен он верховной властью или исходящими от нее полномочиями. По отношению к действиям, совершаемым государством или именем государства, широкая публика всё менее способна выносить нравственное суждение. За исключением, разумеется, случаев, когда дело касается действий чужого государства или партии в собственном государстве, которые с самого начала рассматриваются как враги. Но склонность одобрять и восхвалять успешные действия государства сохраняется не только в отношении собственного государства. Преклонение перед успехом, которое нередко смягчает осуждение экономических злоупотреблений, может почти полностью вытеснять порицание в суждениях политического характера. Дело заходит столь далеко, что даже политический результат, опирающийся на положения ненавистной теории, многие готовы одобрить постольку, поскольку это, по-видимому, привело к поставленной цели. Не будучи в состоянии судить ни о характере цели или стремления, ни о средствах ее достижения или степени действительной реализации идеала, сторонний наблюдатель довольствуется внешними признаками успеха, которые предлагаются вниманию читателя газет или туриста. Так, политическую систему, которую он, как ему казалось сначала, должен был презирать, а потом, как он полагал, бояться, он постепенно признаёт, а затем и превозносит ее как спасительную. Несправедливость, жестокость, моральное принуждение, притеснение, ложь, вероломство, обман, попрание прав? — Но ведь улицы теперь в изумительном состоянии и поезда ходят точно по расписанию!

Не случайно в политическом суждении масс несправедливость и насилие находят быстрое оправдание прежде всего благодаря выгодам внешнего порядка и дисциплины. Порядок и дисциплина теперь вдруг — нагляднейшие признаки энергич-

но функционирующего государственного механизма. Здесь опять-таки вступает в игру соблазнительная склонность к выворачиванию наизнанку правильного суждения. Здоровый государственный организм характеризуют порядок и дисциплина. И обратно: порядок и дисциплина отличают здоровый государственный организм. Словно здоровый сон сам по себе обличает праведника.

XIV. ГОСУДАРСТВО ГОСУДАРСТВУ ВОЛК?

Но государство — раздается возмущенный протест, и не только со стороны современного деспотизма — государство не может ведь быть преступным! Государство нельзя считать подчиняющимся нравственным нормам человеческого общежития. Любая попытка призвать его к ответу для вынесения нравственного приговора разбивается о независимость государства. Оно находится *вне* всякой морали. — И *выше* всякой морали? Возможно, сторонник теории аморальности государства постарается избежать этого утверждения. Он прибегнет к конструкции, с которой мы выше уже встречались и которая сводится к полностью независимой сфере политического, где господствует единственно лишь оппозиция *друг* — *враг*, то есть отношение, которое выражает только опасность, вредоносность и стремление исключить то и другое, ибо, как мы уже показали, *друг* в данной оппозиции означает всего-навсего *неопасное*. Так что государство должно оцениваться единственно лишь с точки зрения его успеха в поддержании власти.

Хотя эта конструкция и нова, однако теория аморальности государства имеет уже долгую предысторию. Она может с большим или меньшим правом ссылаться на мыслителей вроде Макиавелли, Гоббса, Фихте и Гегеля. Она находит явно весомую поддержку в самой истории. Ибо позволяет увидеть, что в поведении государств между собой и в их действиях друг против дру-

га в качестве мотивов большей частью выступали властолюбие, алчность, корысть и страх. Теория абсолютизма нашла для этого термин *raison d'état*²⁷.

В более ранние периоды контраст между политической практикой и христианской моралью еще мог удобно устраняться иллюзией, что деяния государства, какими бы себялюбивыми и насильственными они ни казались, в конечном счете были направлены на благо веры, почитание Церкви, обеспечение божественного права короля или христианской справедливости. Лапидарный дух старого политического сознания наивно и послушно удовлетворялся этими представлениями. Убеждение в добродетельности и правоте своего отечества пребывало в неопределенном пространстве, где-то между искренним, покоящемся на патриотизме и верности князю идеализмом, глубокой убежденностью в правоте — и дипломатическим лицемерием. Кто не мог подняться до требуемой степени оптимизма, находил тем не менее выход, который позволял нравственный характер государства как такового сохранить невредимым. Он рассматривал тысячелетнюю трагедию бесправия и насилия как греховное дело государства, которое пренебрегло возможностью себя освятить. При таком представлении сохранял неприкосновенность идеал, согласно которому империи и правители должны были блюсти священный долг жить по нормам веры и справедливости. Государству *не позволено* было сойти с нравственной почвы.

По мере того как мысли о государстве мало-помалу переходили от общих принципов к восприятию самой действительности и утрачивали подверженность чрезмерным иллюзиям, в международном праве — на основе античного учения о государстве, христианской этики, рыцарских правил и теории права — возникла новая система, которая, будучи свободна от веры как таковой, рассматривала государства как членов сообщества, обязанных уважать друг друга и вести себя так, как того требует право и от людей, являющихся членами общества. Гуго Гроций придал этой системе классическую форму, которая как фундамент

здорового государственного устройства, уже в наши дни смогла вдохновить ван Фолленховена на создание, увы, слишком рано прерванного труда его жизни.

Как христианское, так и международно-правовое основание нравственного закона и этики межгосударственных отношений категорически отвергаются поборниками политического аморализма. Их можно найти отнюдь не только среди приверженцев фашистских течений. Подобная точка зрения часто встречается у историков. Здесь нелишне, несколько обстоятельнее, чем было сделано ранее²⁰, привести некоторые высказывания Герхарда Риттера, которые в устах выдающегося и трезвомыслящего историка звучат особенно убедительно. Германия в эпоху Реформации, говорит он, была «noch weit davon entfernt, einen klaren Begriff von der naturnotwendigen Autonomie staatlichen Lebens gegenüber dem Kirchenwesen und der überlieferten kirchlichen Morallehre zu besitzen» [«еще очень далека от того, чтобы обладать ясным представлением о естественно необходимой автономии государственной жизни по отношению к Церкви и ее традиционному учению о морали»]. Германскому монархическому государству всё еще не хватало «das Bewußtsein sittlicher Autonomie seiner weltlichen Lebenszwecke» [«сознания нравственной автономии своих земных жизненных целей»]. И в завершении статьи: «Daß alles politische Machtstreben sich zu rechtfertigen habe vor dem göttlichen Weltregiment, daß es seine unverrückbare Schranke finde an der Idee der absoluten Gerechtigkeit, des Ewigen, von Gott gesetzten Rechts, und daß die Völkergesellschaft Europas über alle Gegensätze nationaler Interessen hinweg doch eine Gemeinschaft christlicher Gesittung bilden müsse — das sind alles zuletzt echt mittelalterlich-christliche Gedanken. Wenn diese uralten Traditionen in der englischen Politik bis heute nicht ganz ausgestorben sind, wenn sie darin fortleben in säkularisierter Gestalt, während die großen Nationen des Kontinents den rein naturhaften Charakter alles weltlichen Machtstrebens mit seinen harten Interessenkämpfen ohne viel moralische Bedenken anzuerkennen pflegen — so gehört das

ebenfalls zu den Folgen des Konfessionskampfes, der die Geistesart der europäischen Völker so scharf ausgeprägt und so scharf voneinander unterschieden hat» [«Что всякое политическое стремление к власти должно искать оправданий перед Божией всемирною властью; что свой незыблемый предел оно встречает в идее абсолютной справедливости, вечного, установленного Богом права; что сообщество народов Европы, преодолевая все противоречия национальных интересов, неминуемо должно образовывать единую общность христианской культуры, — всё это, в конце концов, средневеково-христианские мысли в чистом виде. Если эти давнишние традиции и поныне всё еще не вымерли в английской политике, если они продолжают существовать там в секуляризованном виде, в то время как великие континентальные нации обыкновенно без особых моральных терзаний признают естественный характер чисто земного стремления к власти, с его жесткой борьбой интересов, — то всё это объясняется также последствиями конфессиональных конфликтов, которые так резко запечатлелись в духовном типе европейских народов и привели к таким резким отличиям их друг от друга»]²¹.

Само собой разумеющейся представляется эта точка зрения левоориентированному социологу Карлу Маннхайму. Ссылаясь на работу Фридриха Майнеке *Die Idee der Staatsraison* [*Идея государственных интересов*], он говорит о «moralische Spannung» [«моральной напряженности»], возникшей у многих мыслителей, «als sie entdeckt haben, daß für die Beziehungen der Staaten nach außen hin die christliche und bürgerliche Moral *nicht gelte*»²² [«когда они открыли, что для внешних сношений государств христианская и буржуазная мораль *непригодна*»]. По Маннхайму, процесс открытия протекал так, «daß allmählich diejenigen Schichten, die mit der Herrschaft zu tun hätten, sich selbst davon überzeugen mußten, daß sowohl zur Erlangung wie zur Erhaltung der Herrschaft alle sonst als immoralisch geltenden Mittel *erlaubt sind*»²³ [«что постепенно те слои, которые стояли у власти, должны были сами убедиться в том, что как для достижения, так и

для удержания власти *разрешаются* все средства, обычно считавшиеся имморальными»]. Со временем, при демократизации общества, все слои, как уже было показано ранее²⁴, постепенно осваиваются с этой «политической моралью». «Während bisher die Moral des Raubes nur in Grenzsituationen und für herrschende Gruppen bewußt gültig war, nimmt mit der Demokratisierung der Gesellschaft (ganz im Gegensatz zu den an sie geknüpften Erwartungen) dieses Gewaltelement nicht nur nicht ab, sondern es wird geradezu zur öffentlichen Weisheit der ganzen Gesellschaft» [«В то время как раньше разбойничья мораль сознательно допускалась только в пограничных ситуациях и господствующими группами, с демократизацией общества (абсолютно вопреки связанным с ней ожиданиям) элемент насилия не только не убывает, но становится прямо-таки ходячей мудростью всего общества»]. Маннхайд видит громадную опасность этого «Hineinwachsen aller Schichten in die Politik» [«врастания всех слоев в политику»]. «Wird den breiten Massen ohne weiteres demonstriert, daß Raub die Grundlage der gesamten Staatenbildung und der äußeren Beziehungen zwischen Staaten ist und daß auch durch inneren Raub und Beutezüge ganzen Gruppen Arbeitserfolg und soziale Funktion genommen werden können...» [«Если широким массам без стеснения демонстрируют, что разбой есть вообще принцип образования государств и формирования их внешних сношений и что также путем внутреннего разбоя и грабительских набегов целые группы могут быть лишены плодов их труда и их общественных функций...»], тогда — конец всякой трудовой этике и ее охранительному воздействию на общество²⁵.

Маннхайд раскрывает опасное следствие теории государственного имморализма, а именно то, что он не сможет оставаться монополией государства, но что его будут присваивать и использовать также более узкие квазиобщественные группировки.

Если непредвзятая наука полагает, что вынуждена прийти к столь безотрадному выводу, то нечего удивляться, что в практической политике слышны еще более решительные голоса. На

торжественном акте по случаю учреждения кафедры немецкого права рейхскомиссар юстиции заявил, если газеты правильно передали его речь, «что неверно было бы думать, что можно проводить политику, взывая к некоей идеалистической справедливости. Пора положить конец смехотворной фантазии, что справедливость может определяться чем-либо иным, кроме как жесткой необходимостью обеспечить непосредственную безопасность государственной власти. Земля принадлежит героическому началу, а не декадентскому».

Долой декадентов, которые, начиная с Платона, наполняли мир своей пустой болтовней!

Государству, согласно этой теории, *всё позволено*. Оно может в силу собственного определения своих интересов и на основании собственного решения вероломно нарушать договоры. Никакую ложь, никакой обман, никакую жестокость против своих или чужих граждан нельзя ставить ему в упрек, если это служит ему на пользу. Оно может бороться с врагом всеми средствами, которые считает целесообразными, вплоть до дьявольской бактериологической войны. *А propos*: в мои юные годы можно было прочесть в школьном учебнике географии, что только некоторые наименее развитые народы применяли отравленные стрелы и что подобный обычай мало-помалу исчезает с ростом культуры. Не знаю, осталось ли это еще в школьных учебниках. Если да, то самое время, ради приличия, пересмотреть... учебники — либо самих себя.

Итак, для государства и речи не может быть о каких бы то ни было совершаемых им политических прегрешениях или преступлениях. Эту теорию следовало бы применять и по отношению к противнику. Враждебное государство также не подлежит нравственному суждению или осуждению. Но здесь сразу же мстит за себя убожество представлений о государстве, насыщенных собственным им нечистым духом людской слепоты и корыстолюбия. На практике эта замечательная теория о государстве, кото-

рое стоит вне морали, годится только для собственного употребления. Ибо как только обострится вражда, высокомерный тон твердых, железных доводов переходит в истеричные вопли, и из прежнего арсенала добродетели и греха с ненасытной жадностью выдергиваются оскорбления и нарочитая подозрительность в адрес врага: лживого, коварного, жестокого, дьявольски хитрого! — Но ведь врагом тоже является государство?

Итак, никаких политических *обязательств* перед чужими быть не может. Не существует также и никакой политической *чести* — постольку, поскольку честь означает верность поставленному перед собой идеалу. Где нет никаких обязательств и никакой чести, не может быть и никакого *доверия*. *Государство государству волк* — не пессимистический вздох, подобный старому *homo homini lupus est*²⁸, а заповедь и политический идеал! Но оказывается, к несчастью для теории, всякое сообщество, даже среди животных, построено на взаимном доверии тех, которые *могли бы* истребить друг друга. Сообщество, людей или государств, без взаимного доверия невозможно. Государство, которое само пишет на своем знамени «Не доверяй мне!», как фактически провозглашает теория аморального государства, в конце концов могло бы существовать — при условии, что мир действительно согласился бы принять эти идеи, — лишь обеспечив свое полное превосходство над всеми другими странами вместе взятыми. Так следствие абсолютной национальной автономии вновь приводит к химере политического универсализма!

Теория нравственной, скорее безнравственной, автономии государства несомненно величайшая из опасностей, грозящих гибелью западной цивилизации, потому что она соотносится с могущественнейшим субъектом власти, способным и упорядочить, и разрушить весь мир. Она влечет за собой как неотвратимое следствие взаимное истребление или взаимное истощение и вырождение самих единств, на которых зиждется эта цивилизация, — национальных государств. Она сверх того угрожает рас-

падом этих единств изнутри, вследствие уже очерченного выше²⁶ неизбежного развития, когда всякая группа, чувствующая себя достаточно сильной, чтобы завоевать для себя почву путем насилия, претендует на право вести такую политику, которая заключает в себе свободу от всех обязательств по отношению к прочим. Будущее аморального всевластия государства таким образом опять-таки анархия и революция. Претензия государства внутренне обязать своих подданных к верности и послушанию без всяких условий встречает препятствие, с одной стороны, в совети, с другой — в эгоизме человеческой натуры.

Самовластные решения о том, *в чем* именно состоят государственные интересы и *каким образом* их следует обеспечить, должны постоянно приниматься теми, кого называют вождями. Клятвы верности, которые им приносят, вряд ли смогут пересилить доверие, которое питают к их мудрости. Если в самой правящей группе царит расхождение мнений и разлад возрастает до того, что две группы считают себя призванными взять власть в свои руки, тогда сильнейшая из них или более решительная должна подчинить или истребить другую. Также и здесь практика путчей и дворцовых переворотов предстает следствием идеи абсолютного государства.

Поскольку теория аморального государства содержит в себе отказ от принципов правды, верности и справедливости как *всех* человеческих принципов, ее приверженцы, собственно, вынуждены были бы открыто отречься от христианства. Этого они не делают, во всяком случае единогласно или безоговорочно, полагаясь, вместе с Тартюфом, — «il est avec le ciel des accommodements»^{29*} — на сделки, которые они время от времени пытаются весьма грубо навязать небесам.

Нам приходится здесь иметь дело со странной формой вышеуказанной амбивалентности современного мышления или, попросту говоря, с далеко идущей попыткой сберечь и козла, и капусту. Провозглашают учение о государстве, которое находится в противоречии с христианством и равно со всякой философ-

ской этикой, придерживающейся непреложного нравственного закона, укорененного в совести. Одновременно пытаются манипулировать Церковью и ее учением, разумеется, после того как они будут затянуты в корсет этого нового государства.

Такой подход действительно отличается от практики прошлого. В период с XVI по XIX столетие национальные государства, как правило, относились друг другу в нравственном отношении не лучше, чем нынешние. Вместе с тем они провозглашали свой неизменно христианский характер и даже объявляли его принципом своих действий. Всё это, без сомнений, содержало изрядную долю лицемерия — лицемерия, которое только из-за того что оно не касалось чьей-то личной совести, а исходило от государства, вовсе не переставало быть позорным пятном. Тем не менее поведение государств продолжало оставаться в русле *одного и того же* учения, и, когда отступление от идеала делалось слишком явным, общественное мнение не останавливалось перед тем, чтобы осудить действия собственного государства как несправедливые.

Теперь же позиция, которую занимает государство, провозглашающее себя вне морали, совершенно иная. Как государство, оно ссылается на свою полную самостоятельность и независимость по отношению ко всякой морали. Но поскольку оно, как сообщество, наряду с этим предоставляет возможность существовать Церкви и религии, с ее ясно сформулированным и обязывающим нравственным законом, последний оказывается не только не равноценен, но подчинен учению, которому следует государство.

Ясно, что только совершенно безрелигиозные люди и язычники из театральных уборных *Кольца Нибелунга*³⁰ могут усваивать эту колченогую этику.

Но что же, спросит мыслитель, настроенный реалистически, что же вы считаете возможным установить в качестве общепризнанной моральной нормы политической жизни, с перспективой на ее выполнение? Неужели вы действительно полагаете, что

когда-нибудь, пока существуют международные осложнения, государства будут вести себя как благонравные Хендрики³¹? — Конечно, нет. История, социология и знание человеческой природы не позволяют так думать. Государства будут продолжать руководствоваться прежде всего и преимущественно своими собственными интересами или тем, что они за них принимают, а международной моралью — разве что на один миллиметр больше, чем предписывают их собственные интересы, а именно страх перед солидарным противодействием. Но на долю этого единственного миллиметра приходится честь и доверие, и он превышает тысячи миль воли к власти и сопутствующего ей насилия.

Приверженцы аморального государства забывают, как мне кажется (и здесь находится ответ на вопрос, который только что прозвучал), о той особенности современного мышления, которая позволяет нам видеть вещи в их антиномической обусловленности, смягчающей всякое окончательное суждение неким *однако*. Государство — такое образование, которое, при несовершенстве человеческих дел, будет вести себя с видимой необходимостью в соответствии с нормами, которые никак не являются нормами основанной на доверии общественной морали, не говоря уже о христианской вере. *Однако* ему никогда не удастся полностью отказаться от христианских или общественных норм морали и при этом, в наказание за свое отступничество, не погибнуть.

Провидица *Эдды* пела:

«Век бурь и волков
до гибели мира...
Щадить человек
человека не станет»*.

Но мы не хотим погибнуть!

* *Эдда. Прорицание провидицы*, I, 45. Перевод с древнеисландского А. Корсуна, под ред. М. Стеблин-Каменского. М., 1975.

XV. ГЕРОИЗМ

Поднятый флажками сигнал Нельсона перед сражением при Трафальгаре не гласил: «England expects that every man will be a hero» [«Англия ждет, что каждый будет героем»]. Он гласил: «England expects that every man will do his duty» [«Англия ждет, что каждый исполнит свой долг»]. В 1805 г. этого было достаточно. Так и должно было быть. Этого было достаточно и для павших под Фермопилами, чья надгробная надпись, прекраснейшая из когда-либо сочиненных, не содержала ничего, кроме бессмертных слов: «Чужеземец, возвести лакедемонянам, что мы лежим здесь, верны приказу»³².

Активные политические партии нашего времени ссылаются на все эти могучие идеи и благородные инстинкты, о которых свидетельствуют Трафальгар и Фермопилы: дисциплина, служение, верность, послушание, самопожертвование. Но слова *долг* для этого призыва им недостаточно, и они вздымают флаг героического. «Принцип фашизма — героизм, принцип буржуазии — эгоизм». Это можно было прочесть весной 1934 г. на предвыборных плакатах, которые покрывали стены в Италии. Просто и выразительно, как алгебраическое уравнение. Готовое правило, коротко и ясно.

Человечеству, как поддержка и утешение в суровой борьбе за жизнь и как объяснение величия свершенных деяний, всегда нужны были представления о людях более высокой природы, образы человеческой силы и доблести, превосходящие земные возможности. Мифологическое мышление вкладывало воплощение такого величия в сферу сверхчеловеческого. Герои были полубогами: Геракл, Тесей. Еще во времена расцвета Эллады это понятие переносили и на обычных людей: на павших за отечество, на убийц тиранов. Но всегда это были уже умершие. Сутью героической идеи был культ мертвых. Понятие *герой* стояло рядом с *почивший*. Лишь гораздо позднее его стали употреблять, и то, собственно, лишь риторически, говоря о живущих.

В христианском понимании идея героического должна была поблекнуть перед идеей святости. Аристократическая жизненная концепция феодального времени возвысила понятие рыцарства, придав ему функцию героического: благородное служение, неотделимое от христианского долга.

С Ренессансом созревает в европейском мышлении новое представление о величии человека. Акцент делается теперь в большей степени на достоинствах ума и поведении в свете. В понятиях *virtuoso* и *uomo singolare*³³ доблесть — одна в ряду других добродетелей; самопожертвование уже не преобладающая черта, успех — это главное. Испанец Балтасар Грасиан в XVII столетии дал имя *heroe* концепции особой энергии личности, которая еще отражает Ренессанс и уже предвещает Стендаля. Но в том же XVII столетии во французском *héros* звучат иные оттенки. Французская трагедия закрепляет черты героического в фигуре трагического героя. В то же время политика Людовика XIV приносит почитание героя национально-милитаристского типа, сопровождающее поэтический мотив барабаном и медными трубами и утопающее в блеске помпезного декора и высокопарной риторики.

В XVIII в. образ великого человека смещается вновь. Герои Расина становятся героями Вольтера, только более живыми среди кулис³⁴. Возникающее демократическое мышление находит иллюстрацию своего идеала в прежних фигурах римских гражданских добродетелей. Дух Просвещения, науки и гуманизма находит воплощение идеала в *гении*, который несет в себе черты героического, но уже в иной нюансировке, чем *virtuoso* Ренессанса. Пылокое проявление доблести не стоит в понятии гения на первом плане. Но возникающий романтизм открывает новый образ героя, который как духовная ценность вскоре уже затмевает греческих персонажей, — германского и кельтского героя. Архаическое, смутное и неистовое начало, мрачный характер всех этих образов обладали для духа, устремлявшегося ко всему, что именовалось первопричиной, неслыханно притягательным оча-

рованием. Остается лишь удивляться, что тон новейшей героической фантазии задан был на три четверти фальшивой и всё же столь значительной поэзией Оссиана³⁵.

Постепенно героический идеал в какой-то мере расчленился на театральный, историко-политический, философско-литературный и поэтически-фантастический.

На протяжении всего XIX столетия представление о героическом было лишь в очень ограниченной степени предметом *imitatio*, примером для подражания. Призыв «Будь, как он!», громко звучавший в рыцарском идеале, значил всё меньше и меньше, по мере того как образ героя всё больше и больше становился продуктом исторического погружения в далекое прошлое. Германский образ героя вышел из рук профессоров, которые сделали общедоступными древнюю поэзию и историю, вовсе не избирая для себя Зигфрида и Хагена³⁶ моделью жизнеустройства. Дух XIX столетия, как он выразился в утилитаризме, гражданской и экономической свободе, демократии и либерализме, не слишком был склонен к установлению сверхчеловеческих норм. Тем не менее идея героизма получает дальнейшее развитие, а именно в англосаксонской форме.

Буря, вызванная Байроном, уже улеглась, когда взялся за перо Эмерсон. *Героизм* у него означает лишь в незначительной степени реакцию на дух времени. Это просвещенный, изящный, оптимистический идеал, который прекрасно сочетается с понятиями гуманности и прогресса. В большей степени сопротивление звучало у Карлайла, но и у него сильный акцент на этическом и на культурных ценностях лишает образ героя черт грубой жестокости и безудержного стремления вперед невзирая ни на какие препятствия. Его hero-worship [преклонение перед героями] в сущности едва ли можно назвать страстной проповедью или возведением культа. В англосаксонском искусстве жизни, в духе Раскина и Россетти, вполне находилось место для героического идеала, который смещался на определенное расстояние от требований практической жизни в сферу высокой культуры.

Якоб Буркхардт, который недостатки своего века видел глубже и отвергал резче, чем кто-либо другой, в своей концепции ренессансного человека странным образом не употреблял термины *героический* и *героизм*. Он дал новое видение величия человека, добавив черты страстности к понятию гения у романтиков. Восхищение Буркхардта бурной активностью личности и надменной уверенностью в выборе своего жизненного пути шло вразрез со всеми идеалами демократии и либерализма. Но он никому не предлагал это как мораль или политическую программу. Он занимал позицию высокомерного пренебрежения, с которым одинокий индивидуалист относится к проявлениям общественной жизни своего времени. Буркхардт, при всем своем почитании энергического, был мыслителем слишком эстетического склада, чтобы создать современный идеал практического героизма. И вместе с тем он был слишком критичен, чтобы отвести место мифологически-культовому элементу, неразрывно связанному с понятием героизма. В своем труде *Weltgeschichtliche Betrachtungen* [Рассуждения о всемирной истории] он, говоря о *historischen Größe* [историческом величии], постоянно употребляет обозначение *das große Individuum* [великая личность] и никогда не обращается к терминологии героического.

Но в одном пункте он идет навстречу современному представлению об этом понятии: он фактически признает за великой личностью, в соответствии с образом, созданным для Ренессанса, *Dispensation vom Sittengesetz* [освобождение от нравственного закона], не прибегая, однако, ни к какой философской интерпретации.

Ницше, ученик Буркхардта, развивал свои представления о высших человеческих ценностях, исходя из совсем других духовных осложнений, чем те, которые когда-либо тревожили безмятежно созерцательный ум его учителя. Сполна испытав отчаяние утраты ценности жизни, Ницше приходит к провозглашению своего идеала героического, возрождая его в сфере, в которой дух оставляет далеко позади себя всё, что зовется государственным

порядком и общественными отношениями, — это идея фантастического провидца, для поэтов и мудрецов, а не для государственных деятелей и министров.

Есть нечто трагическое в том, что вырождение героического идеала началось с поверхностной моды на философию Ницше, охватившей широкие круги около 1890 г. Образ поэта-философа, порожденный отчаянием, стал достоянием улицы, прежде чем проник в высокие залы чистого мышления. Заурядный глупец конца столетия разглагольствовал о *сверхчеловеке*, словно *Übermensch* был его старшим братом. Неуместная вульгаризация идей Ницше несомненно положила начало направлению мыслей, который теперь превозносит героизм до уровня лозунга и программы.

Понятие героического претерпело тем самым обескураживающее превращение: оно лишилось своего глубинного смысла. Почетное имя героя, хотя риторически оно порой давалось живущим, в основе своей всегда оставалось тем, что приличествовало лишь умершим, так же как имя святого. Это цена благодарности, которую умершим воздавали живые. Солдат шел в бой не для того, чтобы стать героем, но чтобы исполнить свой долг.

С появлением различных форм *despotisme populaire** героическое стало лозунгом. Героизм стал пунктом программы, он даже хочет, чтобы его считали новой моралью, если столь многие полагают, что старая больше не применима или что она вообще уже не нужна. Было бы глупо безоглядно отрицать ценность этого чувства. Однако необходимо проверить его подлинность и содержание.

Восхищение героическим — наиболее убедительный признак того большого поворота от знания и постижения к непосредственному переживанию и опыту, который может быть назван сущностью культурного кризиса. Прославление действия как такового, усыпление способности к критике с помощью сильных

* Деспотизм (диктат) народа, толпы (*фр.*).

возбудителей воли, заволакивание идеи красивой иллюзией — все они вступают в игру в новом культе героя, оставаясь, однако, качествами, которые для искреннего сторонника анти-ноэтического отношения к жизни представляют собой не более чем некие дополнительные оправдания героизма.

Позитивную ценность такого героического поведения, систематически взращиваемого властью во имя Государства, не следует недооценивать. Поскольку героизм означает повышенное личное сознание призванности не щадя сил, вплоть до самопожертвования, действовать ради общего дела, — это готовность, которая может потребоваться в любое время. К тому же, без сомнения, поэтическое содержание, присущее понятию героизм, обладает высокой ценностью. Оно поддерживает в действующем индивиде такое состояние напряженности и экзальтации, с которыми совершаются подвиги.

Не подлежит сомнению, что современная техника, сделав жизнь и передвижение намного безопаснее, при этом вообще резко повысила уровень повседневного проявления мужества. Как бы ужаснулся Гораций, — воспевающий плавание на корабле как дерзкий вызов судьбе³⁷, — увидев самолет или подводную лодку! С ростом технических возможностей возросла и готовность людей без колебаний подвергать себя грозящей опасности. Безусловно существует связь между появлением летательных аппаратов и распространением героического идеала. Область, где этот последний воплощается в наиболее чистом виде, не вызывает ни малейших сомнений: там, где о нем не говорят, то есть в повседневной деятельности авиаторов и мореплавателей.

Героизм переступает границы. В нашем мире время от времени нужно переступать границы. И мы вновь оказываемся на рубеже, где наше суждение будет определяться как антиномия. Никто не может хотеть, чтобы наша жизнь во всех отношениях продолжала плестись по пути, на который ее толкнули несовершенные законы и еще более несовершенные нормы морали. Без

вмешательства героического не было бы ни Собора в Никее, ни устранения Меровингов, ни завоевания и становления Англии, ни Реформации, ни восстания против Испании, ни свободной Америки³⁸. Всё дело в том, *кто именно* вмешивается, *как* и *во имя чего*. Прибегая к языку медицины, можно сказать, что наше время действительно нуждается в героическом снадобье — при условии, что его применит настоящий врач и подобающим образом.

Однако эта метафора вынуждает взглянуть на героизм и с другой стороны. Время нуждается в тонизирующем средстве из-за своей слабости. Восхваление героизма само по себе уже явление кризиса. Это означает, что понятия служения, общего дела и исполнения долга более не обладают достаточной силой, чтобы привести в действие энергию общества. Она должна быть усилена, как бы с помощью рупора. Она должна быть раздута, быть может надута.

Но кем, ради чего и как? — Цена политического героизма определяется чистотой цели и тем, как именно он проявляется. Если он заслуживает ассоциаций с Фермопилами и Нибелунгами, тогда он должен быть противопоставлен всему тому, что следует назвать истерической взвинченностью, бахвальством, варварской спесью, дрессурой, парадностью и тщеславием. Всему, что является самообманом, намеренным утрированием, ложью и одурачиванием. Не будем забывать, что сила наиболее чистой формулы героизма, а именно рыцарского идеала Средневековья, заключалась именно в ограничении допустимых средств и строгом, формально закреплённом кодексе чести.

Эра рекламы не знает ограничения в средствах. Реклама перегружает всякое сообщение столь обильной дозой внушения, какую только это сообщение в состоянии выдержать. Она навязывает свои посулы публике как догматические истины, донельзя нагруженные чувствами отвращения и восхищения. У одних — лозунг, у других — политический термин: расовая теория, большевизм или что бы там ни было, — по собаке и палка. Нынеш-

няя политическая публицистика поставляет на рынок в основном палки, чтобы бить ими собак, и взращивает в своих клиентах манию, что собаки — повсюду.

Нынешний героизм-руки-и-рубашки³⁹ на практике часто означает не многим более, чем примитивное упрочение чувства *мы*. Определенный субъект *мы и наши*, называемый партией, арендовал героизм и наделил им тех, кто этой партии служит. В социологическом аспекте подобные упрочения чувства *мы* далеко не маловажны. Они обнаруживаются во все времена и у всех народов в форме обрядов, танцев, кличей, песен, эмблем и т. д. Если наше время действительно отказалось от потребности логически понимать и определять свои собственные поступки, тогда совершенно естественно, что оно возвращается к примитивным методам единения душ и сердец.

Но одна опасность остается всегда связанной с последствиями анти-ноэтической теории жизни. Примат жизни перед познанием вынуждает вместе с нормами познания предать забвению также нормы морали. Если власть проповедует насилие, тогда слово берут насильники. Люди сами отказали себе в праве защищаться от них. Поэтому те сочтут себя принципиально оправданными, прибегая к крайним формам жестокости и бесчеловечности. В качестве исполнителей этих героических дел с превеликим удовольствием устремятся к ним элементы, находящие в насилии удовлетворение своих патологических или животных инстинктов. И только строгая военная власть, вероятно, сможет удержать их в известных границах. — В фанатизме народного движения они станут подручными палачей, вершителей смерти.

XVI. ПУЭРИЛИЗМ

Платон в одном из высказываний, глубина которого выходит за рамки нашего круга понятий, отозвался о людях как об игрушках богов. В наши дни можно было бы сказать, что скорее люди

используют мир как игрушку. И хотя эта мысль не претендует на особую глубину, всё же она заслуживает не только легкого вздоха.

Пуэрилизм^{40*} — так называли бы мы состояние общества, поведение которого соответствует поведению несовершеннолетних в большей степени, чем, казалось бы, позволяет уровень его способности судить о вещах; общества, которое, вместо того чтобы доводить подростка до взрослого состояния, приспособливает свое собственное поведение к поведению подростков. Термин не имеет ничего общего с понятием инфантилизма в психоанализе. Он основан на вполне очевидных наблюдениях и констатациях историко-культурного и социологического характера. Никаких психологических гипотез связывать с ним мы не будем.

Примеров нынешних обычаев, для которых напрашивается квалификация пуэрилизма, сколько угодно. «Нормандия» совершает свой первый рейс и возвращается после триумфального плавания, получив голубую ленту^{41*}. Благородное состязание наций, чудесное достижение техники! Кораблестроители, судоходные компании и специалисты по транспортным сообщениям едины в том, что практические соображения говорят против гигантских судов. Зимой «Нормандия» плавать не может: это не окупается. Таким образом, мы возвращаемся к практике мореплавания раннего Средневековья: тогда плавали также только в летнее полугодие. Отвратная роскошь, каким шиком она ни блистала бы, предстает издевкой сердцу каждого моряка, и в более благочестивые времена ее сочли бы вызовом небесам. Пассажиры терпеливо сносят дрожание под ногами все четверо суток до самого конца плавания. Никто из тех, у кого есть хоть какой-то интерес к современной культуре, не захочет или не сможет отделаться от впечатляющего, даже возвышающего воздействия этого напоказ выставленного *умения*. В гигантские размеры красота входит по праву — красота пирамиды. Красота заключена и в тончайшей внутренней целесообразности. Но творческий дух, который всё это создал, не был причастен вечности или величию. Всё то, чего

достиг здесь человек в строго рассчитанном овладении природой, поставлено на службу пустой, тщеславной игре, которая не имеет ничего общего с культурой или мудростью и даже лишена высоких ценностей игры, ибо она не желает считаться игрою.

Или возьмем другую игру, проходящую на полном серьезе, когда то там, то здесь из-за надуманных конфликтов в результате партийных интриг происходят падения министерств; игру, которая некоторым крупным странам на самом деле мешает очистить и укрепить их систему правления, опутанную правилами парламентаризма, истинную суть которого они никогда не могли постигнуть. Или вспомним о переименовании больших старых городов в честь национальных величин наших дней, умерших и даже еще живущих, — Горький и Сталин.

Укажем попутно на дух парадов и маршей, который завладел миром. Мобилизуются сотни тысяч; самая большая площадь оказывается недостаточно велика, вся нация выстраивается в шеренгу, как оловянные солдатики, в одной позе. Даже сторонний зритель не может не подпасть под воздействие подобного зрелища. Оно кажется величественным, кажется мощным. — Но это всего лишь ребячество. Пустая форма создает иллюзию полноценного содержания. Кто способен задумываться, знает, что всё это не имеет *никакой* ценности. Ни малейшей. И выдает лишь, насколько тесно смыкается всенародный героизм руки и рубашки — с всеобщим пуэрилизмом.

Страна, где национальный пуэрилизм можно в совершенстве изучить во всех его формах — от самых невинных, и даже привлекательных, до преступных, — это Соединенные Штаты. Следует только остерегаться, чтобы не стать таким Ньюрксом⁴². Ибо Америка — *действительно* более молодая и более ребячливая, чем Европа. Однако многое, что у нас сочли бы ребячливым, там — наивно ребяческое; а вправду наивное защищает от всякого упрека в пуэрилизме. Да и сами американцы уже больше не закрывают глаза на крайности своего ребячества. Они подарили самим себе *Бэббитта*⁴³.

Пуэрилизм выражает себя двояким образом: в одних видах деятельности, которые рассматриваются как серьезные и значительные, однако полностью пронизаны игровым элементом, — вроде тех, которых мы уже здесь касались; и в других, которые рассматриваются как игра, но из-за способа осуществления теряют свой игровой характер. К этим последним относятся разные виды любительства и коллективные или интеллектуальные игры, важность которых признается на международном уровне, — с конгрессами, газетными рубриками, специалистами-профессионалами, учебниками и теориями. Разумеется, их нельзя ставить в один ряд с тем особенно явственным, но поверхностным симптомом всеобщего пуэрилизма, так называемым *craze* [повальным увлечением], мгновенно охватывающим весь мир, как несколько лет назад случилось с кроссвордами.

Ясно, что к только что названным любительским увлечениям и коллективным играм не следует причислять современный спорт. Телесные упражнения, охота и состязания — пожалуй, преимущественно юношеские занятия в человеческом обществе, но это целительная и благотворная юность. Без состязания нет культуры. То, что наше время в спорте и спортивных состязаниях нашло новую международную форму удовлетворения древней, великой агональной потребности, — возможно, один из элементов, способных внести наибольший вклад в поддержание культуры. Современный спорт в немалой степени подарок Англии миру. Подарок, с которым мир научился обходиться лучше, чем с прочими, которые дала ему Англия, а именно с парламентской формой правления и судебным разбирательством с участием присяжных. Новый культ физической силы, ловкости и отваги — для мужчин и для женщин — сам по себе, без сомнения, должен рассматриваться как позитивный культурный фактор высочайшей ценности. Спорт является источником жизненной силы и жизнерадостности, гармонии и порядка, которые суть драгоценнейшие элементы культуры.

Сказанное не значит, что также и в спортивную жизнь нынешний пуэрилизм не проникает многими способами. Он про-

является, как только проведение спортивных соревнований — в некоторых американских университетах — принимает формы, которые в людях оттесняют духовное начало на задний план. Он угрожает прокрасться в спортивную жизнь вместе с ее чрезмерной организацией и с чрезмерным значением, которое получают новости спорта в газетах, да и сами спортивные газеты, представляющие для многих их духовную пищу. Он проявляется особенно ярко там, где честный характер спортивного состязания разбивается о национальные или прочие страсти. Спорт вообще обладает способностью временно оттеснять на задний план даже самые сильные национальные антипатии. Известно, однако, что не всегда удастся возвыситься над жадой собственной славы, например, в тех случаях, когда спортивный судья из страха перед бурными протестами публики уже не в состоянии сохранять объективность. С обострением национального чувства возможность подобного перерождения возрастает. Не уметь проигрывать всегда по праву считалось особенностью подросткового возраста. Когда целая нация не умеет проигрывать, она тоже не заслуживает иного эпитета.

Если нынешней культуре действительно следует приписывать высокую степень пуэрилизма, то возникает вопрос, отличается ли она в этом от прошлых культурных периодов и насколько неблагоприятно нынешнее положение. Несложно было бы показать, что и в прошлом общество во многих отношениях, постоянно или время от времени, вело себя, как то свойственно несовершеннолетним. Но, по всей видимости, это будет различие между прежней глупостью и нынешней подростковостью.

В первоначальных фазах культуры значительная часть общественной жизни совершается в игровой форме, то есть в предписанных для определенного времени рамках человеческого поведения на основе добровольно принятых норм, в сплывающей и замкнутой форме²⁷. Стилизованное представление временно занимает место прямого стремления к пользе или желания полу-

чить удовлетворение. Если речь идет о священной игре, такое действие становится культом или обрядом. И даже если это кровавые обряды или единоборства, участие в них тем не менее остается игрой. Она протекает в ограниченном времени и местом игровом пространстве: освященном месте, на поле битвы, на праздничной площади. Внутри этих границ *обычная жизнь* временно исключается. Действительность вне игрового пространства забывается, люди предаются общей для всех иллюзии, свободное суждение устраняется. Все эти черты находят полное воплощение и теперь в каждой настоящей игре, в детских играх, спортивных состязаниях, театре.

Существенным признаком, присущим каждой настоящей игре — культу, представлению, празднеству, — является то, что к определенному моменту она *прекращается*. Зрители расходятся по домам, исполнители снимают маски, представление окончилось. И здесь выказывает себя беда нашего времени: *его* игра во многих случаях *не* прекращается, и поэтому игра эта ненастоящая. Распространилась далеко зашедшая контаминация игры и серьезности. Обе сферы смешались. В поведении, которое желает казаться серьезным, содержится скрытно и тайно игровой элемент. И напротив, явно признанная игра не в состоянии сохранять свой истинно игровой характер из-за чрезмерной технической оснащенности и из-за того, что ее принимают слишком всерьез. Она теряет неотъемлемые качества выхваченности из жизни, непринужденности и веселья.

Нечто от такого рода контаминации, насколько мы можем заглянуть в прошлое, всегда наличествовало в культуре. Суть противоположности *игра* — и *серьезность* теряется в недостижимых тайнах психологии животных. И всё же сомнительная привилегия нынешней западной цивилизации — в столь высокой степени культивировать смешение жизненных сфер. Бесчисленное множество людей, образованных и необразованных, навсегда сохраняют черты игрового поведения, отношения к жизни, свойственного подросткам. Выше мы уже вскользь говорили о

широко распространенном состоянии духа, которое могло бы быть названо перманентно пубертальным периодом. Оно характеризуется неспособностью чувствовать, что уместно и что неуместно, недостаточной самооценкой, недостатком уважения к другим людям и мнениям, чрезмерным сосредоточением на собственной личности. Всеобщее ослабление способности суждения и потребности в критике создает почву для этого. Массы чувствуют себя как нельзя лучше в состоянии полудобровольного оглушения. Из-за того что тормоза нравственных убеждений заметно ослабли, такое состояние может стать в любой момент чрезвычайно опасным.

Странно и тревожно, что возникновению такого состояния духа способствует не только низкая потребность в наличии собственного суждения, нивелирующее воздействие организации на те или иные группы, с уже разжеванным и переваренным набором мнений и постоянно находящимися под рукой средствами их широкого распространения; такому состоянию духа дает толчок и обильную пищу также и поразительный расцвет техники. Человек окружен миром чудес, буквально как дитя, дитя из волшебной сказки. Он может путешествовать по воздуху, разговаривать с кем-нибудь в другом полушарии, лакомиться из автомата, любую часть света доставить себе на дом с помощью радио. Он нажимает на кнопку, и жизнь подступает к нему вплотную. Но делает ли его такая жизнь взрослым? Совсем напротив. Мир стал для него игрушкой. И что удивительного, если он ведет себя в нем как ребенок?

Отмечая контаминацию игры и серьезности в нынешней жизни, мы касаемся глубоких вопросов, которые не могут быть здесь подробно исследованы. С одной стороны, это явление предстает как не вполне серьезное отношение к работе, долгу, судьбе и жизни вообще, с другой — как склонность придавать высокую серьезность занятиям, которые, по здравому разумению, должны были бы считаться пустыми, ребяческими, а также — обра-

щаться с действительно важными вещами, как диктуют инстинкты игры и прибегая к чисто игровым жестам. Политические выступления руководящих лиц, не заслуживающие иного названия, чем зlostные мальчишеские выходки, вовсе не редкость.

Нелишне было бы проследить, как в разных языках слова для обозначения игры то и дело переходят в сферу серьезного. Прежде всего американский английский представляет собой богатую почву для такого исследования. «Журналист говорит о своей профессии как о *the newspaper game* [газетной игре]. Политик, будучи по натуре человеком честным, но, раз уж взялся за гуж, сделавшийся причастным к коррупции, приводит в свое оправдание, что он *had to play the game* [вынужден был играть в эту игру]. Таможенного чиновника упрашивают посмотреть сквозь пальцы на нарушение Prohibition Law⁴⁴ [Сухого закона] словами: *be a good sport* [~ будьте же человеком]»²⁸. — Ясно, что перед нами нечто большее, чем вопрос словоупотребления. Речь идет о далеко идущем смещении морально-психологического характера. Х. Дж. Уэллс в одном из своих романов описал, как глубоко сидела в ирландцах, даже во время восстания за независимость, стихия *fun* [забавного].

Для полусерьезного жизненного поведения и состояния духа характерно распространенное употребление словечка *слоган*. Американцы в недавнем прошлом (в Murray's Dictionary⁴⁵ оно еще не попало) придали старому шотландско-ирландскому слову, обозначавшему боевой и сзывающий клич клана, значение политического призыва или лозунга в предвыборной борьбе. Слоган, можно сказать, это некое партийное изречение, о котором сами его применяющие прекрасно знают, что оно верно только отчасти и необходимо, чтобы обеспечить победу партии на выборах. Это чисто игровая фигура.

Англосаксонские народы, с их высокоразвитым игровым инстинктом, обладают тем преимуществом, что они в состоянии воспринимать в своих действиях элемент *fun & game* [игры и забавы]. Не всякий народ обладает этим достоинством. Как латин-

ским, так и славянским и континентальным германским народам временами, кажется, не хватает этой способности. Что такое, вообще говоря, *Blut und Boden* [*Кровь и почва*] как не слоган? Изречение, которое своей внушающей образностью *hinwegtäuscht* [затушевывает] и изъяны своего логического обоснования, и опасности своего практического применения. Слоган, который не распознается как таковой, но принимается вплоть до официального и научного словоупотреблении, делается, конечно, вдвойне опасным.

Слоган вполне на месте в сфере рекламы, коммерческой или политической. Вся политическая пропаганда более или менее тяготеет к нему, особенно если она официально организована. Вся суть рекламы, этого гипертрофированного продукта новейшего времени, основана на прилагаемом ко всему полусерьезном подходе, для развитых культур характерном. Возможно, мы должны подходить к ней как к возрастному явлению. Пуэрилизм — вполне подходящее слово для этого.

Полусерьезное отношение ко всему, что стало всеобщим, вместе с тем объясняет наличие тесного контакта между героизмом и пуэрилизмом. С момента, когда провозглашается лозунг «Будем героями!», начинается большая игра. Эта игра могла быть благородной, если она протекала полностью в сфере поединка эфэбов и Олимпиады. Но пока она разыгрывается как политическая кампания, в парадах и всенародной муштре, в хриплых призывах ораторов, в продиктованных властью газетных статьях, и вместе с тем считает себя преисполненной высокой серьезности, — это и вправду не что иное, как пуэрилизм.

Для философии Государства, или философии жизни, которая от высказывания критических суждений уходит к высказываниям, распространяющимся на действительность и насущные интересы, вся сфера современного пуэрилизма, с его слоганами, парадами и бессмысленными состязаниями, — стихия, в которой безбедно процветает она сама и в которой может пышно произрастать власть, которой она служит. Ведь ее ни в коей мере

не беспокоит, что массовый инстинкт, на котором она спекулирует, не подвержен проверке путем вынесения независимого суждения. Она нисколько не желает независимого суждения, ибо оно есть порождение познающего духа. Она не беспокоится о том, что с отказом от суждения понятие ответственности сводится к расплывчатому чувству связи с делом, требующим проявления преданности.

Смешение игры и серьезности, которое лежит в основе всего того, что мы объединяем под именем пуэрилизма, без сомнения, является одним из важнейших признаков недуга нашего времени. Остается вопрос, до какой степени пуэрилизм связан с другой чертой современной жизни — с особым почитанием юности. Оба эти явления нельзя ни в коем случае смешивать. В пуэрилизме нет возраста, ему подвержен и стар и млад. Особое почитание молодежи, которое, на первый взгляд, является показателем свежести сил, может рассматриваться и как старческое явление, как отречение в пользу несовершеннолетних наследников. Большинство цветущих культур, впрочем, любили и уважали молодежь, но не льстили ей и не восхваляли ее и всегда требовали от нее послушания и почтительного отношения к старшим. Типично декадентскими и пуэрилистскими являлись теперь уже исчезнувшие движения, называвшие себя футуризмом. Но вряд ли можно сказать, что в их появлении виновата была молодежь²⁹.

XVII. СУЕВЕРИЯ

Возрождение суеверий вполне подходит времени, склонному отказать от норм познания и суждения ради воли к жизни. Суеверия, будучи всегда тревожащими и навязчивыми, обладают тем свойством, что в периоды сильного духовного беспокойства и замешательства они вновь входят *в моду*. Временами они обретают некую привлекательность. Они приятно берегут нашу фантазию и утешают нас в нашей ограниченности знания и понимания.

Здесь не место рассматривать все формы нынешних суеверий. Укажем лишь на две их разновидности. Первая принадлежит к суеверным представлениям, избежать которых в состоянии лишь немногие: страх искушать судьбу. Этот страх глубоко присущ человеку, возможно, его следует назвать некоей потаенной верой. Многие ли из нас не постучат по дереву, подстраховываясь своим «Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!», хотя безусловно считают, что они в это не верят? Здесь кроется причина того, что всякая новая опасность влечет за собой новый вид суеверия. Когда автомобиль считался еще весьма ненадежным, то у заднего стекла вешали какой-нибудь талисман. Теперь их почти не встретишь. Зато одна из наиболее известных в мире компаний воздушных сообщений требует, или еще недавно требовала, от пилотов — помимо экзамена, медицинского обследования и тестирования — также предъявления гороскопа. Само по себе вполне понятно, что авиация, с ее резко повышенной опасностью, ощущает потребность в психологической защищенности. Но не может не внушать опасений, что крупная официальная корпорация ратует таким образом за возрождение астрологии. Суеверие, претендующее на то, чтобы считаться наукой, вносит гораздо более серьезную путаницу в понятия, чем суеверие, которое коренится в простых народных обычаях. Верят, что гороскоп содержит некие точные данные, тогда как на самом деле гороскоп, если допустить, что он вообще хоть что-нибудь значит, не может быть более точным, чем описание примет в паспорте.

Наиболее распространенная и гораздо более пагубная форма нынешних суеверий лежит не в постоянной готовности допущения таинственных взаимосвязей³⁰ и не в обращении к той или иной псевдонауке, но полностью в сфере чисто рационального мышления и доверия к подлинной науке и технике. Такова вера в целесообразность современных войн и их средств.

Без сомнения, был долгий период, когда войне придавали довольно высокую степень целесообразности. Восточному царству далекой древности, которое истребляло своих врагов, не

требовалось беспокоиться о том, что Переднюю Азию это могло *в конце концов* превратить в пустыню. Европейская история также знает определенное число оборонительных войн и некоторые наступательные, которые без сомнения могут быть названы целесообразными. Но гораздо большее их число лишь с большим трудом можно было бы подвести под понятие целесообразности. Вспомним Столетнюю войну, войны Людовика XIV, наполеоновские войны, целесообразность которых была сведена на нет Лейпцигом и Ватерлоо⁴⁶. Почти во всех этих случаях целесообразность ограничивается непосредственным результатом. Конечные цели войны: мир и безопасность — всегда являются результатом, собственно, не самих военных действий, а истощения сил.

По мере того как оружие становится всё более эффективным и страны, которые могут вести войну, в интересах собственного существования всё более вынуждены поддерживать мирные взаимоотношения, целесообразность войны снижается. Переход от наемной армии к призыву и всеобщей воинской повинности означает гигантский шаг в сторону нецелесообразности войн. Ведь тогда потери в живой силе значительно возрастают. С появлением огнестрельного оружия положение снова меняется. Можно сказать, что начиная с этого момента и вплоть до конца XIX в. целесообразность войн повышалась. Но с постоянно возрастающей силой взрывчатых веществ она вновь резко снижается. Ибо не только конечный итог потерь будет настолько велик, что для обеих сторон, победителей и побежденных, исчезает всякий полезный эффект, но уже в ходе самой военной кампании, если с обеих сторон участвуют до некоторой степени равные силы, затраты и потери перевешивают непосредственный выигрыш. Всякое военное средство обладает определенной эффективностью до тех пор, пока его нет у противника, и не дольше. Это касается как взрывчатых материалов, так и всех прочих чудес, созданных для ведения войн, будь то железобетонные сооружения, подводные лодки, авиация и радиоприборы. Всякий

успех, которого они добиваются, только кажущийся и значение его кратковременно, а то и вовсе ничтожно. Разве гигантские броненосцы времен Мировой войны не были всего лишь амулетом на шею Британии? К чему привело героическое мужество, потеря множества юных жизней, а также надругательства над правами и жестокости подводной войны, как не к затягиванию всей этой бойни!

Современной войны мир больше не вынесет. Она его искалечит. Она не принесет умиротворения. Ибо дух народов настолько задействован, и к тому же настолько отравлен, что всякая война оставит после себя невыразимо возросшую меру ненависти. Конечные результаты Мировой войны могли быть почти продиктованы победителями. Мудрость государственных мужей была собрана воедино. И что она породила? Право резать по живому — и новые осложнения, еще более неразрешимые, чем раньше; бремя нищеты и одичание в будущем! Легко нам поносить глупость Версаля. Можно подумать, что победа другой стороны принесла бы с собой более мудрых людей и более разумные действия!

Всё это означает — сеять зубы дракона. Создают с помощью высших достижений науки и техники, и затрачивая все средства, сухопутные, морские и воздушные силы — и страстно надеются (во всяком случае, большинство), что всё это не понадобится. С точки зрения целесообразности это называется «выкрасить — и выбросить».

Продолжающаяся вера в целесообразность войны — в самом буквальном смысле суеверие, пережиток прошлых периодов культуры. Возможно ли, чтобы такой человек, как Освальд Шпенглер, в сочинении *Jahre der Entscheidung* [Годы решения], строил свои фантазии на суеверии! Что за беспочвенная романтическая иллюзия эти его Цезари с их героическими отрядами профессиональных солдат! Как будто современный мир, если его вынудит необходимость, стал бы ограничивать себя в использовании всех своих сил и средств!

Перед моим взором снова встают увиденные мною на стенах и хижинах при входе в одну китайскую деревеньку полоски красной бумаги с изречениями, которые должны были оберегать от всяких злосчастий. Чувство безопасности — вот что, без сомнения, несли они жителям. Да и что такое безопасность, как не чувство? — А как практично, как дешево! И насколько целесообразнее, чем наши миллиардные расходы, которые никакого чувства безопасности не приносят. И почему мы называем первое суеверием, а второе политической осмотрительностью?

Вышеизложенное не следует понимать как призыв к одностороннему разоружению. Если ты не один в лодке, то придется плыть вместе со всеми. Единственно, что здесь утверждается, это что вера в средства, непригодность которых совершенно очевидна, не заслуживает иного наименования, кроме как суеверие. Только тупоумный мир живет такой верой. Сравнение с лодкой вполне уместно: лодкой, в которой сидят все народы, чтобы вместе пойти ко дну — или вместе плыть дальше.

XVIII. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОТХОДЕ ОТ РАЗУМА И ПРИРОДЫ

В начале длинной чреды симптомов кризиса мы ставили научную мысль, которая, как кажется, отказалась от обращения к разуму и наглядности и находит средства выражения только в математических формулах. В заключение — обратимся к искусству. Оно также вот уже столетия во всё возрастающей степени отходит от разума. Не то же ли это развитие, что и в науке?

Поэтическому искусству всех времён, даже когда оно достигает вершин вдохновения, всегда присуща разумная связность. И если его сущностью является воплощение красоты, это выражается всё же посредством слов, то есть как мысль; ибо даже представление, внушаемое одним-единственным словом, есть мысль.

Инструментом поэта являются логические средства речи. Как бы высоко ни взлетало воображение, канва стихотворения остается логически выраженной мыслью. Ведические гимны, Пиндар, Данте, поэзия глубочайшей мистики и проникновеннейшая лирика миннезингеров не лишены схем, поддающихся логическому и грамматическому анализу. Даже неопределенность китайской поэзии, насколько я понимаю, не лишена этой связи.

Есть эпохи, в которые рациональное содержание поэзии особенно высоко. Такой эпохой было XVII столетие во Франции. Расин в этом отношении может считаться вершиной. Если взять французский классицизм в качестве исходного пункта и проследить линию соотношения поэзии и разума, мы увидим, что на протяжении почти всего XVIII столетия, вплоть до возникновения романтизма, соотношение это мало меняется. Новое пылкое вдохновение вызывает в нем уже значительные колебания. Доля а- и ир-рациональной поэзии возрастает. Тем не менее на протяжении большей части XIX столетия поэзия в основном сохраняет рационально связную форму выражения, и читатель, даже не обладающий поэтическим чутьем, опираясь на свое знание языка и системы понятий, может воспринимать, по крайней мере, формальную конструкцию стихотворения. И лишь в самом конце XIX столетия появляется поэзия, сознательно порывающая связи с рациональным. Крупные поэты исключают из своей поэзии критерий логической постижимости. Вопрос не в том, означает продолжающийся отход от разума возвышение и облагораживание поэзии — или нет. Вполне возможно, что поэзия тем самым в более высокой степени, чем раньше, выполняет свою важнейшую функцию: приблизиться к сути вещей посредством духовного постижения. Здесь мы лишь констатируем факт, что она движется прочь от разума. Рильке или Поль Валери для человека, нечувствительного к поэзии, гораздо менее доступны, чем были Гёте или Байрон для своих современников.

Отказу поэтического искусства от ratios соответствует отход изобразительных искусств от зримых форм окружающей дей-

ствительности. Принцип *ars imitatur naturam* [искусство подражает природе], с тех пор как он был сформулирован Аристотелем, оставался неколебимым на протяжении многих столетий. Стилизация, орнаментальная или монументальная проработка фигур не отменяли его, даже если они порою, казалось бы, и допускали некоторые нарушения. Впрочем, это изречение вовсе не означало копирования наблюдаемого в природе. Его суть много шире: искусство следует природе, делает то, что делает природа, а именно — создает формы³¹. Но совершенная передача зримой действительности всегда оставалась идеалом, к которому с благоговением стремились приблизиться. При создании пластического изображения подчинение природе означало в определенном смысле подчинение разуму, поскольку именно с помощью разума человек интерпретирует свое окружение, делает его проницаемым. Поэтому не случайно, что то же столетие, которое воплотило определенный максимум связи между разумом и поэзией, ушло особенно далеко также и в достижении связи искусства с природой, в данном случае дальше всего у голландцев.

В XVIII веке линия реализма в пластических искусствах почти равнозначна линии рациональности в поэзии. Романтизм приносит лишь по видимости крупные изменения. Ибо перенесение сюжета из повседневной реальности в сферу фантазии вовсе не означает освобождения от богатства форм зримой действительности. Делакруа и прерафаэлиты передают свои образы фигуративным языком живописного реализма, то есть посредством изображения вещей, наблюдаемых в зримой действительности. Импрессионизм также ни в коей мере не теряет связи с формами, которые видит глаз и которые мы знаем по имени. Он означает всего лишь иной способ достижения эффекта, хотя в нем уже налицо меньшая привязанность к инвентаризации действительности. Столь же мало уводят с прежнего пути и новые требования стилизации и монументальности. Лишь там, где художник пытается создавать формы, которые глаз практически не наблюдает в зримой действительности, происходит разграниче-

ние. Вполне возможно, что отдельные образы всё еще заимствуются из природы, но располагаются так, что целое более не соответствует логически выверенному переживанию действительности. Инициатором этой фазы в изобразительном искусстве следует рассматривать, как мне кажется, в особенности Одилона Редона. Яркие черты, ведущие к этому направлению, заметны уже у Гойи. Выраженные таким образом элементы формы мы могли бы назвать сновидческими. Гений Гойи был в состоянии выразить недоступное зрению всё-таки на языке естественных форм. Позднейшие художники более этого не могут или же не хотят.

Линия, связывающая Гойю с Одилоном Редоном, продолжается дальше и проходит через Кандинского и Мондриана. Из наделяемых формами образов они полностью исключают естественные объекты, предметы-наделенные-формой. Тем самым живопись отказывается от всякой связи с обычными средствами познания. Понятие *образ* теряет свой смысл.

Из-за недостатка специальных знаний я должен оставить открытым вопрос о том, представляет ли линия, ведущая от Вагнера к атональной музыке, третий подобный шаг в культуре, такой же, как оба уже рассмотренные явления.

Определенное родство ситуации, в которой находится искусство, с положением научного мышления, о чем шла речь раньше, не следует недооценивать. Мы видели, что научная мысль достигает границ постижимого. Поэтическое и изобразительное искусство, оба равным образом духовные функции, равным образом виды постижения бытия, по-видимому, также предпочитают витать на границах, или за границами, постижимого. Неотвратимость, несомненно присущая научному процессу, вероятно, распространяется также и на процессы эстетического выражения. Оба эти явления вместе очерчивают весь комплекс духовных изменений.

Если, однако, мы всмотримся пристальнее, откроется глубокое различие между обоими явлениями. Направление устремлен-

ности сквозь границы полярно противоположно для науки — и для искусства.

В науке дух, следуя нерушимой заповеди, полностью подчиняясь тому, что диктуют способность к восприятию и интеллект, выполняя требования максимальной точности, устремляется к головокружительным высотам и в умопомрачительные глубины. Его движение вперед есть безусловное *долженствование*. Путь указан. Идти по нему — добровольно принятое служение повелительнице, имя которой — истина.

В искусстве не имеют силы заповеди извне. Никакая точность не вменяется ему в обязанность. Путь искусства привел его, лучше сказать — многих его служителей, к полнейшему отказу от принятых норм восприятия и художественного мышления. Служители искусства пытаются повиноваться первичным чувствам и импульсам, которые именно и являются материалом для эстетического претворения. Эстетическое постижение (так как это всё-таки постижение), всё дальше уходя от логики, становится всё более смутным. Поэт, расточая богатства своего духа, швыряет в пространство обрывки фраз, которые, в сочетании друг с другом, выглядят совершенным абсурдом.

В искусстве не существует долженствования. Никакая дисциплина духа не принуждает его. Его созидательный импульс — *воление*. И здесь обнаруживается тот важный факт, что искусство, в сравнении с наукой, гораздо ближе к нынешней философии жизни, которая ради бытия отказывается от знания. Оно в действительности, и искренне, полагает необходимым изображать жизнь непосредственно, не обращаясь к познанию. (Словно истолкование и сообщение не являются актом познания.)

Искусство — это стремление, и наше сверхразумное время требует дать имя такому стремлению. Новейшие направления искусства называют себя — умолчим о таких бессмысленных названиях, как *дадаизм*, — *экспрессионизмом* и *сюрреализмом*. Оба термина означают, что простого воспроизведения видимой действительности (или увиденной в воображении) художнику уже

не достаточно. Экспрессия — выразительность — всегда существовала в искусстве. К чему же тогда экспрессионизм? Если это слово понимать не только как протест против импрессионизма, то оно должно означать, что объект своего творчества (ибо такой объект должен наличествовать) художник хочет воспроизвести (воспроизведение также существовало всегда) в его глубочайшей сущности, лишенным всего, что не относится к делу или препятствует подобному восприятию. Как бы ни звался объект, будь то швея, обеденный стол или ландшафт, экспрессионист отвергает передачу его через натуральное изображение, то есть наиболее содержательный способ сообщить концепцию как таковую. Ведь он претендует дать нечто большее, что-то такое, что лежит по ту сторону зримой действительности, самую суть вещи. Для него это идея, или жизнь, вещи. Способ изображения не должен отвечать категориям наших практических представлений. Ибо постулат заключается в том, чтобы выразить нечто такое, что недоступно мышлению.

Здесь творческая позиция художника приближается во многих отношениях к позиции нынешней философии жизни. Обе хотят «самой жизни». Нижеследующий отрывок заимствован из одной рецензии на творчество художника Шагала.

«Я знаю: для многих искусство Шагала — проблема. Однако по сути оно вовсе не проблематично; это искусство, которое вырастает непосредственно из изумления и из желания отдалиться полностью мифу жизни, без рассуждений, без вмешательства интеллекта. В его основе затаенное религиозное чувство. Там его источник, в сердце, если хотите, в крови, в мистерии самой жизни. Оно проблематично только для тех, кто не может выйти за пределы эстетической проблематики, или для тех, кому всегда нужно думать о том, что они видят, тогда как это искусство исключает думание. Можно задаваться вопросом, почему именно так сделано то или это. Ответом будет молчание, потому что здесь не на что отвечать. В конце концов, есть как мистерия, так и мистика искусства, есть также искусство, наделенное магической

силой, обращенное не к разуму, но ко всему, о чем понятия наши чересчур скудны. О религиозной самоотдаче жизни нечего дискутировать. Перед нами только две возможности: либо, соучаствуя, отдаваться ей, либо нет».

Если взять эту точку зрения, оставив в стороне недостаточность обоснования, можно считать ее абсолютно законченным изложением определенного принципа. Художественный критик находится в полном согласии с так называемой «философией жизни».

Но действительно ли гармония с признаваемой сегодня многими «философией жизни» является для искусства источником силы? — Весьма сомнительно. Ведь именно первенствующее значение воли, громкие притязания на обладание полной свободой, отказ от всякой связи с разумом и природой предрекают искусству всяческие эксцессы и вырождение. К тому же непрерывная погоня за оригинальностью — одна из бед нашего времени — делает искусство гораздо более, чем науку, объектом пагубных общественных влияний извне. Искусству не хватает не только дисциплины, но и необходимой ему обособленности. В художественной продукции рентабельность духовных способностей — другое бедствие современной жизни — играет большую роль, чем в науке. Необходимость, которая в обществе конкуренции постоянно вынуждает производителей стараться перещеголять друг друга в использовании технических средств, из рекламных соображений или из простого тщеславия, приводит искусство к прискорбным крайностям бессмысленности, которые еще лет десять назад выдавались за манифестацию идеи: стихи только из звуков или из математических символов и тому подобное. Вряд ли нужно говорить о том, как легко искусство впадает в пуэрилизм, опасность, от которой, впрочем, не застрахована и наука. Лозунг *épater le bourgeois**, к сожалению, перестал быть только задорным кличем действительно юной богемы, но успешно соперничает с древним афоризмом *ars imitatur naturam*. Искусство в более высокой

* Ошарашивать буржуа (фр.).

степени, чем наука, подвержено механическому заимствованию и моде. Вдруг по всему миру художники стали расставлять под углом тридцать градусов свои столики с натюрмортами или изображать рабочих, поголовно страдающих патологией роста конечностей, на которые вместо штанин надеты печные трубы.

Более волюнтаристский характер искусства по сравнению с наукой выражается в разнице, с которой эти великие компоненты культуры пользуются терминами с окончанием *-изм*. В науке употребление таких терминов ограничивается главным образом областью философии. Монизм, витализм, идеализм суть термины, которые обозначают некую общую точку зрения, некое мировоззрение, определяющее научный подход. На методы исследования и полученные результаты позиция ученого оказывает лишь незначительное влияние. Научная деятельность дает свои результаты независимо от того, что в ней господствует то один, то другой *-изм*. Только тогда, когда дело касается философского или мировоззренческого подведения знания к единому принципу, приходится прибегать к *-измам*.

В искусстве дело обстоит несколько по-другому. В искусстве и литературе, так же, как и в науке, постоянно возникали более или менее нарочитые и осмысленные направления, которым потомки давали имена *маньеризм, маринизм, гонгоризм*⁴⁷ и т. д. В прежние времена современнику не случалось как-то именовать свою устремленность в искусстве. Периоды расцвета искусства также не знают *-измов*. Это явно современное явление, когда искусство сначала декларирует направление, именующее себя определенным *-измом*, а уже потом пытается создавать соответствующие ему произведения. Эти *-измы* отнюдь не стоят в одном ряду с *монизмом* и пр. в философии и науке. Ибо в искусстве причисление себя к некоему *-изму* оказывает непосредственное и сильное влияние на сам вид художественной продукции. Другими словами, в искусстве, в противоположность науке, до определенной степени действует волевое решение: мы хотим делать так, и именно так.

Однако если посмотреть под другим углом зрения, то между художественной продукцией и продуктами логики и критического анализа вновь удастся уловить сходство, которое из-за крикливости *-измов* могло бы ускользнуть от внимания. В искусстве, под поверхностными течениями направлений и моды, продолжает спокойно струиться широкий поток серьезной работы, к которой побуждает чистое вдохновение, поток, не претерпевающий капризных отклонений в неглубокие русла.

ХІХ. УТРАТА СТИЛЯ И ИРРАЦИОНАЛИЗИЗМ

Наше поколение, столь чувствительное к эстетическому восприятию, в развитии искусства и литературы легче всего заметит возникновение и рост явлений, которые привели к кризису нашу культуру. Картина всего процесса с наибольшей ясностью выражена в области эстетического. Единство процесса осознается здесь лучше всего: насколько глубоко в прошлое уходят истоки нынешнего кризиса, как он проявляется в истории двух веков европейской культуры.

С эстетической точки зрения весь процесс вырисовывается как утрата стиля. Гордая история богатого Запада предстает перед нами как последовательность стилей; их называют именами, которые нам известны со школы: романский, готический, ренессанс, барокко — всё это в первую очередь наименования определенной формы изобразительных возможностей. Однако значения этих слов заметно переливаются через край: мы хотим охватить ими также умственную деятельность, более того: даже целостную структуру соответствующей эпохи. Таким образом, каждый век или временной период имеет для нас свое эстетическое обозначение, свое богатое содержанием имя. И XVIII век — последний, который предстает перед нами как всё еще гомогенное и гармоничное воплощение собственного завершенного стиля во всех областях, при всем их богатстве и разнообразии, как единое выражение жизни.

XIX век уже не таков. Не потому, что мы стоим к нему слишком близко. Мы слишком хорошо знаем: XIX век больше не имел стиля, разве что некие запоздалые отблески. Его характерный признак — отсутствие стиля, смешение стилей, подражание стилям прошлого. Начало процесса утраты стиля уходит в XVIII столетие; его заигрывание с экзотикой и историзмом предвещает склонность к подражанию, благодаря которому уже ампир лишается права называться подлинным стилем.

Процесс утраты стиля эпохи — вершина всей культурной проблемы. Ибо то, что выявляется в пластических и мусических искусствах, есть лишь наиболее зримая часть поворота, который происходит в культуре.

Я не помышляю о том, чтобы рассматривать утрату стиля как разложение и упадок. В ходе одного и того же процесса современная культура и поднимается до своих высочайших вершин, и вынашивает зародыши возможного своего упадка.

Около середины XVIII столетия начинается решительный поворот в умах, отворачивающихся от трезво-рационального, чтобы углубиться в темные основания бытия. Взгляд во всем устремляется в непосредственное, личное, первоначальное, самобытное, подлинное, стихийное, бессознательное, инстинктивное, дикое. Чувство и фантазия, восторг и греза заявляют притязание на место в жизни и ее выражении. Углубленному проникновению в бытие, которое, если хотите, можно назвать романтизмом, мы обязаны появлением Гёте и Бетховена, всего расцвета наук о культуре: истории, филологии, этнографии и др.

Однако в самом этом повороте к жизни уже проглядывают ростки того направления мысли, которому со временем предстояло развиваться в отказ от познания во имя бытия и эксцессы которого мы уже выше рассматривали.

Но время еще не настало. Другая сторона духовной культуры: математическая, точная, аналитическая, наблюдающая и экспериментирующая — вовсе не сбилась с курса, напротив, она получила новые возможности в результате связи со стороной, ей

противоположной. Строго критический идеал, основанный на всеобъемлющей человечности, как это декларировал XVIII век, остается нерушимым на протяжении всего XIX столетия.

Если окинуть взором весь духовный процесс в очень широких границах, окажется, что с середины XVIII столетия в духовной жизни Европы эстетическое и чувственное восприятие мало-помалу всё сильнее проникает в сферу мышления, насколько она оказывается доступной для этого. На логическое понимание накладывается эстетическая и чувственная оценка. В творениях красоты и чувства рациональный элемент, связанный с их формами выражения, постоянно всё более сокращается. Всеобщий духовный процесс достигает предела и конечного пункта, когда познание как таковое перестает быть главным средством постижения мира.

Опасность иррационализации культуры прежде всего состоит в том, что она сочетается и смыкается с наивысшим раскрытием технических возможностей овладения природой и обострением стремления к земному благополучию и земным благам. При этом до поры до времени безразлично, выражается ли такое стремление в меркантильно-индивидуалистических, социально-коллективистских или национально-политических формах. Ибо культ *жизни*, поскольку он вытекает из совершенного иррационализма, и независимо от того, на какие социальные принципы он ссылается, может лишь повышать бесчеловечные и эгоистические поползновения страсти к господству и обладанию. Более чем наивно полагать, что при коллективизме всякий эгоизм исключается.

Единственный противовес деструктивному взаимовлиянию факторов может быть найден лишь в наивысших этических и метафизических ценностях. Возврат к разуму не поможет нам выбраться из водоворота.

Вряд ли можно утверждать, что, если требуется обрести эти ценности, мы уже вступили на правильный путь. По всей види-

мости, мы переживаем самое серьезное обострение опасностей, которое только может угрожать нашей культуре. Состояние культуры характеризуется ослабленным сопротивлением инфекции и интоксикации, которое можно сравнить с состоянием тяжелого алкогольного опьянения. Дух расточается. Средство обмена мыслями, слово, с развитием культуры неизбежно теряет в цене. Оно распространяется в безмерных количествах, и с всё большею легкостью. В прямой пропорции с обесцениванием печатного и устного слова растет безразличие к истине. По мере того как иррационалистическая позиция духа завоевывает всё новые территории, узкая полоса превратных понятий, в любой области, расширяется до всё более обширной зоны. Сиюминутная публицистика, подстрекаемая меркантильно-сенсационными интересами, раздувает простое различие точек зрения до масштабов общенационального бреда. Мысли-однодневки требуют сиюминутного претворения в действие. Между тем большие идеи внедрялись в мире всегда очень медленно. Как запах бензина и асфальта над городами, висит над миром облако словесного мусора.

Сознание ответственности, мнимо усиленное лозунгами героизма, оторвалось от своих основ в индивидуальной совести и мобилизуется на нужды любого коллективизма, стремящегося возвысить свои ограниченные представления до канона спасительного учения и навязать свою волю. В любом коллективном единстве в общие лозунги вместе с частью личного мнения уходит также часть личной ответственности. Наряду с тем что в нынешнем мире, несомненно, резко выросло чувство общей ответственности за всё происходящее, одновременно также чрезвычайно увеличилась и опасность совершенно безответственных массовых действий.

XX. ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ

Диагнозом отважились мы назвать наш обзор критических симптомов. Прогноз — для выводов, которые должны теперь последовать, — слишком смелое слово. В трех шагах уже ничего не видно. Будущее — в тумане. Единственное, что останется, это взвесить какие-то шансы, предположить некоторые возможности.

Есть ли еще место для небезнадежного заключения после перечня столь многочисленных и столь серьезных явлений расслабленности и разлада? Такое место всегда есть, надежду и веру запретить невозможно. Но занять это место совсем не легко.

Да, исповедующий учение о том, что *быть* — выше, чем *понимать*, волен утверждать, что его народ живет не настроением упадка, но идет по пути блистательного раскрытия всех своих сил. Для него во всех тех явлениях, которые кажутся нам опасными, торжествует дух, которому он служит. Для нас, однако, возникает вопрос: если общее благо, порядок, здоровье, даже согласие будут восстановлены в мире, но *этот* дух будет господствовать, будет ли тогда спасена культура?

Мы знаем: нынешний мир не может вернуться на свой прежний путь. Нам это стало ясно, как только мы обратились мыслью к произведениям науки, философии и искусства. Мысль, формотворчество должны и дальше бесстрашно идти по пути, следовать по которому их вынуждает дух. Но не иначе обстоит дело с техникой, ее гигантским механизмом и со всем экономическим, социальным и политическим аппаратом. Немыслимо, чтобы путем намеренного вмешательства захотели или смогли ограничить всепроникающий механизм распространения знаний, то есть народного образования, прессы, книжной продукции, или же захотели или смогли воспрепятствовать новым возможностям транспорта, техники и использования природных ресурсов.

И тем не менее: перспектива предоставленного своей собственной динамике мира культуры, неизменно растущего овла-

дения природой и всепроникающей и всё более прямолинейной публичности представляет собой скорее устрашающую картину, нежели то, что содержало бы в себе обещание очищенной, восстановленной и возросшей культуры. Это вызывает лишь представления о невыносимом угнетении и порабощении духа. Уже давно перспективы продолжающей разворачиваться нашей цивилизации ставят перед нами горький вопрос: не является ли переживаемый нами культурный процесс процессом варваризации?

Под варваризацией можно понимать культурный процесс, при котором достигнутое духовное состояние высокой ценности постепенно заглушается и вытесняется элементами более низкого содержания. Не будем останавливаться на вопросе, противостоят ли друг другу носители более высокой — и более низкой культуры столь же неизбежно, как элита — и масса. Во всяком случае, чтобы иметь возможность устанавливать такую полярность, нужно освободить термины *элита* и *масса* от их социального базиса и рассматривать их только в духовном смысле. Именно так поступил Ортега-и-Гассет в *Rebelión de las masas* [*Восстание масс*].

Из прошлого нам, собственно, хорошо известен только один пример всеобщей и полной варваризации: гибель античной культуры в Римской империи. Сравнение, однако, как мы уже говорили в самом начале, осложняется существенным различием обстоятельств. Прежде всего, тот, прежний, культурный процесс длился почти пять столетий. Кроме того, его осложняли явления, которые сейчас кажутся уже слишком далекими. Внутренняя варваризация античного мира была обусловлена следующими тремя факторами: во-первых, окостенением функций государственного организма и, как следствие, — ослаблением границ империи и, в конце концов, вторжением и господством чужих народов. Во-вторых, упадком хозяйственной деятельности до всё более низкого уровня. В-третьих, появлением более высокой формы религии, для которой прежняя культура стала в основном безразлична и которая благодаря прочной организации переняла властные функции регулирования духовной жизни. Ни техни-

ческий упадок, ни религиозный подъем в нынешнем культурном процессе практически не наблюдаются.

Бастионы технического совершенства и экономической и политической эффективности ни в коей мере не ограждают нашу культуру от наступающей варваризации. Всеми этими средствами может пользоваться и варварство. В сочетании с этими совершенствами варварство становится только более мощным и более тираническим.

Примером высочайшего технического достижения, с его необычайно полезным, благотворным воздействием, которое, однако, своими побочными эффектами угрожает ослабить ценность культуры, является радио. Никто не усомнится ни на мгновение в исключительной ценности этого нового инструмента духовного общения. Передача сигналов бедствия, музыка, новости для затерянных в самых отдаленных местах — можно долго перечислять все блага, которые предоставляет нам радио. Тем не менее как средство передачи сообщений радио, в своей повседневной функции, это во многих отношениях шаг назад, к бесцельной форме распространения мыслей. Дело здесь не только в таком общепризнанном зле, как вульгарное отношение к радио: когда, не вникая ни во что, слушают всё подряд или бездумно крутят ручку настройки, превращая радиопередачи в пустое расточительство звука и смысла. Даже оставив в стороне упомянутые и, собственно, не неизбежные недостатки, радио — это замедленная и ограниченная форма получения знаний. Для темпов нашего времени звучащая речь слишком растянута. Чтение — более тонкая культурная функция. Ум схватывает читаемое гораздо быстрее, он постоянно выбирает, сосредоточивается, перескакивает, делает паузы и размышляет: тысячи движений мысли в минуту, в которых слушающему отказано. Один сторонник использования радио и кино в обучении с радостной убежденностью рисует в сочинении под названием *The decline of the written word* [Упадок письменного слова] картину ближайшего будущего, когда детей будут воспитывать изображениями и на слух. Это ги-

гантский шаг к варварству. Нет лучшего средства отучить молодежь думать, удерживать ее в состоянии пуэрилизма и к тому же, вероятно, быстро и основательно ей наскучить.

Варварство может идти рука об руку с высоким техническим совершенством и с таким же успехом сочетаться с всеобщим школьным образованием. Судить о повышении уровня культуры по уменьшению безграмотности — наивность уже преодоленного прошлого. Некоторый объем школьных знаний никак не гарантирует наличия культуры. Если окинуть взором общую духовную ситуацию нашего времени, то едва ли можно будет назвать чрезмерным пессимизмом мнение, подтверждаемое ниже следующим изложением.

Заблуждения и непонимание процветают повсюду. Более чем когда-либо раньше кажутся люди рабами слов, лозунгов, чтобы убивать ими друг друга, — рабами убийственных банальностей в самом буквальном смысле. Мир заряжен ненавистью и непониманием. Нет шкалы, на которой можно измерить, насколько велик процент поглупения и больше ли он, чем прежде; ясно одно: глупость стала вредить гораздо сильнее и еще выше восседает на своем троне. Инертным, полуобразованным массам всё больше недостает спасительных тормозов уважения к традициям, форме, почитанию ценностей. Самое скверное — повсюду наблюдаемая *indifférence à la vérité* [безучастность к истине], достигающая своей вершины в публичном восхвалении политической лжи.

Варваризация наступает, когда в старой культуре, за многие столетия возвысившейся до чистоты и ясности мышления и познания, стихия магического и фантастического, взметнувшаяся в чаду распаленных инстинктов, затемняет познание. Когда логос вытесняется мифом!

Постепенно становится ясно, до какой степени новое учение о героической воле к власти, с его господством бытия над познанием, представляет именно те тенденции, которые для приверженцев духа означают движение к варварству. Ибо именно эта фило-

софия жизни возносит миф над логосом. Для нее слово *варварство* вовсе не является уничижительным. Само это понятие теряет свое значение. Новые властители ничего другого и не желают.

Могущественные боги нашего времени: механизация и организация — носители и жизни, и смерти. Они сделали весь мир пронцаемым, наладили повсюду контакты, повсюду создали возможность взаимопонимания, сотрудничества, концентрации сил. Вместе с тем они принесли с собой застой, скованность, окостенение духа — с орудиями, которые они подарили. Они перенацелили человека с индивидуализма на коллективизм, и люди вполне приняли это, но, лишенные пронцательности, преуспели только в реализации того зла, которое несет в себе всякий коллективизм: отрицание глубоко личного, духовное рабство, — прежде чем разглядели или осознали там что-либо хорошее и справедливое. Будет ли будущее принадлежать постоянно растущей механизации общественной жизни, подчиняющейся бесповоротно осознанным требованиям голой пользы и власти?

Именно так виделось это Освальду Шпенглеру, когда конечную стадию отжившей *культуры* он определял как период *цивилизации*, в котором все прежние, живые, органичные ценности вытеснены точным применением средств власти и хладнокровными расчетами желаемого эффекта. То, что применение этих средств приведет общество к гибели, Шпенглера, при его принципиальном пессимизме, вовсе не огорчает. Для него закат, гибель — неминуемая участь всякой культуры.

Если ближе взглядеться в схему мрачных видений Шпенглера, то она оказывается не свободной от непоследовательностей, которые, по-видимому, подрывают ее действенность даже для него самого. Прежде всего мы увидим, что критерии Шпенглеровой оценки человеческого поведения тесно связаны с определенным романтическим чувством. Такие его понятия, как *Größe* [величие], *воля сильного*, *здоровые инстинкты*, *здоровая радость воина*, *нордический героизм*, *цезаризм фаустовского мира* — имеют и сохраняют свои корни в почве наивного романтизма. Да-

лее, как мне кажется, совершенно очевидно, что путь, по которому шла западная культура на протяжении семнадцати лет после того, как увидел свет *Übergang des Abendlandes*, нисколько не приблизил переход к тому типу, который Шпенглер представлял как *Zivilisation* [цивилизацию]. Ибо, хотя общество и развивалось в указанном направлении, а именно — технического совершенствования, точного и холодного расчета желаемого результата, сам человеческий тип становился при этом всё более невыдержанным, незрелым, всё более зависимым от эмоционального состояния. И правят нами отнюдь не сильные, стальные орлы, как то следовало бы из концепции Шпенглера. Пожалуй, можно было бы выразиться следующим образом: мир являет собой картину Шпенглеровой *цивилизации* плюс некая степень безумия, шарлатанства и жестокости в соединении с сентиментальностью, чего он совсем не предвидел. Ибо благородный *Raubtier* [хищник], которым якобы является человек, должен быть свободен от всего этого.

Мне никогда не было ясно, почему Шпенглер, желая обозначить тип современного человека, обладающего сильным духом и высокими ценностями, обратился к не слишком удавшемуся в драматическом отношении персонажу гётевской дилогии. «Фаустовская культура», «фаустовская техника», «фаустовские нации»? Ведь нельзя же сказать о Фаусте, что он был хищником. Или во всяком случае, что это имел в виду Гёте. Приложение фигуры Фауста к современному миру может найти какое бы то ни было основание единственно лишь в некоем романтическом видении.

Всё вместе взятое, вероятно, вполне даст нам повод именовать Шпенглерову *Zivilisation*, связанную, как выясняется, с дикостью и бесчеловечностью, скорее варварством, нежели *цивилизацией*. Но должны ли мы разделять фатализм Шпенглера? Действительно ли отсутствует путь к спасению?

Быть может, прошлое даст нам некоторое утешение. Если мы окинем взором ближайшие несколько тысячелетий и выделим в

них те исторические единства, которые мы называем культурой, окажется, что периоды высокого расцвета всегда были кратковременными. Постоянно, и каждый раз в другом месте, повторяющийся процесс возникновения, развертывания и упадка завершался в течение нескольких столетий. Период расцвета, не превышающий двух столетий, насколько можно полагаться на наши критерии, кажется правилом. Для греческой культуры это V и IV века до Р. Х.; для римской — I в. до и I в. после Р. Х. (это суждение может варьироваться); для западного Средневековья — XII и XIII вв.; для Ренессанса и барокко вместе (позволительное, даже необходимое обобщение) — XVI и XVII вв. Сколь неясными и даже произвольными ни должны оставаться эти границы, специфические периоды полноценности оказываются непродолжительными. Будем считать вместе XVIII и XIX вв. периодом современной культуры? В таком случае мы оказываемся на исходе культуры, которая нам известна, и, возможно, у истоков новой, которая нам еще не известна. Быть может, такой, расцвет которой отстоит от нас достаточно далеко. Для культур не имеет силы «le roi est mort, vive le roi»*.

Ощущение приближения к конечному пункту стало для нас довольно привычным. Мы уже говорили, что не только невозможно представить дальнейшее развитие этой культуры, но едва ли следует думать, что такое развитие сделает жизнь лучше или счастливее.

Однако устремлять взгляд на историю — не более, чем суетная умозрительность с неадекватными средствами. Всему, что вроде бы предрекает гибель, современное человечество, за исключением немногих фаталистов, — и на сей раз единодушно — решительно противостоит, объявляя: мы *не хотим* погибать. Наш мир, при всех его бедах, слишком прекрасен, чтобы дать ему исчезнуть в ночи человеческого вырождения и слепоты духа. Мы больше не сидим в ожидании близящегося конца времен. На-

* «Король умер, да здравствует король» (фр.).

следие веков, которое зовется западной культурой, доверено нам, чтобы мы, когда наши руки ослабнут, передали его грядущим поколениям в целости и сохранности, по возможности обогащенным, возросшим, или, по необходимости, сократившимся, но любой ценой сохранив его настолько чистым, насколько у нас хватит сил. Уважения к труду, веры в возможность спасения, и мужества, чтобы его добиваться, — этого никто не сможет у нас отнять. Египетский царь Неко, как рассказывает Геродот, пытался прорыть канал через перешеек между Нилом и Красным морем. Ему сообщили, что 120.000 человек уже погибли при этом и что работа не продвигается. Фараон спросил совета оракула, и оракул ответил: «Ты трудишься на пользу пришельцу» (О Камбис! О Лессепс!^{48*}). Тогда царь оставил свою затею. — Но наше время, пусть даже сотня оракулов выступит с предупреждением, решило бы: *tant pis**, дело будет продолжено.

На чем основаны наши надежды? Откуда ждать спасения? Что требуется, чтобы его ускорить?

Основания для надежды — самого общего свойства, они очевидны, можно сказать, банальны. В организме именно нарушения, отклонения от нормы, расстройства привлекают внимание больного, который страдает от них, и врача, исследующего пораженные органы. Симптомы недуга нашей культуры обнаруживают себя болезненно и громогласно. Но, может быть, в гигантском теле человечества здоровый жизненный ток всё же сильнее, чем это нам кажется. Болезнь может пройти.

В грандиозных процессах природы и общества предсмертная агония и родовые схватки, насколько они доступны нашему взору и нашему разумению, протекают в неразрывной связи друг с другом. Новое всегда произрастает из старого. Но современник не знает, не может знать, что есть истинно новое, чему именно суждено победить.

* Здесь: ничего не поделаешь (*фр.*).

Всякое сильное воздействие вызывает реакцию. Реакция может казаться вялой, но нужно иметь терпение, когда имеешь дело с историей. Мы склонны полагать, что в нашем всецело организованном и специализированном обществе, с его членением и его сочлененностью, действие и противодействие должны следовать друг за другом быстрее, чем раньше. Но вполне может быть и обратное. Именно потому, что средства поддержания достигнутого состояния неизмеримо выросли, реакция происходит значительно медленнее. Не исключено, что более поздние времена, глядя на то время, в которое мы живем, быть может, какие-нибудь полстолетия, увидят в нем не более, чем похмелье, наступившее после Мировой войны.

История не может ничего предсказать, кроме одного: ни один значительный поворот в общественных отношениях не происходит так, как представляло себе предшествующее поколение. Мы определенно знаем, что события протекают иначе, чем мы *можем* подумать. Результат некоего периода всегда содержит в себе компонент, который впоследствии будет осознан как *новое*, не ожидавшееся, о чем прежде не думали. Это неизвестное *может* означать гибель. Но до тех пор пока наши ожидания еще могут колебаться между гибелью и спасением, долг человека — надеяться.

Вовсе не невозможно ощутить признаки, указывающие на то, что неизвестный нам фактор будет действовать к лучшему. Есть определенные тенденции, которые вопреки всем деструктивным силам продолжают неослабно действовать в направлении обновления и упрочения культуры. Кто станет отрицать, что в тех областях, которые не затронуты непосредственно бедами нашего времени, но и тогда, когда испытывают их давление, немало тех, кто многообразно и с помощью всё улучшающихся средств беззаветно и самоотверженно трудятся на благо человечества? Тех, кто строят и создают, творят и мыслят, возглавляют и служат, заботятся и оберегают. Или просто живут, как живут простые и скромные люди, не ведая ни о какой борьбе за культуру. Без по-

мех со стороны глупости или насилия спокойно протекает большая часть времени жизни молчаливых людей доброй воли, и каждый из них в меру своих сил строит для будущего. Они так или иначе укрываются в некоей духовной нише, куда зло времени не имеет доступа и где нет места лжи. Они не впадают в усталость от жизни и не предаются отчаянию, как ни сгущался бы мрак в их Эммаусе⁴⁹.

По всему миру рассеяно некое братство, готовое признавать всё новое, если оно множит добро, — и не ценой отказа от всего старого и испытанного. Эти люди не связаны лозунгами и эмблемами, их общность чисто духовного свойства.

Убедительный признак настоятельной требовательности спасения видится в следующем. Нации более чем когда-либо ранее укрылись в унаследованных пределах своей суверенности; некоторые открыто заявляют, что не знают и не желают знать ничего, кроме этого. Далеко не в одной стране интернационализм официально объявляется вне закона. В то же время мы видим, что именно из-за неистовой самоизоляции государств отношения между ними всё больше и больше осуществляются в форме мировой политики. Мировой политики самыми несовершенными средствами, с опасными вывертами — каждую минуту может произойти катастрофа, — но мировой политики, которая реализуется *quand même**, от которой больше нельзя уклониться, словно необходимость согласия перевесила все расхождения и преградила путь всякому произволу. Словно милосердный Господь молвил с улыбкой: «Держитесь крепче, а я уж из вас что-нибудь вылеплю».

Если эта надежда оправдана, то откуда должно к нам прийти спасение? — От *Прогресса* как такового нам уже нечего ждать. Мы достаточно *напрогрессировали* в способности разрушить этот мир и наше сообщество. Поступательное движение науки и тех-

* Вопреки всему (*фр.*).

ники, каким бы необходимым и вдохновляющим оно ни было, не сможет спасти культуру. Науки и техники недостаточно, чтобы заложить фундамент культурной жизни. Проявления духовного бессилия коренятся чересчур глубоко, чтобы критическая мысль и инструментальные возможности могли обещать выздоровление, исходя из своих собственных сил.

Здесь вопрос уводит нас в область, которой мы до сих пор избегали: связи духовного кризиса с социально-экономическими отношениями. Если бы мы вообще не коснулись этого пункта, могло бы создаться впечатление, что такая взаимосвязь нами вообще не учитывается. Необходимо сказать несколько слов об этой серьезной связи.

Для многих современных мыслителей решение проблемы культуры лежит в социально-экономической сфере. Не только чистокровные марксисты убеждены в этом. Влияние экономического мышления на нашу эпоху было так велико, что многие, даже не исповедующие марксистские тезисы, считают решенным делом, что духовное зло в конечном счете коренится в экономическом несовершенстве. Это убеждение в значительной степени связано с представлением, что сильные сдвиги и волнения в социально-экономической области, которые ежедневно происходят на наших глазах, являются доказательством того, что мы живем в эпоху фундаментальных структурных общественных изменений, в *Zeitalter des Umbaus* [век перестройки], как без колебаний называет его Карл Маннхайм. Признаки подобных изменений на самом деле действительно впечатляют. После столетий сравнительно устойчивых отношений теперь, кажется, постепенно подтачивается всё, что казалось стабильным и прочным в сфере производства, товарообмена, валютных ценностей, труда и государственной власти. Кажется, сами принципы частной собственности и свободного предпринимательства колеблются в своих основах. Мы приближаемся, таков будет вывод, к состоянию, в котором общественная жизнь должна быть построена по-новому и иначе, чем прежде.

Представление о структурных изменениях, по самой своей природе, основывается большей частью на знании исторических параллелей. В прошлом Запад дважды переживал подобное изменение: при переходе от античного общества к феодальному и при переходе от феодального общества к капиталистическому. Однако, будучи рассмотрены в сравнении с нынешней ситуацией, оба эти примера оказываются не слишком пригодными, насколько можно предположить, из-за практически неизбежных ограничений и упрощений. Процесс феодализации длился восемь или девять столетий. Он уже идет во времена Римской империи и завершается разве что к XI столетию. Переход от феодального общества к буржуазно-капиталистическому растягивается на период приблизительно с 1100-го до 1900 г., и в целом изменения происходят менее решительно, чем мы обычно себе представляем.

История не дает нам примеров быстрого перелома в общественных отношениях, подобного тому, который мы сейчас, очевидно, переживаем. К тому же оба прежних структурных изменения гораздо менее всеобщи, чем то, которое теперь нас ожидает. Оба они совершались на прочной основе нерушимого принципа частной собственности и семейного права наследования. Строго говоря, все высокие культуры, о которых мы знаем (о государственном коммунизме в древнем Перу у нас слишком ненадежные сведения), строились на подобной основе. Поэтому с исторической точки зрения предположение о быстром и далеко идущем структурном изменении нашего общества остается всего лишь смелой гипотезой.

Можно полагать, что структурные изменения — допустим, что они действительно назревают, — совершатся сами собой и принесут свою собственную новую форму культуры. Это вполне согласовывалось бы с прежним историческим материализмом. Большинство социологов и экономистов, однако, считают наше время чрезвычайно отличным от предшествующих периодов более спонтанного культурного роста в том отношении, что сей-

час несравненно возросло понимание этих проблем, сознательная воля найти их решение и наличие средств. Пациент берет излечение в свои руки. Может ли общество собственными упорядоченно действующими силами осуществить свою волю к выздоровлению и улучшению, наметить туда дорогу, определить и употребить все необходимые средства? Многие полагают, что да. Верят в *планирование*. Полагают возможным механизировать процессы производства, обмена и потребления таким образом, чтобы исключить помехи, вызванные человеческими побуждениями. Мыслят себе общество, где будут упразднены соперничество, предприимчивость и склонность к риску, где индивидуальный эгоизм преобразуется в бездушный групповой, который всегда будет бессильно наталкиваться на сопротивление себе подобных. И каково же будет при таком состоянии общества состояние культуры?

Политическое мышление ожидает от планирования большего, нежели только экономического оздоровления. Оно полагает также, что на основе тщательно взвешенного подхода можно будет заново отрегулировать сами формы сообщества. Нередко, когда политическая жизнь принуждает к омоложению, вновь расцветает старая неизбежная метафора государства как организма. В живом представлении о государстве как организме заключены все те высокие качества, о которых шла речь при описании понятия *культура*: равновесие, гармония, общая устремленность, — служение, честь и верность. Без сомнения, глубокий смысл для культуры кроется в нынешнем тяготении к упорядочению государственного сообщества в соответствии с реальными состояниями, то есть живыми единствами, естественными членениями. Если бы Государство действительно могло возвыситься до организма, в котором эти благородные отношения служения претворились бы так, чтобы человек чувствовал себя в своем *состоянии* на своем месте в обществе, чувствовал себя *самим собой*, тогда государство во всяком случае вместе с порядком укрепило бы и базу культуры.

Но тогда было бы нужно, чтобы такое понятие служения содержало в себе нечто большее, нежели повиновение власти, которая сохраняет и укрепляет лишь самое себя, обеспечивая жизненную безопасность подвластного ей общества. Ибо такого стремления для настоящей культуры недостаточно. Необходим новый дух.

Если структурные изменения и планирование не могут обещать появление нового духа, могут ли принести его Церкви? — Возможно, что из притеснений, которые им теперь приходится испытывать, они выйдут окрепшими и очищенными. Можно представить, что в последующую эпоху латинское, германское, англосаксонское и славянское религиозное чувство встретятся и достигнут взаимопроникновения на твердые скалы христианства, в мире, постижению которого откроются и прямизна ислама, и глубины Востока. Но как организации, Церкви могут восторжествовать лишь постольку, поскольку они очистят сердца своих приверженцев. Не предписаниями и волеизъявлениями отвратят они зло.

XXI. КАТАРСИС

Не от вмешательства устанавливающей порядок власти следует ждать спасения. Основы культуры — такого рода, что их не могут заложить или поддерживать общественные организмы как таковые, будь то народы, государства, Церкви, школы, партии или ассоциации. Если что-то для этого необходимо, то — внутреннее очищение, достижение которого дело самого индивидуума. Духовный *habitus* людей должен измениться.

Нынешний мир далеко зашел по пути всеобщего отрицания абсолютных этических норм. Вряд ли живет он в убежденном различении добра и зла. Кризис, в котором пребывает культура, он склонен оценивать исключительно как борьбу противополож-

ных тенденций, как борьбу за власть, которую враги оспаривают друг у друга. И всё-таки возможность надежды лежит единственно лишь в признании того, что в этой борьбе действия будут классифицироваться в соответствии с принципом абсолютного добра и абсолютного зла. Отсюда следует, что спасение *не может* заключаться в победе *одного* государства, *одного* народа, *одной* расы, *одного* класса. Людское чувство ответственности опустится до самого низкого уровня, если нормы, побуждающие нас принимать или отвергать, будут подчиняться цели, которая основывается на эгоизме.

Дилемма, перед которой ставит нас время, с каждым днем становится всё более настоящей. Взглянем еще раз на мир во всей его политической неразберихе. Повсюду серьезные неурядицы, которые требуют немедленного разрешения и относительно которых любой непредвзятый наблюдатель должен признать, что едва ли можно придумать такое решение, которое не причинит ущерба ничьим обоснованным интересам и не расстроит ничьих справедливых желаний. Вопросы национальных меньшинств, неприемлемые границы, запрет естественного воссоединения, невыносимые экономические условия. Каждое из положений переживается с таким ожесточением, что превращает их во множество очагов, из которых в любое мгновение может вырваться пламя. В каждом из этих очагов определенному праву противостоит другое определенное право. По-видимому, здесь может быть два решения. Одно из них — вооруженное насилие. Другое — урегулирование на основе далеко идущей международной доброжелательности, на основе двустороннего отказа даже от справедливых требований, отказа ради прав и интересов другой стороны, короче, на основе бескорыстия и справедливости.

От этих добродетелей нынешний мир, кажется, отстоит дальше, чем хотел быть на протяжении многих столетий, или по меньшей мере делал вид, что он этого хочет. Даже принципиальное требование международной справедливости и меж-

дународного блага теперь многие отвергают. Теория необузданной власти Государства заранее оправдывает любого поработорителя. Мир остается беззащитным перед угрозой безумия опустошительной войны, которая принесет новое и более страшное одичание.

Общественные силы стараются предотвратить это безмерное зло, трудятся ради достижения согласия и договоренности. В малейшем успехе Лиги Наций, пусть даже Арес встречает его глумливой усмешкой, теперь больше ценности, чем во всяческих галереях воинской славы на суше и на море. Но сил разумного интернационализма всё же не хватит, если не произойдут духовные изменения. Как восстановление порядка и общего блага само по себе не может обещать очищения культуры, так же мало следует его ожидать от предотвращения войны средствами международной политики. Новую культуру сможет принести только очистившееся человечество.

Катарсис, очищение — так называли греки состояние духа, которое возникало при созерцании трагедии; безмолвие сердца, растворяющее в себе сострадание и страх, очищение души, которое проистекает из постижения более глубокой сути вещей. Которое снова и всерьез готовит к деяниям долга и принятию своей судьбы. Которое ломает *ῥῆσις* (*гюбрис*) [*высокомерие*], как это происходит на сцене, где разыгрывается трагедия⁵⁰. Которое освобождает жизнь от бурных аффектов и ведет душу к миру.

Для духовного *clearing* [*очищения*], в котором нуждается наше время, нужна будет новая, другая аскеза. Носители новой, очищенной культуры должны быть такими, словно они проснулись с проблеском утра. Они должны будут стряхнуть с себя недобрые сны. Сон души, которая вырвалась из грязи и может упасть туда снова. Сон мозга, бывшего всего лишь спутанной проволокой, сон остекленевшего сердца. Когтей, выросших на пальцах рук, и клыков, которые торчат изо рта. Они должны будут вспомнить, что человек *может захотеть* не быть хищным зверем.

Новая аскеза должна быть не аскезой отвержения мира ради небесного спасения, но аскезой самообладания и умеренности в том, что касается стремления к власти и к наслаждениям. Нужно будет чуть приглушить прославление жизни. Нужно вспомнить, что уже Платон описывал занятие мудреца как приуготовление к смерти. Решительная направленность на смерть со стороны видения жизни и чувства жизни приводит к более правильному употреблению жизненных сил.

Новая аскеза должна быть самоотдачей. Во имя того, что можно помыслить как высшее. Этим высшим не может быть ни государство, ни народ, ни класс и ни собственное, личное существование. Счастлив человек, для кого наивысшим будет имя Того, Кто сказал: «Азъ есмь путь и истина и жизнь»⁵¹.

Если говорить о духовной позиции, необходимой для возрождения культуры, то в политических действиях нынешних дней можно увидеть некоторые указания на нее, однако замутненные, опутанные непомерным пуэрилизмом, заглушаемые воплями заточенного зверя, замаранные обманом и ложью. Молодежи, которая — так или иначе — должна стать носителем культуры на следующем этапе, нельзя отказать в готовности к самоотдаче, в решимости служить и терпеть лишения, совершать поступки и приносить себя в жертву. Но всеобщее ослабление способности к суждению и выкорчевывание моральных норм сбивают ее с пути, препятствуя оценить глубочайшую ценность того дела, служить которому она призвана.

Еще неясно, где именно начнется это столь необходимое духовное очищение. Суждено ли нам пасть еще ниже, чтобы стать еще более дряблыми? Но быть может, сплочение людей доброй воли по всему миру уже идет, незаметное в бурной сумятице наших дней? Необходимо повторить: воспитание интернационального чувства — еще не всё, что здесь требуется. Но крайне важно, чтобы продолжался терпеливый труд пестования душ для

лучших времен, как это происходит во многих местах во всем мире, усилиями узких групп единомышленников в тесном кругу — и международных официальных организаций, на религиозной, политической или общекультурной основе. Где бы ни появилось хрупкое растение подлинного *интернационализма*, поддерживайте, поливайте его. Поливайте живой водой собственного *национального* сознания, если оно действительно чистое. Тем более крепким оно вырастет. Интернациональное чувство, которое уже самим этим словом предполагает сохранение национальностей, но национальностей, которые способны уживаться друг с другом и из разногласия не делают разногласий; это чувство может стать почвой для новой этики, в которой исчезнет противоречие между коллективизмом и индивидуализмом. Пустая мечта, что наш мир еще будет когда-нибудь столь хорош? — Но и в этом случае мы не должны остаться без этого столь высокого идеала.

Однако, говоря обо всех этих пожеланиях и ожиданиях очищения душ, катарсиса, который был бы неким обращением, раскаянием, возрождением, не противоречим ли мы тому, что считали необходимым отметить в самом начале? — Прежние эпохи, говорили мы тогда, в своем чаянии лучшего общежития видели спасение в переломе, прозрении, способности образумиться, чтобы тем самым совершить сознательный и скорый поворот к добру. Наше время, напротив, знает, что значительные духовные и социальные перемены совершаются лишь в постепенном развитии, в крайнем случае ускоренные происходящими потрясениями. — И всё же мы требуем и ждем поворота, и в определенном смысле поворота назад?

Здесь мы снова стоим перед определенной антиномичностью всех наших суждений. Мы вынуждены признать за предшествующим взглядом долю истины. Поступь культуры должна обладать возможностью обращения и возвращения, и именно тогда, когда это касается признания или нового обретения вечных ценно-

стей, пребывающих вне потока изменения и развития. Именно о таких ценностях и идет речь.

Периоды тяжкого духовного гнета, подобные нынешнему, старым людям переносить легче, чем молодым. Старый человек знает, что он уже в самом конце пути, по которому вместе со всеми нес тяжесть своей эпохи. Он смиренно обозревает то, что было, или казалось, что было, тогда, когда он только взял на себя эту ношу, — и чем это грозит стать теперь. Его вчера и его завтра быстро перетекают друг в друга. Его страхи и заботы становятся понемногу всё легче — перед лицом смерти; свою надежду и веру, свою волю и мужество действовать он вручает тем, у кого задача жить всё еще стоит *перед* ними. К ним перейдет трудная обязанность выносить суждение, делать выбор, трудиться, действовать. На них ляжет вся тяжесть ответственности, им будет доступно увидеть будущее.

Пишущий эти страницы принадлежит к тем, чьим преимуществом в их профессиональной деятельности и в их личной жизни является возможность всегда находиться в постоянном соприкосновении с молодежью. И он убежден, что в приспособленности к трудностям жизни нынешнее молодое поколение не уступает своим предшественникам. Ослабление связей, сумятица в мыслях, рассеивание внимания и пустая трата энергии, при которыхросло это поколение, не сделали его ни слабым, ни инертным, ни равнодушным. Оно кажется открытым и непредвзятым, непосредственным, падким до наслаждений, но также готовым к лишениям, решительным, мужественным и способным на большие чувства. Его меньше отягощает груз прошлого.

Перед этим молодым поколением стоит задача научиться управлять этим миром так, как именно он хочет, чтобы им управляли, не дать ему погибнуть в его безумии и безрассудстве, возродить его дух.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Mannheim K. *Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus* [Человек и общество в период перестройки], Leiden, 1935, p. 132.
- ² Голландцев в Южной Африке во время Англо-бурской войны чрезвычайно изумляло, насколько ярко и образно говорили ополченцы-бурры.
- ³ Charles E. *The Invention of Sterility*. In: *The Frustration of Science*, London, 1935.
- ⁴ Gorer P. A. *Bacterial Warfare*. In: *The Frustration of Science*, London, 1935.
- ⁵ Я использую это слово, потому что термин *антиинтеллектуальный* приобрел чересчур специфический оттенок; здесь же речь идет о некоем общем понятии: «то, что противится самому принципу познания».
- ⁶ Для суждения о том, как следует понимать слова Гегеля, что философия передает «ihre Zeit in Gedanken erfaßt» [«свою эпоху, выраженную в мысли»], сошлюсь на: Litt Th. *Philosophie und Zeitgeist* [Философия и дух времени], где показано, насколько необоснованно приверженцы «философии жизни» ссылаются там на Гегеля.
- ⁷ Criton. *Historie en Mythe*. In: De Gemeenschap, Febr., 1935, p. 139 — сочинение, откуда я с благодарностью уже почерпнул ряд примеров.
- ⁸ Мне кажется, следует более детально мотивировать это высказывание, так как многими оно было неправильно понято как восхваление войны, абсолютно вопреки всей направленности данной работы. Я понимаю, что эта мотивировка не распространяется, с одной стороны, на абсолютных противников всякого насилия, а с другой — на отвергающих понятия греха и вины. — Солдат, подчиняясь приказам, исполняет свой долг. Таким образом, на него не падает вина за то, что он совершает. Он страдает бесконечно больше, нежели действует, и сами его действия для него суть страдания. Он страдает ради других, независимо от характера поставленной политической цели. — Разве не достаточно сказано, что тот, кто, исполняя свой долг без вины, страдает ради других, являет вершину своих нравственных качеств?
- ⁹ Schmitt C. *Der Begriff des Politischen*, 3. Aufl., Hamburg, 1933. Первое издание вышло в 1927 г.
- ¹⁰ Ibid., p. 10, 11.
- ¹¹ Ibid., p. 8.
- ¹² Ibid., p. 28. — Успех шмиттовской формулы можно было бы вывести из ее применения к задаче науки вообще, в согласии с принципами философии жизни. Некий W. Behne требует, чтобы «die Wissenschaft ihre

Ergebnisse politisch, d. h. nach dem Freund-Feind-Verhältnis, und wegen der echten Existenz unseres Volkes auswertet» [«наука оценивала свои результаты политически, то есть исходя из соотношения *друг-враг* и истинной экзистенции нашего народа»]. *Vergangenheit und Gegenwart* [Прошлое и настоящее], 24, 1934, p. 660–670.

¹³ Freyer H. *Der Staat* [Государство], Leipzig, Rechfelden, 1925, p. 146.

¹⁴ Ibid., p. 142.

¹⁵ Lib. XIX, c. 12, 13.

¹⁶ Spengler O. *Jahre der Entscheidung* [Годы решения], p. 24.

¹⁷ Ibid., p. 14. Ср.: *Der Mensch und die Technik* [Человек и техника], p. 14 ff.

¹⁸ В чем и Макиавелли, и Гоббс едины.

¹⁹ Упомянутое место: pp. 43, 45, 46.

²⁰ *Nederland's Geestesmerk* [Духовный признак Нидерландов], 2 ed., p. 25.

²¹ *Die Ausprägung deutscher und westeuropäischer Geistesart im konfessionellen Zeitalter* [Выявление немецкого и западноевропейского духовного типа в конфессиональной эпохе⁵¹], *Historische Zeitschrift*, 1934, 149, p. 240 (Доклад на Международном историческом конгрессе в Варшаве, август 1933 г.). Из вышеизложенного возникла весьма приятная для меня переписка с проф. Риттером, который пояснил, что ему не хотелось бы видеть словосочетание «*sittliche Autonomie*» [«моральная автономия»] воспринимаемым как безоговорочное признание аморального государства и что он воспринимает стойкое воздействие средневековых идей «вечного права» вовсе не как отсталость, но скорее как преимущество английского государственного сознания над континентальным.

²² Курсив мой. Обратим внимание, что моральная норма здесь уже заранее исключаются.

²³ С. 76–79.

²⁴ *Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus* [Человек и общество в период перестройки], Leiden, 1935, p. 50–52.

²⁵ С. 76–79, 92–94.

²⁶ В специальной работе об игровом элементе культуры (*Het Spelelement der cultuur*) я надеюсь вскоре более подробно обсудить затронутый здесь предмет, которому был посвящен мой доклад *Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur* [О границах игры и серьезности в культуре], 1933, *Verz. Werken*, V, p. 3.

²⁷ Примеры из одного частного письма, 1933 г.

²⁸ В качестве иллюстрации к этой главе можно рекомендовать тексты двух манифестов, недавно выпущенных известным родоначальником футуризма Ф. Т. Маринетти.

²⁹ Со всей определенностью заявляю, что я воздерживаюсь от какого бы то ни было суждения относительно серьезных исследований необъясненных психических явлений.

³⁰ Кроме того, несомненно, искусство, то есть τέχνη, arts, означает всякого рода искусственные формы, включая изделия ремесел.

- ^{1*} Уильям Мак-Кинли (1843–1901), 25-й президент Соединенных Штатов Америки (1897–1901). Его президентство было эпохой расцвета протекционизма и экспансионизма. В результате войны с Испанией (1898) США оккупировали Кубу, затем — Филиппины и Пуэрто-Рико; аннексировали Гавайи. 5 сентября 1901 г. президент был смертельно ранен американским анархистом и 14 сентября скончался. Смерть Мак-Кинли вызвала всеобщее негодование и скорбь американцев. В его честь названа гора Мак-Кинли на Аляске, высочайшая точка Северной Америки.
- ^{2*} Мирная конференция в Гааге 1899 г. состоялась по инициативе России и была созвана с целью ограничить рост вооружений и выработать мирные способы решения международных споров. В Конференции участвовало 27 государств. Было принято 3 конвенции: О мирном решении международных столкновений; О законах и обычаях сухопутной войны; О применении к морской войне начал Женевской конвенции 10 августа 1864 г., а также 3 декларации: О запрещении на пятилетний срок метания снарядов и взрывчатых веществ с воздушных шаров или при помощи иных подобных новых способов; О неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением распространять удушающие или вредоносные газы; О неупотреблении пуль, легко разворачивающихся или сплюсчивающихся в человеческом теле.
- ^{3*} Звучное и выразительное заглавие знаменитого произведения Освальда Шпенглера *Untergang des Abendlandes*, состоящее из слов *Untergang* [Закат] и *Abendland* [Занад] (в родительном падеже), по-русски традиционно передается как *Закат Европы. Комментарий*.
- ^{4*} Колесо Фортуны — распространенный в Средние века аллегорический сюжет, символизирующий непостоянство всего сущего и изображающий колесо и четырех коронованных особ. Первый из персонажей держится за обод, второй сидит на вершине, третий падает с

колеса, четвертый лежит внизу рядом с короной. Первому сопутствует надпись: «Я буду царствовать», второму — «Я царствую», третьему — «Я царствовал», четвертому — «Я отцарствовал».

⁵⁷ После потрясений Пуританской революции 1640–1660 гг., приведшей к падению монархии, казни короля Карла I, учреждению военной диктатуры генерала Оливера Кромвеля (1653–1658), а затем и восстановлению монархии, в Англии установился режим Реставрации. Политические конфликты этой эпохи происходили между сторонниками возвращения дореволюционных порядков и теми, кто, отрицая крайности революции, стремились учитывать ее уроки. Король Яков II Стюарт пытался вернуть страну к режиму до 1640 г., имевшему многие черты абсолютизма. Сторонники Парламента свергли короля (1688) с помощью голландской армии. Статхаудер Вильгельм III Оранский стал королем Англии. Государственный переворот вошел в историографию под названием *Славная революция*. Последовавший Билль о правах (1689) положил конец абсолютной монархии. Дискриминацию протестантов сменила дискриминация католиков. Именно в результате Славной революции англичане получили неслыханные по тем временам гражданские права (но в политических правах малоимущие были ограничены), и сложился парламентский строй более или менее современного типа с возможностями законной и ненасильственной смены правительства в результате выборов.

⁶⁰ Начало Французской революции. В 1789 г. начались волнения во французской провинции, затем последовало восстание в Париже, созыв Генеральных Штатов, провозглашение Национального собрания депутатами третьего сословия. Учредительное собрание. Взятие Бастилии (14 июля). Принятие *Декларации прав человека и гражданина*. *Коммент. пер.*

⁷⁰ *Пробуждение* — в точном терминологическом смысле протестантское (в первую очередь кальвинистское) движение за внесение евангельских принципов в политику, социальную сферу и сферу образования. Движение распространялось с начала XIX в. в первую очередь в тех кальвинистских регионах, где была значительная доля франкоязычного протестантского населения: Юг Франции, Бельгия, франкоязычные кантоны Швейцарии, но также и в Нидерландах.

^{8*} Французская революция с самого начала столкнулась с нехваткой средств (собственно говоря, дефицит бюджета был одной из причин начала революции). С целью пополнения казны и «борьбы с феодализмом» по декрету Учредительного собрания от 2 декабря 1789 г. всё церковное имущество было национализировано. 19–21 декабря того же года было постановлено выпустить под залог «национальных имуществ» долговые обязательства. Обязательства имели подпись руководителя государственной казны (названия должности менялись) и потому назывались ассигнатами (то есть «подписанными»). Первоначально каждый ассигнат был большой стоимости — 1000 ливров — и играл роль облигации государственного займа или чего-то вроде ваучера. Приобретавший один или несколько ассигнатов получал право в 1795 г. обменять их на золото с 5% надбавкой или обрести в собственность земельный участок соответствующей стоимости из «национальных имуществ». Но нехватка средств привела к тому, что декретами 16–17 апреля и 29 сентября 1790 г. ассигнаты были превращены в бумажные деньги, ассигнации в современном смысле; они были обязательны к приему и выпускались мелкими купюрами. Для возмещения недостатка звонкой монеты они печатались во все большем и большем количестве. Началась все усиливающаяся инфляция, особенно после прихода к власти в результате переворота 31 мая–2 июня 1793 г. партии радикальных революционеров-якобинцев, стремившихся установить контроль над рынком и провести реформы в интересах беднейших слоев населения, в частности, ввести предельные цены на товары первой необходимости («максимум»), а после исчезновения этих товаров — карточную систему. Эти меры привели к полной дезорганизации экономики и после переворота 27 июля (9 термидора по революционному календарю) 1794 г., свергнувшего правительство якобинцев, были отменены. Но инфляция, хотя и замедлившись, продолжалась. Если в момент появления ассигнатов в начале 1790 г. их курс упал до 96% номинала, то к марту 1796 г. — до 0,36% (то есть тысячная купюра стоила 3,6 франка). Тогда же была проведена замена из расчета 1/30 на новые бумажные деньги, которые циркулировали до 1797 г., когда были отменены. Й. Хейзинга сравнивает эту инфляцию с инфляцией после Первой мировой войны, особо сильной в

Советской России и Германии, где в период гиперинфляции 1920–1923 гг. ходили миллионные и даже миллиардные купюры.

- ⁹ Древнегреческий жрец, философ и провидец Эпименид (VII в. до н. э.), родом с Крита, по позднейшему преданию, юношей попал в зачарованную пещеру, там уснул и проспал 57 лет.
- ¹⁰ Основной труд Ж. Л. Бюффона (1707–1788), многотомная *Histoire naturelle générale et particulière* [Естественная история, общая и частная], вышедшая в 1749–1783 гг., представляет собой колоссальную попытку всеобъемлющего описания Природы. Его книга *Les époques de la nature* [Эпохи природы] (1778) дает яркую картину развития всего Космоса. Сочинения Бюффона пользовались огромной популярностью у читающей публики во многом из-за красочного и пышного стиля, но и благодаря завораживающей идее единства и прогресса всего сущего. Но именно эта идея, доведенная до предела, вынуждала Бюффона отрицать любую систематику. Противники Бюффона, в первую очередь, последователи великого системосозидателя Карла Линнея (1707–1778), ратовали за научную точность, в противовес умо-зрительным рассуждениям, за строгость, в противовес риторическим красотам, вообще за науку против натурфилософии.
- ¹¹ О коммунистическом и нацистском учениях, с их надругательством над наукой и культурой, Й. Хёйзинга саркастически отзываясь, прибегая к греческому термину *μάθησις* [знание], введенному в употребление в эпоху Римской империи и ставшему синонимом *астро-логии*. *Коммент. пер.*
- ¹² Хьюстон Стюарт Чемберлен (1855–1927) — английский писатель, социолог, философ, идеолог главенства «расы господ»: сначала англичан, а затем преимущественно германцев. Его книга *Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts* [Основы девятнадцатого века] способствовала распространению антисемитизма и идей пангерманизма.
- Карл Людвиг Хендрик Лоренц Томас Шеманн (1852–1938) — переводчик французского культурфилософа Жозефа Артюра де Гобино (1816–1882) и пропагандист расовых теорий последнего, глашатай превосходства арийской расы; активный участник национал-социалистической деятельности в сфере культуры.
- Людвиг Вольтманн (1871–1907) — немецкий антрополог, сторонник расовых теорий Гобино и Чемберлена. *Коммент. пер.*

- ^{13*} Мэдисон Грант (1865–1937) — американский юрист и автор книг по евгенике. Отмечалось влияние его идей на становление расистских взглядов Адольфа Гитлера.

Теодор Лотроп Стоддард (1883–1950) — американский проповедник евгеники, автор многочисленных книг расистской и анти-семитской направленности; требовал физического уничтожения евреев. *Коммент. пер.*

- ^{14*} *Osservatore Romano* [*Римский обозреватель*] — религиозно-политическая ежедневная газета, официальный орган Святого Престола; издается с 1861 г. Занимает умеренную позицию. В 1938 г. критиковала дискриминацию евреев в нацистской Германии. Выступила против нападения Германии на страны Бенилюкса. Подвергалась угрозам со стороны фашистских властей Италии. *Коммент. пер.*

- ^{15*} Евгеника — учение об улучшении человеческого рода (само название произведено от *греч.* εὐγενής — хорошего рода), о наследственном здоровье человека и путях его улучшения. Евгеника ставит своей целью сознательное воздействие на улучшение наследственных качеств человека (здоровье, умственные способности) путем заключения соответствующих браков и, наоборот, избегания браков нежелательных, для исключения дегенерации. Споры о допустимости евгеники, о расистском ее истолковании, об исключении наследственных заболеваний, о праве науки на вмешательство в частную жизнь продолжают и поныне.

- ^{16*} Выражение *bel esprit* появляется в начале XVII в. и обозначает блестящий, великий ум — Мишель де Монтень (1533–1592), *Опыты*, III, 5. Французская академия называет так (1694) того, кто «проявляет учтивость в своих разговорах и сочинениях». В аристократических салонах определение *bel esprit* утвердилось по отношению к человеку блестящего ума, образованному, яркому, остроумному собеседнику. *Коммент. пер.*

- ^{17*} *Wesensschau* [*усматривание сущности*] как переживание интенциональных актов — основополагающий термин феноменологии Эдмунда Гуссерля (1859–1938). *Коммент. пер.*

- ^{18*} Противный разуму: от *греч.* νόος — ум, разум. Ср.: ноосфера — «мыслящая оболочка, формирующаяся человеческим сознанием», по определению Эдуарда Леруа (1870–1954), — идея, разрабаты-

вавшаяся Владимиром Вернадским (1863–1945) и Пьером Тейяром де Шарденом (1881–1955). *Коммент. пер.*

^{19*} «Кровь и почва» (*нем.* Blut und Boden) — выдвинутое в середине XIX в. сторонниками германского единства, и затем подхваченное идеологией национал-социализма, положение о том, что нация определяется «кровью и почвой». Первоначально это, если пользоваться современной терминологией, означало, что нация есть *раса* (тогда — совсем не в расистском понимании, нечто вроде *вида* или *породы*) с общими генофондом и средой обитания. Но довольно быстро это выражение стало пониматься как обозначение высших ценностей человека, обязательного культа рода и родной земли.

^{20*} Расистские законы Третьего Рейха опирались на понятия *крови и почвы* (см. коммент. 19*).

^{21*} *Плетора* (*греч.* πλήθωρα, *наполнение*) — термин древнеримского врача и естествоиспытателя Клавдия Галена (ок. 130–200), общее полнокровие, увеличение объема циркулирующей крови. *Коммент. пер.*

^{22*} Термин *Weltschmerz* [*мировая скорбь*] ввел немецкий писатель Жан Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763–1825): скорбь о несовершенствах мира, чувство, что мир, в котором мы живем, вовсе не является наилучшим из всех мыслимых миров; пессимистическое представление, свойственное романтикам: лорд Байрон, Джакомо Леопарди, Франсуа-Рене де Шатобриан, Альфред де Мюссе, Генрих Гейне. *Коммент. пер.*

^{23*} *Civitas Dei* [*град Божий*], *civitas terrena* [*град земной*] — ключевые термины философии истории Августина Блаженного (Аврелий Августин, 354–430), выраженной в его труде *De Civitate Dei* [*О граде Божием*]. Град Божий — Царство Небесное, истинное отечество каждого христианина; его (несовершенным) отражением на земле является Церковь. Град земной — мирские царства, каждое из которых представляет собой *большую разбойничью шайку* (лат. *latrocinium magnum*). Борьба и взаимовлияние этих *градов* и определяют смысл мировой истории, которая движется к своему концу, к светопреставлению и утверждению Града Божьего.

^{24*} *Petitio principii* — предвосхищение основания (*лат.*); аргумент, основанный на выводе из положения, которое само по себе еще требует доказательства.

- ^{25*} Πολιτεία (*Полите́йя*), *Государство* (ок. 370 до н. э.) — диалог Платона, одно из его наиболее значительных произведений, посвящено проблеме идеального государства.
- ^{26*} Какус — в римской мифологии огнедышащий великан (в более поздних вариантах предания — беглый раб), обладавший неимоверной силой, который жил на Авентинской горе — месте будущего Рима (по другой версии на Палатинской), в пещере, окруженной остатками пожаренных им человеческих тел. Он украл часть принадлежавшего Геркулесу Герионова стада, когда герой прибыл в Италию. Геркулес нашел своих быков и телиц и вернул их себе, убив Какуса своей палицей и разрушив его пещеру.
- ^{27*} Выражение, которое обычно переводится как *государственный интерес, государственные соображения* либо, буквально, *государственный разум*, впервые появилось в труде итальянского философа и правоведа Джованни Ботеро (1540–1617) *Della Ragion di Stato* [*О государственном разуме*] и активно использовалось французскими философами и правоведами в XVII–XVIII вв., в эпоху абсолютизма. Понятие означает систему действий и систему аргументации этих действий, направленных не на личные, религиозные или иные цели, а на укрепление государства, понимаемого как высшая ценность, и обоснование этих действий рациональными (а не моральными или религиозными) доводами.
- ^{28*} Homo homini lupus est [Человек человеку волк; *лат.*] — сделавшееся поговоркой выражение из комедии римского драматурга Плавта (ок. 250–ок. 184 до н. э.) *Ослы*: «Lupus est homo homini, non homo» («Волк человек человеку, не человек»). Выражение вошло в обиход из произведения английского философа Томаса Гоббса (1588–1679) *De Cive* [*О Гражданине*].
- ^{29*} «Il est avec le ciel des accommodements» [«можно сговориться с небесами»] — парафраз слов Тартюфа из одноименной комедии Мольера (1622–1673), акт IV, явление V:

Le ciel défend, de vrai, certains contentements,
Mais on trouve avec lui des accommodements

Нам небо не велит вкусить иных усад,
Но сговорятся с ним всегда, коли хотят. *Коммент. пер.*

- ^{30*} «Истинно германское» неоязычество, бывшее полуофициальной идеологией Третьего рейха, долженствовавшей со временем вытеснить христианство, восходит к тетралогии Рихарда Вагнера (1813–1883) *Кольцо Нибелунга*. Вагнера вдохновляли древнескандинавские и древнегерманские предания, вошедшие в сборник *Эдда* и *Песнь о Нибелунгах*. Вагнер, любимый композитор Гитлера, также был официальным композитором нацистской Германии.
- ^{31*} Благоденственный Хендрик — паинька (*ирон.*), персонаж некогда популярной детской книжки *De brave Hendrik* (1810) нидерландского писателя Николааса Анслейна (1777–1838).
- ^{32*} Сочиненная Симонидом Кеосским (ок. 556–468 до н. э.) эпиграмма отряду из 300 спартанцев, погибшему в 480 г. до н. э. в Фермопильском ущелье и своими телами преградившему путь персидскому войску.
- ^{33*} Слово *virtuoso*, в современном итальянском языке означающее *добродетельный, доблестный* и *виртуоз*, в эпоху Ренессанса употреблялось только как прилагательное и имело иной смысл: *uomo virtuoso* было определением человека, обладающего *virtù*. Термин *virtù* в ренессансном словоупотреблении был чрезвычайно многозначен, включал в себя понятия и добродетели, и доблести, и гуманистической образованности — словом, достоинств человеческого духа в превосходной степени. Притом определение *virtuoso* не имело строго оценочного в моральном значении смысла и могло прилагаться как к любому из гуманистов, так и к Чезаре Борджа (1475–1507). Также и выражение *uomo singolare*, сегодня означающее *необыкновенный человек*, во времена Возрождения прилагалось к лицу, превосходящему других в каких угодно аспектах — в таланте или в злодействе.
- ^{34*} Герои классицистских трагедий Расина (1639–1699) выглядели гораздо более статуарными в сравнении с персонажами, более свободно двигавшимися среди кулис сцены, на которой разворачивалось действие трагедий Вольтера. *Коммент. пер.*
- ^{35*} С именем Оссиана (Ойсйна), легендарного ирландского сказителя и воина III в., связана одна из крупнейших литературных мистификаций. Шотландец Джеймс Макферсон (1736–1796) в 1760 г. опубликовал *Fragments of Ancient Poetry collected in the Highlands of Scotland* [*Отрывки из древней поэзии*], сборник стихотворений, которые он

якобы записал в Горной Шотландии и перевел с гэльского (гэлы — кельтский этнос, коренное население Горной Шотландии). Возможно, среди них и были какие-то записи местного фольклора, но в основном сборник был оригинальным сочинением самого Макферсона. Стихотворения понравились публике, и в 1761 г. Макферсон выпустил в свет сочинение *Fingal, an Ancient Epic Poem in Six Books, together with Several Other Poems composed by Ossian, the Son of Fingal, translated from the Gaelic Language* [Фингал, древняя эпическая поэма в шести книгах, и некоторые другие стихи, сочиненные Оссианом, сыном Фингала, переведенные с гэльского языка]. Книга имела невероятный успех, ею восхищались такие разные люди, как Наполеон, Гердер и Гёте (последний, впрочем, скоро разочаровался и объявил Оссиана плохой литературной подделкой). В эпоху предромантизма, когда резко возрос интерес к фольклору, к древним преданиям, к собственному (не античному) прошлому, но аутентичные тексты не были еще известны, подобная мистификация оказалась весьма популярной. Хотя сомнения в подлинности Оссианова творения высказывались с момента публикации (так, еще при жизни Макферсона было установлено, что Оссиан был не гэлом, а ирландцем), полностью доказательства подделки были получены лишь к концу XIX в.

^{36*} *Зигфрид и Хаген* — явно не герои скандинавской *Эдды* (там они носят имена Сигурд и Хёгни) или *Песни о Нибелунгах*, а персонажи *Кольца Нибелунга* Рихарда Вагнера.

^{37*} О корабль, отнесут в море опять тебя
Волны. Что ты? Постой! Якорь брось в гавани!

Неужель ты не видишь,
Что твой борт потерял уже

Весла, — бурей твоя мачта надломлена, —
Снасти страшно трещат, — скрепы все сорваны,
И едва уже днище
Может выдержать властную

Силу волн?

Гораций. *Оды*, I, 14, 1–9. Пер. с лат. А. Семенова-Тян-Шанского.

^{38*} Указанные события Й. Хёйзинга считает ключевыми в сложении современной цивилизации. Никейский собор 325 г. был первым вселенским собором христианской Церкви, на нем был принят символ веры. В 751 г. Пипин Короткий низложил последнего короля франков из династии Меровингов Хильдерика III и короновался сам, основав династию Пипинидов, вскоре названную Каролингами, по сыну Пипина, Карлу Великому; это знаменовало начало перехода (окончательно он свершился именно при Карле) от племенного королевства к общеевропейской (точнее — западноевропейской) империи. Завоеванием, положившим начало становлению Англии, Хёйзинга, как можно понять, считает покорение Англии норманнами в 1066 г. Реформация — здесь явно достаточно длительный процесс, видимо от выступления Лютера в 1517 г. до признания за протестантами права исповедовать их религию (по крайней мере в Германии) в 1555 г. Восстание против Испании — Нидерландская революция, начавшаяся в 1566 г. и завершившаяся созданием союза северных провинций (Утрехтская уния 1579 г.) в 1588 г., получившего название Республики Соединенных провинций (Испания признала ее де-факто в 1609 г., де-юре — в 1646 г., поэтому в нидерландской историографии эта революция нередко именуется Восьмидесятилетней войной). Война американских колоний против метрополии началась в 1775 г., независимость США была провозглашена в 1776 г., Великобритания признала ее в 1783 г.

^{39*} Акцентирующие героизм воинственные организации тоталитарного типа тяготеют к символике форменной одежды и жестов. Итальянские фашисты носили черные рубашки, германские нацисты — коричневые, испанские фалангисты (Испанская фаланга — политическая партия сторонников генерала Франсиско Франко) — голубые, немецкие коммунисты — рубашки-тельмановки защитного цвета. У фашистов жестом партийного приветствия была вытянутая вверх рука (итальянские фашисты заимствовали этот жест у Древнего Рима, немецкие нацисты — у фашистов), у коммунистов — согнутая в локте рука с поднятым вверх сжатым кулаком, так называемый *рот-фронт* (и *тельмановки*, и *рот-фронт* использовали и другие левые, не только в Германии). Список можно продолжить.

- ^{40*} Пуэрилизм (от лат. *puer*, *отрок*) — поведение, характерное для безответственного, несдержанного подростка.
- ^{41*} *Голубая лента Атлантики* — переходящий приз за рекорд скорости при пересечении Северной Атлантики, был учрежден в качестве денежного приза 1840 г. (по другим данным — между 1841 и 1843 гг.) судовладельцем Сэмюэлом Кунардом. В 1934 г. был создан международный комитет по определению первого места по скорости для судов в Атлантике, а *Голубая лента* стала представлять собой серебряный кубок (изготовлен в 1935 г.), вручавшийся рекордсмену. Пароход *Нормандия* совершил свое плавание в 1935 г. за 4 дня, 3 часа и 14 минут и стал первым судном, которому была вручена *Голубая лента* как международный приз в виде кубка. С развитием трансатлантической авиации кубок интересовал публику все меньше и меньше; последнее награждение состоялось в 1952 г.
- ^{42*} Нюркс — персонаж очерка *Неприятный человек из Хаарлеммерхаута* из сборника *Camera obscura* (опубликованного под псевдонимом Хилдебрандт; последняя редакция — 1851 г.) нидерландского писателя Николааса Беетса (1814–1903). Стал именем нарицательным для обозначения постоянно всё критикующего язвительного наблюдателя.
- ^{43*} Бэббитт — герой одноименного романа (1922) американского писателя Синклера Льюиса (1885–1951), шумный и энергичный преуспевающий бизнесмен, занятый лишь погоней за прибылью.
- ^{44*} Сухой закон (Prohibition Law, буквально: Запретительный закон; *англ.*) — вошедшее в обиход во всем мире название принятой в 1919 г. и вошедшей в силу с 1 января 1920 г. 18-й поправки к Конституции США, запрещавшей производство и продажу спиртных напитков. Сухой закон непрерывно нарушался, породил широчайшую практику подпольного изготовления, контрабанды и продажи спиртного, явился неиссякаемым источником организованной преступности и коррупции и был отменен двадцать первой поправкой в 1933 г.
- ^{45*} *Словарь Марри* — выходивший в Великобритании усилиями шотландского филолога, лексикографа и издателя Джеймса Огастуса Хенри Марри (1837–1915) авторитетный *Oxford English Dictionary* в 10 тт. В 1928 г. был издан заключительный 12-й том словаря, получившего наименование *New English Dictionary*.

^{46*} 16–19 (4–7 по старому стилю) октября 1813 г. под Лейпцигом состоялась так называемая *Битва народов* между союзными российскими, австрийскими, прусскими и шведскими войсками с одной стороны и армией Наполеона с другой. В битве участвовало более 500 тыс. человек и закончилась она полным разгромом войск Наполеона (их потери составляли ок. 80 тыс.). Это привело к освобождению от наполеоновской власти Германии и Нидерландов и, в конечном итоге, вторжению союзников во Францию в 1814 г. и отречению Наполеона 5 апреля того же года. После ссылки Наполеона на о. Эльба в Средиземном море и последовавшего затем возвращения (26 февраля 1815 г. он бежал с Эльбы, 1 марта высадился во Франции, 20 марта вошел в Париж, после чего начались его *Сто дней*) союзники — Пруссия и Англия — бросили против него все силы. Решающее сражение произошло 16 июня 1815 г. близ местечка Ватерлоо к югу от Брюсселя. Французы потерпели полное поражение (они потеряли 32 тыс. из 72-х, союзники — 22 тыс. из ок. 100), Наполеон бежал в Париж, где 22 июня отрекся окончательно.

^{47*} Маньеризм (от итал. *maniera* — *манера, стиль*) — в собственном смысле направление в западноевропейском искусстве XVI в. Маньеризм отразил крушение идеалов Высокого Возрождения, ощущение неустойчивости и трагизма бытия. Творения маньеристов, формально следовавших мастерам Высокого Возрождения, отличаются вычурной напряженностью формы. Маринизм — поэтический стиль, отличающейся вычурностью и галантной эротикой, назван по имени итальянского поэта конца XVI–начала XVII вв. Джамбатиста Марино (1569–1625). Гонгоризм — поэтический стиль (отличающийся указанными особенностями) в испанской поэзии того же времени, названный по имени поэта Луиса де Гонгоры-и-Арготе (1561–1627).

^{48*} Итак, пророчество о пришельце, данное фараону Неко, правившему в VII в. до н. э. все же сбылось. Персидский царь Камбис в 525 г. до н. э. захватил Египет и присоединил к своим многочисленным титулам еще и титул фараона. Он повелел прорыть канал через цепь озер на Суэцком перешейке, дабы соединить Средиземное море с Красным. Канал годился лишь для небольших парусных судов и при ближайших преемниках Камбиса был засыпан песками пустыни.

В 1859–1869 гг. Суэцкий канал все-таки был построен, причем работами руководил также пришелец — инженер и предприниматель француз Фердинанд Лессепс (1805–1894). С 1880 г. управление каналом осуществлялось англо-французской (снова пришельцы) *Всеобщей компанией Суэцкого залива*, которая оказывала более чем существенное влияние на политику Египта. Национализирован канал был только в 1956 г.

^{49*} После Распятия и Воскресения двое учеников Иисуса «шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус» (Лк 24, 13). Им встретился воскресший Иисус, но они не узнали Его и даже в разговоре с Ним выражали сомнение в том, что Иисус — Мессия. Тот «изъяснял им сказанное о Нем во всем *Писании*» (Лк 24, 27). Затем Он захотел продолжать путь, но «они удерживали Его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру» (Лк 24, 29). После вечерней трапезы «открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них» (Лк 24, 31).

^{50*} Дерзкое высокомерие людей, в ослеплении бросающих вызов богам, которые за это жестоко их карают; одна из ведущих тем античной трагедии.

^{51*} *Ин* 14, 6.

^{52*} Конфессиональная эпоха — время между Аугсбургским (1555) и Вестфальским (1648) миром. Аугсбургский мир устанавливал полную независимость князей в религиозных вопросах и утверждал за ними право определять религиозную принадлежность своих подданных по принципу: чья страна, того и вера. Лютеранство (наряду с католицизмом) было признано официальным вероисповеданием. Вестфальский мир окончил европейскую Тридцатилетнюю войну (1618–1648) и закрепил религиозный раскол Западной Европы. *Коммент. пер.*

ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА*

* Der Mensch und die Kultur. Серия *Ausblicke* [Перспективы]. Bernmann-Fischer Verlag A. B. Stockholm, 1938 (Verzamelde Werken, VII, p. 442–459. H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V. Haarlem, 1950).

В феврале 1937 г. я получил от председателя Österreichischen Kulturbundes [Австрийского союза культуры] в Вене почетное приглашение завершить запланированный ими на зиму 1937–1938 гг. цикл лекций сообщением на тему *Человек и культура*. В цикле под общим названием *Der Mensch zwischen Gestern und Morgen* [Человек между вчера и завтра] человек, представляющий любого из нас, должен был быть показан последовательно в своем отношении к государству, религии, экономике, науке и т. д. В заключение *его* следовало еще раз сопоставить с понятием, которое всё вышеперечисленное в известной мере в себя включает, — с *культурой*. Эту трудную тему, более широкую и менее четко очерченную, чем все предыдущие, доверили не философу, не социологу, но бедному историку, который лишь в духовном бродяжничестве, которым он занимается по долгу службы, мог черпать мужество, чтобы взяться за такую задачу. Доклад был назначен на начало мая 1938 г. Текст был закончен в начале марта 1938 г. Доклад так и не был прочитан и выходит — как, собственно, и предусматривалось — в серии *Перспективы*.

Словосочетание *человек и культура*, по всей вероятности, предполагает, что человека, а именно западного человека сегодняшнего дня, можно было бы противопоставить его культуре, можно было бы рассматривать в отрыве от связи с нею, что на культуру можно было бы взглянуть обособленно от культурного человека. Однако говорить об этом можно лишь фигурально, ибо человек есть носитель культуры, неотделимый от нее и сросшийся с нею.

Попробуем на мгновение представить себе подобное противостояние: *человек — и культура*. Итак, перед нами — человек, в своей основе такой же, каким был всегда, то есть неприметный, тщеславный, но при этом невероятно сообразительный, со сла-

бой склонностью к добру, но с большим сомнением; в отдельности — нередко порядочный, смелый, добросовестный и надежный. В коллективе или как член коллектива он много хуже, ибо коллектив отстраняет его от решений на основе собственной совести. В преданности признанному им коллективу человек, будучи одним из многих, слишком легко обнаруживает склонность к жестокости, нетерпимости, сентиментальности и пуэрилистичности. Здесь всё зависит от содержания коллективного идеала.

Поставим теперь рядом с этим человеком образ его культуры. Это бесформенный монстр. В овладении и использовании природы культура ушла бесконечно далеко вперед и невообразимо тонко отшлифовала человеческий ум. Культура стала богаче и мощнее, чем когда-либо раньше. Но она не обрела подлинного, самобытного стиля, в ней отсутствует единая вера, в ней нет внутреннего доверия к собственной прочности, нет критерия истинности, нет гармонии и достоинства, нет божественного покоя. Она обременена таким грузом всяческого вздора и нелепых идей, какого никогда прежде не несла миру. Что делать человеку с этой культурой? Разве фантом, возникающий перед нашим взором при слове *культура*, имеет право носить это имя?

Да и понимаем ли мы, вообще говоря, что именно мы имеем в виду, когда говорим о культуре? На протяжении одного поколения это слово навязывается всё более широким кругам, так сказать, для повседневного употребления. Выйдя из области распространения немецкого языка, оно завоевало остальной германский мир, а также славянский и даже англоязычный, проникло уже и в романские языки. Мы орудуем этим словом так, словно мы совершенно едины относительно его содержания. Но это чистый самообман.

Не будем пытаться дать точное определение понятия *культура*. Это завело бы нас чересчур далеко. Будем исходить из шаткой взаимосвязи значений в оценке самого этого слова.

Одно несомненно. Действенность слова *культура*, с тех пор как оно вошло во всеобщее употребление, не только распространилась на всё большую территорию — оно вбирало в свою сферу всё больше видов человеческой деятельности. Это становится ясно, если представить себе, что именно понимал Якоб Буркхардт под словом *культура*, и что имеют в виду в настоящее время. Для Буркхардта в слове *культура* акцент еще падал решительно на духовную сторону жизни. Воспитание и общественная жизнь также принадлежали культуре, но всегда в их внутренней связи с искусством, литературой и наукой. Культура для него еще сохраняла преимущественно эстетико-интеллектуальный облик, это понятие еще было в близком родстве с образованием. В грандиозном сочинении, которое позже получило название *Weltgeschichtliche Betrachtungen* [*Рассуждения о всемирной истории*], Буркхардт еще мог представить культуру как свободную функцию общества во всеохватывающей троиственности с религией и государством, позволяя всем трем совершать свой обособленный путь, подобно планетам на небесной тверди человеческой истории.

Изящное буркхардтовское понятие сейчас уже больше не покрывает наших представлений о содержании слова *культура*, по крайней мере, если говорить о культуре, в которой мы сами живем. Между *культурой* как историческим — и как актуальным понятием произошел не всегда осознаваемый нами раскол. Если я говорю о культуре Эллады или XVIII столетия, передо мной возникает чистый, гармонически законченный образ чего-то действительно бывшего. Если же слово *культура* употребляют, имея в виду нынешнее состояние какой-либо общественной группы или какой-либо части Земного шара, то черты этого образа расплывчаты и неясны.

Быть может, невразумительность термина объясняется тем, что слово *культура* способно выражать лишь идею, но не абстракцию? А идея может быть воспринята лишь как понимание действительно существующего.

Мы всё время вынуждены довольствоваться тем, что живем и мыслим в мире недостаточных средств выражения. Если оказывается невозможным заранее свести понятие культуры к одной дефиниции, то можно рекомендовать следующее: примем общее состояние нашей культуры как данность, которую будем рассматривать как своего рода клинический случай, где человек — пациент, а культура — его телесные и душевные особенности, при том что вопрос, к какому именно мнению мы придем относительно общего состояния, пока что остается открытым.

Никто не отваживается назвать культуру нашего времени вполне здоровой. Но в том, какие симптомы считать болезненными и даже критическими, мнения расходятся — не говоря уже о видах лечения. И всё-таки, действуя методом исключения, нам, быть может, удастся достигнуть минимума согласия. Спросим себя, какие именно элементы культуры, если бы мы, например, могли только некоторые из них спасти во время пожара, захотелось бы нам вынести из огня и сохранить прежде всего. То есть какие культурные ценности сочли бы мы наиболее существенными и безусловно необходимыми. Ответы будут очень различными, но в негативном плане результат кажется мне довольно определенным. Ни один серьезный человек, поставленный перед подобным выбором, не предпочтет гигантский и поразительный технический уровень нашей жизни ее духовным и душевным сокровищам. В нашем представлении о картине возрожденной и здоровой культуры вряд ли найдется место удобствам передвижения и передачи энергии. Скорее уж мы обратим внимание на достижения в области гигиены или социального обеспечения, но и здесь наше «или — или», требующее выбора между этими вещами — и вещами чисто духовного свойства, склонило бы чашу весов в пользу последних. Это означало бы, что идея культуры, стоит ей прозвучать, зовет дух вдаль и на волю, прочь от повседневных дел этого мира. Это означало бы также, что немалую долю ежедневно переживаемой нами действительности мы по сути не связываем с культурными ценностями. Но это ни в коем

случае не говорит о том, что культура — всего лишь образование. Хотя бы потому, что в любом случае остается нравственный фактор, обладающий высшим значением для культуры. Прежде всего, однако, культуру нельзя отождествлять с образованием потому, что для нас культура безусловно связана не только с представлением о мышлении и созерцании, но в гораздо большей степени — с представлением о переживании и деятельности. Культура реализуется не только в тиши духовной работы или духовного наслаждения, но и в повседневном делании — как поведение и душевный порыв. Но осознанной культура становится только для тех, кто способен возвыситься над повседневностью. Для этого человеку не нужно обособляться в аристократическом отдалении от мира, однако необходимо уметь противостоять миру как личности. Только личность может быть тем сосудом, где хранится культура.

Здесь мы касаемся критической точки нынешней ситуации. Если переживание культуры реализуется только в самой личности, значит и возможное исцеление культуры может произойти только лишь в личностях. И поэтому необходимо, чтобы форма и тип общественной жизни способствовали появлению личности, благоприятствовали ее выращиванию и созреванию. Едва ли можно отрицать, что определенное число наиболее общепризнанных пороков современной культуры коренится как раз в том, что структура современной жизни препятствует развитию личности. Продукт индустриального века — полубразованный человек. Всеобщее образование, вместе с внешним нивелированием классов и легкостью духовного и материального общения, сделали тип полубразованного человека доминирующим в обществе. Полубразованный — смертельный враг личности. Благодаря своей численности и однородности он душит в почве культуры семя индивидуальности. Оба грандиозных меркантильно-механических средства коммуникации сегодняшних дней — кино и радио — приучили его к сомнительной односторонности и поверхностности духовного восприятия. Он видит лишь фото-

графическую карикатуру максимально ограниченной визуальной действительности, краем уха слушает расточаемую для него музыку или сообщения того или иного рода, которые лучше бы он прочел — а еще лучше бы вообще не читал.

Появление истинной культуры на почве ей соответствующей — имеется в виду личность, — наводит нас на метафоры из растительной жизни. Культура пускает корни, расцветает, раскрывается и т. д. Полуобразованному же его культуру, а лучше сказать, эрзац, который он вместо нее получает, дозируют как некое снадобье.

Для замены спонтанного роста свободной духовности полумеханическим процессом массового распределения вовсе не нужно, чтобы именно власть желала так или иначе выдавать препараты культуры. Современный аппарат экономики уже сам по себе функционирует в форме принудительного предложения. Культурная пища, которую потребляет та или иная страна, становится во всё большей доле товаром, поставляемым на рынок каким-либо организованным способом. При его потреблении массами почти совершенно исключается не только момент индивидуального творчества или открытия, но даже и свободного выбора. Механизм современной прессы поставляет непрерывный поток духовной продукции. Высокоразвитое искусство рекламы распространило свою власть вплоть до самых возвышенных областей и сделало непреодолимым натиск предложений в сфере культуры. Соединенные Штаты Америки — страна, технизированная раньше других, — подали пример в этом процессе культурной гальванизации целого народа. И все страны Европы в быстром темпе последовали за ними.

Разумеется, это не должно означать, что в такой стране, как Америка, и сегодня непрерывно и повсеместно не возникают цельные личности. Но нельзя не признать, что у нас, европейцев, американский средний уровень вызывает более сильное впечатление безликости, чем общение с нашими соседями в Старом Свете. Еще менее только что сказанное должно означать, что

в Америке лишь экономическая воля стимулирует распространение культуры. Благородный и здоровый идеализм, возможно, нигде так явно не проявляется, как именно в американской общественной жизни.

Мы уже говорили о Буркхардтовой триаде религии, государства и культуры. Странно, что Буркхардт совсем не подумал при этом об экономике как о четвертом повсюду упоминаемом факторе. Однако сейчас мы хотели бы говорить не о взаимосвязи культуры и экономики, но об отношении культуры и государства, на которое Буркхардт еще мог взирать без ущерба для своей аполлонической ясности. С конца Мировой войны в мире, со всей очевидностью, протекает процесс, который я бы назвал соскальзыванием культуры в сферу политического. Вместе с тем культуру изначально и вполне осознанно оценивали по сравнению с политическим началом как наивысшее.

Мы уже вряд ли сможем, подобно Буркхардту, рассматривать культуру как идеальную величину, свободную от связи с каким-либо государством. Сама идея культуры произвольно смещается для нас в сторону концепции культуры в том или ином государстве. Государство всё более расширяет сферу своей деятельности и тем самым всё больше и больше стеснений накладывает на культуру. Оно всё больше привлекает культурные силы себе на службу и всё настойчивее претендует на то, чтобы ими распоряжаться. Намечается перевес политического над культурным, что означает потери и опасность для человечества. Мы уже высказывали мысль, что нравственное содержание человеческого общества зависит от чистоты и благородства его коллективного идеала. У истоков культуры могут стоять только самая высокая мудрость и самые благородные помыслы, до которых способен был бы возвыситься отдельный человек соответствующей общности. Если теперь государство стремится быть не только пространством и рамками, но также хранителем и донатором культуры, то возникает вопрос, не сумеют ли политические интересы в какой-то

момент занять место наивысшей мудрости и благородных помыслов, которые являются и должны оставаться единственной путеводной нитью культуры.

Всякая политика по самой своей сути направлена на достижение ограниченных целей. Ее мудрость — это мудрость ближнего прицела. Ее интеллектуальная связность в большинстве случаев чрезвычайно слаба, ее средства редко соизмеримы с целью, и она всегда действует с неслыханной расточительностью своих сил. Ее действия чаще всего не более чем стремления найти выход из тупика, прибегая к вынужденным мерам, разве только, что еще хуже, она не направляется злой волей и слепыми иллюзиями. Ее успехи или то, что принимают за таковые, весьма краткосрочны: столетие политического успеха — уже слишком много! Ее ценности, если смотреть на них с отдаления в несколько столетий, лишены смысла и содержания. Что для нас сегодня противостояние гвельфов и гибеллинов? А ведь некогда оно переживалось так же остро, как сегодня ненависть воздетой руки к сжатому кулаку*. Но каждая терцина Данте жива до сих пор.

Всякий, кто окинет взглядом историю возникновения государств с того момента, когда политические интересы просматриваются как действенный фактор, увидит, что почти нигде достижение осознанных политических намерений не имело длительного успеха. В мире государств всегда от одного вынужденного решения переходят к другому. Расцвет Афин подобен вспышке метеора на ночном небосводе. Всемирная Римская империя была тронута гнилью уже в самом начале. Испанская мировая держава не продержалась и столетия. Политика Людовика XIV привела к истощению, которое лишь благодаря цепи непредвиденных случайностей не стало смертельным для Франции. Список можно продолжить.

Нужно еще помнить о том, что история в своем благодушном оптимизме зачастую готова приписывать достижение поли-

* См. коммент. 39* к очерку *Тени завтрашнего дня* на с. 167 наст. изд.

тического результата выдающемуся уму или даже государственному гению некоего властителя, в то время как в действительности его старания закончились неудачей.

Сказанное не должно помешать нам испытывать удивление перед каждым, кто, видя перед собой трудную политическую задачу, решает ее всеми доступными средствами. Но всё это означает также, что поддержание культуры можно в столь же малой степени доверить политической власти, как и капитану корабля, только из-за того что он показал себя мужественным и решительным.

Здесь, возможно, нам возразит одно мощное течение нашего времени, что культура не соскальзывает в политическое, но возвышается до национального. Невозможно избежать чрезвычайно деликатного вопроса о ценности национального для культуры. Прежде всего — мое личное признание: я считаю высшим благом и высшим счастьем для каждого принадлежать к своему народу и к государству; я признаю высшим долгом верность своему народу и государству, вплоть до смерти, и любовь к духовным богатствам собственного народа я ощущаю как одно из богатейших сокровищ жизни. Тем не менее, на мой взгляд, всё национальное говорит о нашей человеческой ограниченности. Это часть нашей смертной природы.

Судьбой нашей части света стало всё больше и больше выстраиваться и члениться в виде системы наций. Вот уже почти полтора столетия повсеместно ясно осознают неупрощаемый характер национальности и ее высокую ценность. И примерно два десятилетия эту ценность осознают в широких кругах во всех отношениях с такой степенью напряженности, что едва ли можно удержаться от того, чтобы не назвать это гиперационализмом. Виной всему Мировая война. Накал всё еще не снижается и не может снижаться, ибо раны до сих пор не залечены и всё еще продолжают гноиться. Но как бы ни обстояло дело, даже явные противоречия между народами, каждый из которых ощущает себя в высшей степени нацией, сами по себе вполне допускали бы мир-

ную совместную жизнь. Очевидно, здесь требовалась бы лишь совсем малая доза человеческой рассудительности и доброй воли. Отдельный человек, возможно, и мог бы их проявить, но коллектив к этому неспособен. Нетрудно представить себе *in abstracto* положение, при котором нации вполне осознают свое существенное различие и всё же в добром согласии обмениваются духовными и материальными богатствами и достигают взаимопонимания, вынужденно останавливаясь лишь на границах национальных возможностей выражения и способностей восприятия. Такие границы существуют, и нащупать их всегда интересно. Частично эти границы лежат в сфере аффектов, частично в различии национальных особенностей, то есть в истории, частично в различии общественного устройства и т. д. Особенно примечательны мелкие речевые непреодолимости между нациями. И они затрагивают как раз наиболее общие и основополагающие понятия. Так, например, немецкое *Vernunft* [разум, здравый рассудок, здравый смысл] не вполне соответствует французскому *raison* [разум, рассудок, интеллект; рассудительность, здравый смысл; довод, основание, мотив, соображение; причина; право на существование; смысл существования; разумное основание, удовлетворение, отношение; пропорция] и английскому *reason* [причина, повод, основание; соображение, мотив; довод, аргумент; оправдание, разум, рассудок; благоразумие, здравый ум] (голландское *rede* [разум, рассудок; речь] оказывается здесь совсем в отдалении). Значение английского *evil* [зло; вред; бедствие, несчастье; грех, порок; *уст.* болезнь] не вполне покрывается немецким *Böse* [зло, вред]; французское *salut* [спасение, избавление, благо, поклон, приветствие] — немецким *Heil* [благо, благополучие; спасение; счастье] и французское же *rédemption* [спасение, покаяние, выкуп] — немецким *Erlösung* [избавление, освобождение, спасение]. Немецкому и голландскому *Schuld* [долг, обязательство, вина] нет однозначного соответствия ни в английском, ни во французском языках. Будучи правильно поняты, моменты недостаточности языкового и понятийного эквивален-

та становятся столь же обнадеживающими факторами плодотворного международного духовного общения. И как раз из осознания недостаточности собственного языка и возможности существования инаковости в привычном способе думания наш ум извлекает глубочайшую пользу.

Богатое разнообразие национального было бы таким образом чистым благословением. Опасность для культуры возникает только там, где в раскрытии национальной самобытности практическая политика проявляет чрезмерное рвение. Ибо тогда, с помощью средств современной пропаганды и цензуры, начинается намеренное национализирование культурного достояния, что может привести к весьма печальным последствиям. Националистическое восприятие очень скоро изолирует себя от всего, присущего Западу вообще, в особенности если процесс изоляции ускоряют враждебные настроения времени. Всего за несколько лет формируется система идей и соответствующий словарь, непонятный для иностранца, даже если он и владеет языком данной страны. Диссоциации национальных средств выражения, без сомнения, всё еще противостоит тенденция к всеобщему нивелированию, но эта последняя — в том, что касается общественных связей, — сглаживает острые углы лишь поверхностно, тогда как само положение культуры, в которое национальная пропаганда стремится проникнуть, таким нивелированием не затрагивается. Сравнивая статьи в различных журналах, вполне возможно установить, до какой степени и с каким нарастанием проходило размежевание национальных культур на Западе — например, с 1900 года. В важных областях уже сейчас для одного народа является решенным делом и святой истиной то, что другой воспринимает как фальшь и бессмыслицу. Существуют силы, которые намеренно и всерьез углубляют культурный раскол. Если мнения, которые теперь публично и громогласно оглашают и предлагают Европе, а то и навязывают силой, будут надолго закреплены в качестве национальной культуры, то можно представить себе довольно близкое будущее, в котором западная куль-

тура разделится на многие разновидности, из которых каждая будет понимать другие лишь отчасти, не говоря уже о том, чтобы ценить их.

Здесь можно заметить, что некогда уже имел место подобный раскол европейской культуры, а именно в эпоху конфессионального противостояния. Однако тогда раскол на католическую и протестантскую части собственно культуру на самом деле затронул гораздо меньше, чем теперешнее противопоставление мировоззрений. Религиозные противоречия сами по себе не влияли на общий фундамент убеждений обеих сторон. К тому же границы между странами совпадали с конфессиональными границами лишь частично. Политически согласованные действия католических и протестантских держав всегда были в порядке вещей. Оживленное, действительно международное общение в сферах искусства, науки, философии поддерживалось и в военное время. Намеренное подчеркивание моментов раздора было гораздо менее острым, чем в наше время.

Действительно ли нас ожидает в ближайшем будущем принципиальный распад культуры на некое число ее национальных разновидностей? Я всё-таки не хотел бы этому верить. Прежде всего потому, что нынешняя культурная схизма в значительной мере есть не что иное, как политически обусловленная уловка. Новые овцы и козлица обоюдно схожи друг с другом. Шум политических трений, которые в основе суть явления поверхностные и преходящие, мешает во многих случаях наблюдать вековой культурный процесс, который протекает в глубинах. И всё же не исключено, что опасный перевес политического, если он к тому же приводит к взрывам насилия, может в короткое время погубить культуру или во всяком случае на сотни лет похоронить ее под развалинами Европы. Если же это удастся предотвратить, то в отношении дальнейшего развития западной культуры мы можем рассчитывать на вероятность процесса сменяющих друг друга течений, следующее из которых уже может оказаться реакцией на нынешние события.

И тогда возникает вопрос: как могло бы выглядеть ожидаемое течение, противостоящее доминантному направлению нынешнего периода? Чтобы сделать какие-либо предположения, нам следовало бы более внимательно вникнуть в относящиеся к нашей жизни знамения времени.

Для обозначения характерных признаков нашего духовного состояния на ум сразу же приходит ряд мало обнадеживающих определений. Сами собой напрашиваются такие характеристики, как ощущение кризиса, растерянность, одичание, смятение, слепые иллюзии, лицемерие, бегство от отчаяния в самообман. Колоссальное применение силы и власти в нынешнем мире, кроме, быть может, чисто технической сферы, почти никогда не приводит к заранее намеченной цели. В результате всегда получается совершенно не то, что хотелось: наиболее убедительный пример — советское государство в его противоречии коммунистическому идеалу. Отвлеченные системы явно заходят в тупик. Наука и философия не находят опоры в простом человеческом понимании. Для нефилософа картина мира, как ее видит современная философия, кажется подчас чуть ли не карикатурой. Настроение философского мышления порой напоминает о мрачных образах позднего Средневековья. Так же, как и тогда, внушаемый смертью ужас и зияние преисподней подстерегают человека на каждом шагу, и неизменным исходным пунктом всякой психологии и всякого мировоззрения является страх. Контуры основных вопросов бытия как будто теряются в безнадежной пустоте.

Такой, по крайней мере, предстает картина настроений нашего времени, если судить по книгам или, лучше сказать, по определенному роду философской и социологической литературы. Но стоит спросить отдельного конкретного человека, созвучно ли его жизненное настроение этому мрачному тону, ответ во многих случаях будет решительно отрицательным. Состояние культуры может во многих отношениях выглядеть угрожающим, политическое положение — казаться опасней, чем когда-либо раньше, но человек, при обычных обстоятельствах, чувствует себя

в этом свихнувшемся мире вполне бодрым и жизнерадостным. Это справедливо не только для людей полуобразованных, которые так легко обманываются относительно подлинной картины собственного существования, но и для духовной элиты, которая вполне отдает себе отчет в серьезности культурного кризиса. Другими словами, настроения заката и отчаяния преобладают, на самом деле, главным образом в литературе, а не в жизни. Вместе с тем примем к сведению, что европейцы на континенте, как правило, не слишком замечают, что англосаксонская половина мира лишь в малой степени затронута нашим культурпессимизмом и нашей культурной скорбью и всё так же беззаботно продолжает свой путь.

Но что если этот путь приводит лишь к плоскому и бездушному усредненному знанию, которое, как мы с каждым днем убеждаемся, надвигается отовсюду? От одной бодрости и энергии мало проку культуре, даже если эти старые добродетели кичливо именовать героизмом. Чтобы строить культуру, общая энергия должна быть направлена на некую высокую цель. Если же сама цель зовется культурой, *civilitas humana*, — воспользуемся этим, собственно, так и не превзойденным именем, которое дал ей Данте в своей *Монархии*, — то есть представляет собой нечто большее, чем временное благо определенной, замкнутой на самое себя национальности, — тогда нужно задать себе серьезный вопрос, как именно использовать эту накапливаемую энергию.

Осознанию нашим временем неслыханно сильной коллективной динамики, которую человек может привести в действие по своему усмотрению и в соответствии со своими намерениями, препятствует ход мысли, который скорее приближается к фатализму, но, несмотря на это, принимается также и сторонниками социально активных действий. Мы убеждены, что живем в эпоху необычайного культурного перелома, который неудержимо и вопреки всему свершается и будет свершаться. «Переустройство общества», «перелом», «обновление культуры» почти повсюду давно уже стали ключевыми словечками и превратились

в общее место. Чувство глубокого обновления окружающего мира было знакомо и предшествующим эпохам. Ожидание грядущих изменений тогда чаще всего далеко превосходило исторический результат действительно наступивших перемен, как становилось ясно впоследствии. В 1815 г. мир выглядел иначе, чем в 1788-м, в 1555 г. — иначе, чем в 1520-м, но в обоих случаях различия были гораздо меньше, чем того ожидал энтузиазм молодых революционеров или молодых реформаторов и гуманистов. Подобное может произойти и теперь. В России в определенном смысле уже можно видеть, как после 1917 г. неповоротливая масса от изобилия грубых преобразований постепенно переваливается на старую проторенную колею. Грохот машин и словесный шум порой обманывают нас относительно размеров и значимости действительно совершающихся изменений.

Сомнения в реальности грандиозного поворота в культурной жизни ни в коем случае не должны открывать дорогу мрачному фатализму. Мы вовсе не хотим, чтобы всё застыло и оставалось по-старому. Напротив: всё должно измениться. Мы только хотим предостеречь от поспешного детерминизма, который воспринимает всё как свершающуюся катастрофу. Западный мир не должен и не может удовлетвориться нынешним состоянием культуры. Мы все хотели бы видеть ее излечившейся, эту нашу культуру, — излечившейся от ущерба, нанесенного механизацией и технизацией жизни, излечившейся от всё более охватывающего ее страшного одичания. И мы знаем: если культуре суждено выздороветь, то принести ей выздоровление должны мы, люди. И чтобы суметь сделать это, мы должны прежде всего излечиться сами.

Человек и культура, — вопрос в том, что можно сделать, чтобы среду, в которой живет человек вместе со своими высшими функциями и способностями, уберечь от гибели и сохранить в чистоте? Разумеется, здесь всё зависит от того, что именно считать гибелью. Предварительно поставим вопрос в самом общем виде.

Процесс выздоровления культуры не обязательно должен стать обновлением в том смысле, как современное искусство вра-

чевания обновляет наши носы или зубы. Иногда об обновлении говорят с такой уверенностью потому, что смешивают узкий — и широкий смысл этого слова. В широком смысле всякая вещь — новая в каждое следующее мгновение. В узком смысле немногие вещи в мире являются действительно новыми. Только близорукому взору, который видит не дальше поверхности, кажутся они таковыми. Так же точно и оздоровление культуры само по себе вроде бы может означать восстановление прежнего состояния. Но на практике, в потоке мировой истории и при постоянном расширении осуществленных возможностей, простое возобновление прежнего состояния культуры немыслимо даже в ничтожных деталях. Нынешний человек может, пожалуй, вообразить на мгновение, что в мире около 1750 г. он чувствовал бы себя вполне приятно: без быстрого сообщения и комфорта, но в безмятежной иллюзии благосклонного, рационально действующего Провидения и в идиллической красоте еще не механизированной и не меркантилизированной Европы. Однако он не пожелал бы довести эту грезу до серьезного пожелания. Путь назад в истории возможен в столь же малой степени, как и в жизни отдельного человека.

Но наряду с обновлением и восстановлением, возможен еще и третий вид оздоровления культуры, который обладает столь же динамичной природой, как и два вышеназванных, то есть означает не остановку и окостенение в данности, но, так сказать, объединяя понятия обновления и восстановления, возводит их в нечто третье. Для обозначения этого третьего вида не найти лучшего имени, нежели ограничение.

Многое указывает на то, что на деле в сознательном и добровольном отбрасывании излишнего и вредного в культуре заключается единственная возможность ее спасения и оздоровления.

По всей видимости, наша западная культура почти во всех отношениях подошла к пределам своего воплощения и раскрытия. Хотя это суждение может быть ошибочным и грядущие поколения будут оспаривать мнение о придании нашей эпохе характера предельной разработанности возможностей, наш

кругозор не позволяет нам видеть это иначе. Нам кажется, что наука уже достигла границ постижимого мира. Ее старые прочные понятия словно бы улетучиваются. Во всех ее дисциплинах некогда надежная почва становится всё более шаткой. Преведняя математика стала всего лишь одной из многих возможных. Логика утратила свою действенность, разум — престиж. История — под именем мифа — подсовывает в качестве непреложных истин пустые фантазии. Техника каждый день творит всё более совершенные чудеса, но никто более не чувствует к ней доверия, ибо она уже показала, что в гораздо большей степени способна разрушить, нежели уберечь. Поэзия продолжает отдаляться от мысли, искусство — от природы. За каждой достигнутой степенью духовной напряженности или сверхнапряженности зияют пустота или хаос, и Ничто выступает паролем доступа к мудрости. Многие вместе с моралью отреклись от неизменных основ права и некогда обязательной человечности.

Возникает вопрос, возможно ли, чтобы человеческий дух в нашем надменном мире научился ограничиваться всеобщим и действительно ценным, захотел бы отказаться от излишнего, бесполезного, лишнего смысла и вкуса. Совершенно очевидно, что готовность добровольно отказаться от всевозможных достижений беспорядочно разросшейся цивилизации означает нечто другое, нежели безрассудное стремление к восстановлению идеализированного прошлого. Но можно ли всерьез представить себе этот процесс, не говоря уже о том, вероятен ли он вообще? Прежде всего можно было бы принять к сведению, что в некоем будущем определенные компоненты сегодняшней культурной жизни могут выйти из моды просто из-за того, что они всем надоели. Кажется почти неизбежным, что когда-нибудь человечество пресытится пустопорожней поверхностностью нынешней машинерии публичности. В конце концов даже полуобразованные массы устанут от ежедневного сверхизобилия продукции кино и радио. Чудовищное порождение нашего технического века — реклама, будь то коммерческая или политическая, должна

будет, наконец, утратить свое воздействие из-за отвращения пресытившейся публики.

Но эти негативные эстетические реакции смогли бы всего лишь сдуть пену с поверхности культуры. Бесконечно труднее помыслить ее восстановление через добровольное ограничение в сфере интеллектуальной жизни. Допустим на мгновение, что человеческому духу — или, беря менее абстрактно, — мыслящему человечеству, удалось прийти к выводу о безусловной необходимости упрощения сложившегося мира идей. Неразрешимость конечных основ бытия осознана была бы тогда столь болезненно, бесплодность всё углубляющейся проницательности понята была бы столь окончательно, что человечество, со всем своим мышлением, захотело бы вернуться на твердую почву. Но возможно ли это? Может ли дух отказаться от того, что он однажды познал, даже если он познал лишь не-знание? Смогло ли бы наше столетие отступить за линию Кьеркегор — Достоевский — Ницше и затем начать всё сначала? Разумеется, нет.

И всё же задача нашего времени по спасению культуры имеет некоторое подобие с таким радикальным методом. Речь определенно идет о том, чтобы смиренно довольствоваться не-знанием, чтобы воздерживаться от внедрения и копания в залежах по ту сторону разума. Что нам жизненно необходимо, так это аскеза мысли во имя жизненной мудрости.

Будет ли это реставрация рационализма или, быть может, принятие философии жизни? Ни то, ни другое. Это не возврат к *clare et distincte* [ясно и отчетливо], которые так дороги были Декарту. Впрочем, легкий поворот континентально-германского и славянского духа к ясности латинского и к практическому реализму англосаксонского мог бы оказаться полезным. Во всяком случае обновление подхода к интеллектуальной сфере кажется неизбежным, ибо без признания ее ценности мы не сможем достаточно долго жить в этом мире рядом друг с другом.

Дурно понятый иррационализм угрожает в наше время стать в руках полуобразованных масс смертельным оружием против всех

видов культуры. За отказом от господства интеллекта во имя жизни в биологическом смысле слова всегда стоит колоссальное недоразумение. Снова и снова разум устраняет себя своими собственными средствами, *reason reasoned away*. Иррациональный Мюнхгаузен снова и снова за собственную косицу вытаскивает себя из болота. Полемику против разума можно вести лишь по правилам логики. Мы давно уже знаем, насколько он недостаточен, наш разум, но ведь это — все наши ресурсы. Разум нам дан как мера вещей и заслон от безумия и хаоса. Разум, наконец, самый надежный инструмент духа, который есть в нашем распоряжении.

Человек образованный может даже в шумном и обезображенном мире выгородить для себя пространство гармоничной жизни. Но так не спасти культуру. Проблема — в воспитании масс. В эстетической сфере нам это кажется возможным из-за пресыщенности и скуки. В конце концов массы перестанут смотреть и слушать всё то, что коммерциализированное производство подсовывает им под видом культуры. В интеллектуальной сфере новое воспитание масс ради оздоровления культуры было бы легче из-за того, что благодаря современной технологии культуры массы вообще отучились думать. Но, с другой стороны, логическое устройство культуры гораздо глубже обосновано и прочнее укоренено, чем эстетическое, и поэтому сильнее сопротивляется тенденции устранять лишнее. Предположим всё-таки, что в обеих областях — эстетического и логического — такое добровольное ограничение и опрощение, которое кажется нам единственным выходом из хаоса упадка культуры, само по себе будет возможно. Спасет ли это культуру? Ни в коем случае. Ибо важнейшая часть дела, а именно моральное оздоровление культуры, останется незатронутой.

В конце концов, именно от моральной позиции общества зависит, осуществило ли оно со своей стороны *civilitas humana*. Вопрос не только в том, живет ли там или здесь большинство людей благочестиво и благонравно. Люди вообще живут, вероят-

но, в данное время и в данном уголке земли не более нравственно, чем везде и всегда. Гораздо более важно, если всеми признанное стремление к лучшему и высшему пронизывает и воодушевляет всё общество. Только нравственная опора на *summit bonum* [высшее благо] может сделать массы носителями культуры. Здесь снова встает вопрос о пребывании культуры в плену у политики. Во многих местах Государство берет на себя создание обстановки, которая обуславливает культуру. Я, говорит Государство, — или, по сути, та группа, которая говорит от имени Государства, — я наделяю всех вас стремлением к высшему, которое придает смысл вашей жизни, я даю вам именно ту более простую культуру, которая вам нужна, я даю вам собранность сил для достижения цели, моральную опору, которая облагораживает всю вашу жизнь. Но Государство могло бы претендовать на это только в том случае, если бы оно указывало на нечто высшее, чем оно само, на то, где осуществляются все эти требования; и если бы само Государство следовало тому нравственному идеалу, служения которому оно требует от своих подданных. От последнего же отказываются самым решительным образом именно те государства, которые наиболее властно берут на себя роль хранителей коллективной морали и выступают воспитателями своих народов. Именно они требуют для себя нравственной, скорее безнравственной, автономии.

Теория аморального государства — довольно старая песня. Макиавелли и Гоббс полагали, что заимствовали эту теорию из действительности и что большинство политиков поступали в согласии с ней, хотя и не признавались себе в этом открыто. Ей еще долго противостояли христианские представления, а также и то, что практически определено не было никакой необходимости следовать ей во всех случаях. Однако чем сильнее и шире становились средства принуждения и сфера действия государства, тем опаснее делалось это учение. Государство, возвышающее себя до меры всех вещей и одновременно прокламирующее свой аморальный характер, менее всего призвано быть нравственным

руководителем своего народа. Претендуя быть выше морали, государство обращает область своей деятельности в пристанище зла и форменным образом вбирает в себя извечную людскую злобу. Мое глубокое убеждение, что учение об аморальном государстве — гноящаяся рана на теле нашей культуры, отравляющая весь ее организм.

Но если морального оздоровления культуры нельзя ожидать от государства как такового, то откуда оно могло бы прийти? Поколение, оторванное от всех моральных корней, еще могло тешиться пустыми словами о героическом жизненном идеале и верить, что черпает в нем свою силу. Это оказалось возможным потому, что люди утратили связь со священным. Возобладание подлинной, глубокой, чистой и живой веры, разумеется, стало бы основанием оздоровления культуры. Подлинная вера могла бы положить начало необходимому ограничению и опрощению культуры, и тем самым — возвращению к основам нашей духовной жизни. И такой верой для Запада могло бы быть лишь христианство. Наша культура, несмотря на все измены и отречения, это культура христианская. Христианское восприятие существующего мира остается жизненной атмосферой всех народов Запада. Сколь многие из тех, кто вне конфессиональной принадлежности или философски формулируемого ими мировоззрения прошли долгий путь по одной из многих дорог мышления, в конце своих рассуждений, осознав образный характер всех наших представлений, нашли наиболее адекватное выражение отношения человека к бытию в христианской этике и в религиозных принципах милосердия и спасения! И даже если для них это было всего лишь предчувствием и надеждой, это придавало твердость их позиции в жизни.

Горячее стремление к миру, свободе и человечности заметно повсюду. Мы знаем, есть немало мест, где эти настроения сегодня еще вынужденно затемнены, потому что непосредственные политические или социальные цели там еще не достигнуты, по-

тому что люди испытывают там чувство, что они в конце концов должны с боем пробиться к высокому порогу некоего земного, всегда неустойчивого, равновесия. Но благородный стимул боевого долга, направленного на частные цели, слишком легко может побуждать к безумным затеям ради достижения почета и власти. Если этого не происходит, тогда всё еще идеалом наших стремлений, хотя его никогда так и не удавалось достигнуть, предстает всечеловеческое культурное состояние — я намеренно не говорю: вечного мира, но — *civilitas humana*, идеал Данте. Итальянскому языку можно позавидовать, ибо вместо неопределенного слова *культура* у него есть ясное: *civiltà*. *Civilitas* — всеобщее состояние упорядоченной государственности в сочетании с личным поведением каждого человека, который предстает как цивилизованный, свободный и ответственный *civis*, πολίτης [гражданин]. Так, в конечном счете, была бы вновь признана политическая составляющая: государство как среда, в которой существует культура. Но только в том смысле, что *civilitas* [цивилизация] действительно была бы *humana* [человечной, гуманной], что она охватывала бы *humanitas* [человечество], включала бы его в себя и жила им, что в *civilitas humana* воплотились бы мирное общежитие и благожелательное взаимопонимание людей, многих и разных.

Так два понятия, бывшие темой нашего рассмотрения — *человека* и *культуру* в их сложном переплетении, — в конце концов мы объединили в их неразрывной связи друг с другом.

ЗАТЕМНЕННЫЙ МИР*

ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ

Semper carissimae A. H.-S.**

* Geschonden wereld. H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V. Haarlem, 1945.
2-е издание.

** Навсегда дорогой А[угусте] Х[ёйзинга]-Сх[ёлвинк] (*лат.*).

ПРЕДИСЛОВИЕ

Над этой книгой я вынужден был работать, будучи лишен доступа к своей библиотеке, при том что регулярно пользоваться публичными библиотеками мне мешали бы утрата подвижности и слабое зрение. Поэтому она более или менее носит характер импровизации. Всё это было написано в тиши кабинета. Здесь нет новых открытий или глубокомысленных выводов, здесь обсуждаются вещи, которые известны или могут быть известны каждому; я лишь пытаюсь рассмотреть их с единой точки зрения и в единой связи друг с другом, что, быть может, порой покажется читателю необычным.

Правда, сначала я себе говорил: когда тебе семьдесят, не следует стремиться работать слишком уж продуктивно. Но что делать, если дух всё еще вынуждает трудиться? Эта книга, как и вышедший в 1938 г. *Homo ludens*, посвящена той, которая вот уже почти семь лет наполняет светом счастья мои поздние годы и которая сделала легкой ссылку, уготованную мне врагами отечества.

И если мне не суждено выразить благодарность директорам библиотек или институтов, то тем приятнее принести благодарность нашему милому другу, Сюзе Кюенен, которая всегда готова была навести все необходимые справки и достать нужные мне книги.

Де Стеег, 28 сентября 1943 г.

Й. Х.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

28 сентября 1943 г. — 5 мая 1945 г.

Между этими двумя датами лежит 1 февраля 1945 г. — день смерти Йохана Хейзинги. Рукопись его последней законченной работы была готова к печати в 1943 г. На протяжении 1944 г. в нее вносились некоторые незначительные изменения, и не исключена возможность, что теперь, когда пришел конец войне, в ней также могло бы быть что-то изменено или добавлено.

Сейчас, однако, мы вынуждены публиковать рукопись в том виде, в каком она вот уже полтора года ожидала восстановления свободы печати. Своими глазами автору, увы, уже не дано было прочитать корректуру.

H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V.

ВВЕДЕНИЕ

Если эта война, как на Дальнем Востоке, так и здесь, на Западе, вскоре закончится из-за полного истощения проигравших держав, как будет обстоять дело с надеждой на восстановление нашей культуры*?

Надежда на восстановление — о большем нечего и говорить. Ведь достаточно ясно, что это тяжелейшее из столетий, в беспрецедентной агонии приближающееся к своей середине, как эпоха несет на себе печать прогрессирующего упадка культуры, кото-

* Понятие *культура* в нидерландском языке передается как словом *cultuur*, так и, часто, словом *beschaving* [обтёсанность, возделанность, образованность; от *beschaven* — обтёсывать], которым здесь пользуется Й. Хейзинга.

рый может закончиться катастрофическим разрушением. Вместе с тем никак нельзя отрицать, что то же столетие принесло великолепные достижения, ставшие новым, ценнейшим достоянием культуры и нашего времени, и будущего. Но всё же нельзя избежать тревожащего вопроса: будет ли наш истерзанный и затемненный мир тотчас по окончании всех этих ужасов готов к новому расцвету подлинной, благородной культуры?

Нижеследующие страницы содержат вывод, что предпосылки для быстрого оздоровления культуры пока еще далеко не достаточны, и поэтому перспективы на ее возрождение являются пугающе малыми. Несмотря ни на что, вот наше последнее слово: мы не должны отказываться от надежды на лучшее и от воли к его достижению. Человечество не может пренебречь бесценным наследием, которое мы называем культурой.

Слово *культура* и его эквиваленты настолько на устах у всех, что, казалось бы, мы полностью понимаем значение этих слов. Однако это далеко не так. Напротив, как только мы пробуем объяснить их значение, мы сталкиваемся с множеством неясностей и различиями во мнениях; поэтому наше конечное суждение сводится к тому, что понятие *культура* не поддается точному определению и остается нечетким. Первая задача поэтому — рассмотреть понятие *культура*: его возникновение и дальнейшие изменения.

Прежде чем к этому перейти, нужно постараться избежать одного недоразумения. Вполне возможно, что кто-либо вовсе не признаёт тех предпосылок, из которых мы только что исходили. Продолжающийся упадок культуры — характерный признак нашего времени? — скажет он. — Да ни в коей мере. Я вижу это время совсем иначе, нежели как упадок и разрушение. Я вижу сущность нашей эпохи как ряд фатальных, сотрясающих мир конфликтов политического, социального и экономического характера. Исторический процесс — скажет он далее, — который мы переживали начиная с последней четверти прошлого века, это процесс неизбежных столкновений гигантских комплексов

власти, порожденных растущей индустриализацией общества. Формы, в которых протекал этот процесс: революционные общественные изменения в Японии, Китае, России, колоссальное усиление Америки, продолжительные кризисные явления в экономике, почти повсеместно неопровержимые симптомы вырождения и расстройства во многих областях жизни и, наконец, две гигантские Мировые войны, с их доселе неслыханным развитием сил и возможностей разрушения, — все эти явления были уготованы неотвратимой судьбой.

Если стоять на принципиально и абсолютно детерминистской точке зрения, они непреложно должны были следовать друг за другом. Но в таком случае всё происходящее подчинено фатальной неизбежности, и тогда нет больше ни исторических совпадений, ни случайностей, события не могли бы протекать по-иному, и всякое историческое суждение лишается смысла.

Однако такой неограниченный детерминизм — близорукая и слишком дешевая установка. Большей частью мы чересчур склонны говорить о необходимости и неизбежности, если никогда не распутываемый до конца клубок причинных связей оказывается непроницаемым для нашего ограниченного рассудка. Возможно, подобный вывод в значительной степени неизбежен в отношении экономической жизни и всего того, что там происходит. Но уже в отношении социальных проблем чисто детерминистское суждение превращается в пустую банальность, а в отношении политических событий оно — чистейшая глупость. Тот факт, что одно или несколько государств вступают в конфликт с другими, было бы беспочвенно и внеисторично приписывать ходу судьбы, противостоять которому не могли бы человеческая мудрость или доброжелательность.

Слова *noodlot*, *destiny*, *sort*, *fatalité*, *Schicksal* [судьба, рок], в сущности, совершенно бессмысленны — не только для христианского мышления, которое всё, что можно было бы выразить этими словами, подчиняет понятию Божьего промысла, но также и для современного мышления вообще. Лишь в пору расцвета ре-

лигиозных воззрений язычества, как это было у греков, *μοῖρα* и *ἀνάγκη*¹ действительно были наделены смыслом.

Политическое вообще — это производная категория, которая приобретает смысл только по отношению к определенным типам исторического, или воспринимаемого как историческое, государственного устройства. Нет никакой разумной причины считать, что великие войны этого века или какие-либо войны в прошлом должны были происходить именно так, как они происходили, что державам нашей планеты было предопределено вступить в битву друг с другом, чтобы уничтожить и себя самих, и культуру.

Тот, кто серьезно исследует то, что мы различаем как историческое, пытаюсь понять из событий прошлого, как именно всё это вновь и вновь происходит, за мнимой необходимостью всегда будет наталкиваться на личностей, которые этого хотели и старались добиться, будь то Александр Македонский, Тамерлан или Наполеон Бонапарт; и помыслы, которые он установит в качестве конечных векторов хода истории, скорее всего будут питаться глупостью и злобностью рода человеческого, хотя исторические книги будут говорить о гении и необузданной, динамической или демонической энергии — или как там обыкновенно интерпретируются великие исторические персонажи. Христианское учение всегда знало, что нет более сильных человеческих побуждений, чем гордыня и властолюбие. Давайте, по здравом рассуждении, отбросим заблуждение, что историю нашего столетия следует понимать как политическую фатальность, и перейдем к более скромной задаче, а именно — к первой главе: о терминах, которыми мы располагаем для определения феномена культуры, и о понятии, которое эти термины выражают. Нам заранее известно, что эти термины являются недостаточными, и понятия, которые за ними стоят, нечетки. Абстракции для обозначения общих понятий, относящихся к человеческому обществу, никогда не могут обладать той же точностью, как в естественнонаучном мышлении. Наш логический аппарат — инструмент

несовершенный. Слово, неизбежное наше подспорье, на которое нам приходится полагаться, склонно постоянно обманывать нас чудесным обликом истинности, и чем сильнее нарушено равновесие времени, тем опасней нагромождение слов, которое тщится сойти за мудрость. Наше изложение должно оставаться сколь возможно простым — более глубокомысленным пусть займутся другие.

I. ТЕРМИНОЛОГИЯ ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРА

1. Слово *beschaving* и его эквиваленты: *civilisatie, cultuur, civiltà*

Термины, которые следует рассмотреть в нашем обзоре, — *beschaving, cultuur* и *civilisatie*, вместе с некоторыми вариантами, среди которых итальянское *civiltà* занимает совершенно особое место. Тем самым покрывается почти вся международная лексика, относящаяся к современному понятию культуры, если оставить в стороне такие языки, как финский, которые это понятие обозначили с помощью собственных лингвистических средств; исключение этих языков тем более допустимо, что в своей терминологии они следовали западноевропейской традиции.

Нидерландский язык, с его словом *beschaving*, занимает здесь совершенно особое положение. Это слово, подобно большинству эквивалентов в сопредельных языках, очень недавнего происхождения. Этимологически оно отступает от таких наименований, как *цивилизация* и *культура*, поскольку не исходит ни из понятия *цивильный*, ни из понятий *выстраивания* или *выращивания* и скорее может считаться прямым переводом слова *eruditio* [*образование; образованность*]. Однако связь *beschaving* и *schaven* [*стругать, скоблить, полировать*] в языке давно утрачена. Понятие, которое передает это слово, намного шире, чем, в старомодно-классическом понимании, *polijsten* [*шлифовать*]. Обра-

тившись к примерам, которые приводит *Woordenboek der Nederlandsche taal* [Словарь нидерландского языка], мы видим, что первоначальное значение глагола *beschaven* — совершенствовать, облагораживать. Ван Эфпен говорит, что он «всегда испытывал тяготение к *beschavende wetenschappen* [облагораживающим наукам]», — каковые должны означать примерно то же, что *humanaiora*, или *bonæ literæ*².

Существительное *beschaving* можно обнаружить в нидерландском языке лишь к концу XVIII в. и скорее как *poenen actionis* [обозначение действия] довольно ограниченного значения, как, например, у Вилдсхюта, который говорит, «что *beschaving* [обтесывание] и умягчение мужчины возложено на прелестных девиц самою Природой». Примечательное употребление *beschaving* в значении культурности как состояния встречается лишь в одном месте у Кнеппелхаута: «...его лицо, на котором запечатлелась более благородная культурность (*beschaving*), чем можно было бы ожидать». Следующей фазы история слова *beschaving* достигает, когда его начинают понимать как явление историческое, часто в значении *просвещенности*, как, например, у Якоба Геела: «предполагая, что греческая культура (*beschaving*) была утрачена»; или у Груна ван Принстерера: «Германская грубость была вынуждена отступить перед римской культурой (*beschaving*)». А подзаголовок *Studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw* [Исследования по культуре Северных Нидерландов в XVII в.] к работе Баскен Хьюэта *Land van Rembrand* [Страна Рембрандта] сразу приближает нас к нынешнему словоупотреблению и вполне современному смысловому содержанию этого понятия. Было бы интересно установить, с какого времени понятие *beschaving* настолько объективируется, что его, как это стало для нас привычно, начинают употреблять уже и во множественном числе, говоря о культурах.

Далеко не столь просто, как терминологическая история слова *beschaving*, которое в нидерландском языке сделало излишним слово *civilisatie*, не дав ему войти во всеобщее употребление, вы-

глядит появление французского *civilisation*, английского *civilization*, немецкого *Zivilisation*. С точки зрения языка, *civilisation* — неудачное, если не сказать уродливое, словообразование. Так же, как и в случае со словом *beschaving*, глагол *civiliser* предшествовал производному от него существительному. Уже французские глаголы на *-iser*: *indemniser*, *cotiser*, *fraterniser* [возмещать ущерб, платить взносы, брататься] и т. д. представляют собой не слишком удачные образования. Все они весьма недавнего происхождения, не ранее XVI в. Они восходят к греческой форме глаголов на *-ίζειν*, которых, однако, весьма немного. Отсюда следует и то, что *z* здесь больше на своем месте, чем *s*, что выдает итальянский язык, где в соответствующих глаголах: *eletrizzare* и т. д. — стоит *zz*. Из уже по сути гибридной глагольной формы *civiliser* возникает *civilisation*, слово, которое, собственно, нельзя назвать ни латинским, ни французским. Потребность в таком слове тем не менее должна была быть столь высокой, что оно внедрилось не только вопреки тонкому французскому чувству языка, но стало господствовать также и в английском речевом обиходе, и некоторое время было вполне обычным и в немецком языке. Хотя Académie française³ признала слово *civilisation* лишь в 1835 г., оно, согласно Литтрé⁴, встречается уже у Тюрго в выражении «au commencement de la civilisation» [«на заре цивилизации»], то есть в совершенно современном смысле. Примечательно, что Вольтер еще не употребляет этого слова, при том что именно он в *Essai sur les mœurs et l'esprit des nations* [Опыты о нравах и духе народов] очертил основные положения понятия *культура* и первый дал общее описание истории культуры. Возможно, несколько уродливое словообразование претило хорошему вкусу Вольтера. К значению этого слова мы еще вернемся. Предварительно лишь отметим, что понятие *civilisation*, так же как и нидерландское *beschaving*, стало объективной констатацией исторического феномена, который может периодически возникать на протяжении веков, так что это слово может употребляться также и во множественном числе — как, например, в названии известной

серии *Peuples et civilisations* [Народы и цивилизации] по всемирной истории, выходящей в свет отдельными выпусками.

Что касается английского слова *civilization*, которое совершенно правильно пишется через *z*, то мы можем почерпнуть неожиданный материал из *Dictionary of the English Language* Сэмюэла Джонсона. Это слово на протяжении XVIII столетия получило широкое распространение в английском словоупотреблении. Босуэлл, однако, в письме от 23 марта 1775 г. отмечает: «I found him (д-ра Джонсона, разумеется) busy preparing a forth edition of his folio Dictionary. He would not admit 'civilisation', but only 'civility'. With great difference to him I thought 'civilisation' from 'to civilise' better in the sense opposed to barbarity than civility» [«Я застал его <...> погруженным в подготовку четвертого издания своего фолианта. Он не поместил туда 'civilisation', но только 'civility'. В отличие от него, я полагал бы, что 'civilisation' как производное от 'to civilise' лучше передает смысл противоположности варварству, чем всего лишь 'civility' (вежливость)»]. Мнение Босуэлла одержало в этом споре победу: слово *civilisation* уже слишком укоренилось в речевом обиходе, чтобы можно было его оттуда изъять. Но по сути дела, д-р Джонсон был прав: слово *civility* (*civilitas*) для понятия, которое оно должно было обозначать, было бы не только более красивым, но и более правильным, ибо оно яснее и проще раскрывало бы смысл культуры, чем растянутое, дурно образованное слово *civilisatio* (не встречавшееся ни в классической, ни в средневековой латыни, ни в латинском языке гуманистов). К тому же слово *civilitas* фигурировало в старинных грамотах, жаловавших дворянскими титулами, с чем д-р Джонсон, вероятно, не раз уже сталкивался. Итальянский язык получил от Данте и понятие *культура* в его возвышенном смысле, и обозначающее это понятие латинское слово *civilitas* в его более поздней тосканской форме *civiltà*, сохраняющейся вплоть до настоящего времени.

Слово *civilis* в классической латыни имело ряд значений, исходивших из обозначения «того, что свойственно гражданину».

Civilis относилось к сфере политического, в противоположность сфере военного; оно означало: причастный к народу, учтивый, любезный, вежливый, предупредительный, выдержанный. Значением *культурный* — в том смысле, как мы его сейчас понимаем, — это слово не обладало. К понятиям *культурный*, *культура* приближались скорее *urbanus*; *urbanitas* [городской, вежливый, образованный; учтивость, вежливость, воспитанность]. Средневековая латынь, насколько мне известно, также не знала понятия, обозначающего то, что мы понимаем под словом *культура*.

Данте в раннем произведении *Il Convivio* [Пир] 4-ю главу IV трактата начинает с внушительной фразы: «Lo fondamento radicale della imperiale maestà, secondo il vero, è la necessità della umana civiltà che a uno fine è ordinata, cioè a vita felice». «Глубочайшее основание императорской власти», то есть всемирной монархии, необходимость которой позднее Данте старался доказать в сочинении *De Monarchia*, «поистине лежит в потребности человеческого общества, устроенного ради единой цели: ради счастливой жизни». Так всего одно слово одаряет язык термином для обозначения культуры и одновременно обогащает наш дух смелым утверждением, что культура является необходимостью, что она должна быть общечеловеческой и служить достижению счастья. Как именно Данте понимал это счастье, речь пойдет ниже. Пока что, в связи с рассматриваемой терминологией, мы лишь констатируем, что итальянский язык благодаря Данте воспринял латинское слово *civilitas* в новом значении, которое еще не вполне осознавалось Античностью. Понятие *культура* было создано Данте так, что оно навсегда закрепилось в итальянском языке с такой ясностью и чистотой, как только было возможно. Немецкий язык прежде заимствовал французские слова с большей готовностью, чем в более поздние времена, и *Zivilisation* уже давно в нем стало вполне привычным. Сейчас его давно затмило и, как бы это выразиться, дисквалифицировало другое слово, уже ставшее для нас притчей во языцех: *Kultur*, культура.

Cultuur, в нидерландской форме этого слова, с начала нашего века почти вытеснило из употребления прежнее слово *beschaving*. Прекрасно помню, как, будучи приват-доцентом в Амстердаме с 1903-го по 1905 гг., я на своих первых лекциях произносил слово *cultuur* с некоторой неуверенностью, ощущая на языке несколько чуждый привкус. Оно звучало как некое ученое слово и выглядело необычно. Но я не мог без него обойтись и употреблял его достаточно часто, так же поступали вместе со мной и другие, и эта чужеродность быстро исчезла. Позднее я всё же заметил некоторое различие в смысловых оттенках понятий *cultuur* и *beschaving*, и первое из них оказывалось для меня во многих случаях предпочтительней. Во всяком случае слово *cultuur* стало в нидерландском языке вполне обычным, и в этом не может быть никаких сомнений. Но еще до того как нам, на какое-то время, со стороны навязали для официального употребления слово *cultuur*, — к тому же еще написанное через *K*, — я уже старался по возможности заменять его словом *beschaving*¹. Однако нельзя упорствовать: язык принадлежит сфере духа, а дух не позволено ни принуждать, ни давать ему указания. Уже тот факт, что *cultuur* образует прилагательное *cultureel* (так же, как во французском, английском, итальянском и пр.), в отличие от *beschaving*, делает в чистейшем нидерландском языке слово *cultuur* незаменимым; поэтому я отказался от своего пуристского намерения и в дальнейшем буду употреблять оба слова — и *cultuur*, и *beschaving* — так, как сочту уместным.

История термина *культура* связана главным образом с областью Hochdeutsch [немецкого литературного языка]⁵, и это слово там очень важно.

Значение латинского слова *cultura* в Античности еще не очень отдалялось от первоначального и буквального смысла, в котором мы употребляем его еще и сегодня в таких выражениях, как культура риса, культура бактерий и т. д., то есть — возделывание, уход, выращивание. Подобным образом такое значение могло распространяться и на предметы духовного свойства; так, у Цицерона

читаем: «*cultura animi philosophia est*» [«философия есть возделывание души»]. Во многих современных языках всё еще сохраняется преобладание непосредственного, аграрного значения слова *культура*. Во французском можно говорить о «*la culture des bonnes lettres, des beaux arts*» [«культуре изящной словесности, изящных искусств»]; это слово употребляется как самостоятельное в выражении «*leur culture était toute livresque et scolaire*»² [«их культура была вполне школярской и книжной»], но *la culture* вообще, в значении немецкой *die Kultur*, или нидерландской *beschaving*, едва ли встречается; во французском языке в этом значении употребляется *civilisation*. В английском оттенки значения этого слова опять-таки несколько иные. Английский язык слово *culture* в значении *культура* получил в дар благодаря бесподобной, хотя в своих основных положениях уже изрядно устаревшей книге Эдварда Б. Тайлора *Primitive Culture* [Первобытная культура] (1871). Но и в английском слово *civilization* остается безусловно преобладающим. *Culture*, слово, которое в основном служит для обозначения культуры отдельного человека, имеет в английском особый, тонкий оттенок; оно очень близко немецкому *Bildung* [образование, воспитание], хотя иногда встречается в значении культуры вообще, и даже во множественном числе.

Может показаться странным, что *Deutsches Wörterbuch* [Немецкий словарь] братьев Гримм ни в издании 1860 г., ни в издании 1873 г. не приводит слово *Kultur* ни на букву *C*, ни на букву *K*. Между тем оно, в значении культуры вообще, проникло в немецкий язык еще в XVIII в.; так, у Аделунга: «*Geschichte der Cultur*» [«история культуры»] (1782) и у Шиллера: «*die Morgenröthe der Cultur*» [«заря культуры»].

Редко судьба одного слова бывает настолько связана с каким-либо определенным произведением, как немецкое *Kultur* с сочинением Якоба Буркхардта *Die Cultur der Renaissance in Italien* [Культура Ренессанса в Италии]. Однако не следует думать, что великий швейцарец, который остается для меня одним из самых

глубоких умов XIX столетия, в 1859 г. сразу же завоевал рынок своим бестселлером. За несколько лет было продано всего 250 экземпляров. Слава Буркхардта являет собой один из тех редких случаев, когда она достигает своего взлета, собственно, лишь после смерти (1897) автора. Буркхардт в *Versuch* [*Опыте*], как он скромно назвал свое сочинение, придал одновременно и понятию *Ренессанс*, и понятию *культура* более глубокий и более благородный смысл, который обеспечил им блестящее будущее во всем мире. Слово *культура* самым естественным путем вошло почти во все языки, которые испытывали необходимость в этом понятии. Это слово связано с близким ему по смыслу словом *cultus*, которое происходит от того же корня, что и *colere*, *выращивать*, *возделывать*. Мы уже говорили о том, что во французском и в английском языках *civilisation* и *civilization* слишком глубоко укоренились, чтобы их могло вытеснить слово *culture*. Немецкий язык и литература, при их исключительном богатстве и многообразии, всё еще оставляли область понятия *Kultur* эквивалентом *цивилизации*. Но когда правительство Пруссии после 1871 г. начало проводить политику резкого и довольно грубого антиклерикализма, не кто иной, как Рудольф Вирхов во время предвыборной кампании 1873 г. ввел в оборот выражение *Kulturkampf* [*борьба за культуру*]. Слово, подхваченное либералами, явно было нацелено против Католической церкви, иронически именовавшейся «носителем культуры», хотя первоначально наделялось совершенно иным содержанием и было направлено также и против Бисмарка. Между тем канцлеру пришлось уступить, и выражение *Kulturkampf* в конце концов было забыто.

Слово *Kultur* фигурировало в науке, журналистике и художественной прозе всё более часто. После вышедшей в 1857 г. *History of Civilization in England* [*Истории цивилизации в Англии*] Бакла стали появляться первые, более популярные, сочинения по всеобщей истории культуры: работы фон Хелльвальда, Хенне ам Рина и других, а с началом Первой мировой войны в

1914 г. начался настоящий терминологический шторм. Но почти сразу понятие *Kultur* оказалось настолько тесно связано с немецким национализмом, что и само слово для очень многих вне Германии приобрело неприятный оттенок, что весьма повредило его интернациональному употреблению. Но затем, почти одновременно с окончанием войны в 1918 г., и понятие, и слово *культура* драматическим образом обрели новое будущее. Вышедший в свет *Untergang des Abendlandes*⁶, часть I, сразу же прославил имя Освальда Шпенглера. Он снова поднял проблему культуры на гораздо более высокий уровень, чем тот, где она могла вызывать национальное раздражение, и придал понятию *Kultur* содержание, которое для многих было преисполнено новизны и равносильно высвобождению. По мысли Шпенглера, *культура* есть первозданное, живое, благородное и органичное порождение человеческого духа в жизни людей, и в ней раскрываются все наивысшие силы и возможности определенного общества. С течением времени мы видим, как то в одном, то в другом народе находит воплощение феномен культуры. Но каждая из сменяющих одна другую культур, как полагает Шпенглер, после своего зарождения и расцвета неотвратимо обречена на угасание и упадок. Подобно живым организмам, культуры проходят периоды юности, зрелости, старости и умирания.

Прямой противоположностью *культуры* у Шпенглера выступает *цивилизация*. Эту последнюю он считает конечным продуктом культуры, когда та становится бесплодной, застывшей, — состояние, которое, в соответствии с его исходными взглядами, в конце концов неминуемо завершает культуру. Шпенглер пришел к выводу, что западная культура подошла к своей завершающей стадии и закоснела в холодном подсчете своих нужд и выгод, стала сухой и жесткой под обманчивым блеском машинизированного технического совершенства. По мнению Шпенглера, *Abendland* [Запад] уже не имеет сил, чтобы возродиться вновь; будущая культура должна будет возникнуть на другой почве, у более молодого народа, который еще сохраняет свою неистраченную и неиспор-

ченную первозданную силу. Таким народом Шпенглер, сформулировавший свои идеи уже в 1914 г., считал русских.

Увлекательное изложение, обширные знания, новизна взглядов буквально завораживали многочисленных читателей Шпенглера. Хотя появившаяся в 1922 г. II часть его сочинения вызвала гораздо более скромные отклики, противопоставление культуры и цивилизации было принято с таким энтузиазмом, что в Германии сразу же превратилось в более или менее официальную точку зрения. Для словаря Брокгауза выпуска 1931 г. это уже решенный вопрос: *Kultur* и *Zivilisation*, хотя и с небольшой оговоркой, противопоставляются одна другой, как *Inneres zu Äußerem, Gewordenes zu Gemachtem, Organismus zu Mechanismus* [внутреннее — внешнему, становящееся — свершившемуся, организм — механизму] и даже как *Zweck zu Mittel* [цель — средству].

Восторженный прием, сразу же оказанный сочинению Шпенглера, объясняется вовсе не понижающей книгу основной идеей о культурах как независимых мистических целостностях, наделенных своей собственной жизнью и последовательно проходящих стадии от юности до старения и смерти. Эту идею, насколько мне известно, никогда никто не принимал и даже серьезно не обсуждал. Характеристика современного человека как *Faustischen Mensch* [фаустовского человека] едва ли получила поддержку где-либо, кроме Германии. Что же касается противопоставления культуры и цивилизации, которое было принято с такой готовностью, то при ближайшем рассмотрении оказывается, что оно не было ни столь новым, ни столь неожиданным, как — под впечатлением блестящего, смелого и захватывающего изложения Шпенглера — показалось тогда столь многим его читателям. Культура как нечто самобытное, вырастающее в народе и из народа в непосредственном соприкосновении с природой, — что это как не идея, сформулированная Гердером еще в XVIII в., но только в новом обликии? Да и ожидание новой, приходящей на смену культуры из еще неведомых глубин русской души — эту

идею, и притом как священную догму, провозгласили еще в 1850 г. русские славянофилы.

И наконец — обесценивание термина и понятия *цивилизация*. Шпенглер, при всей своей грандиозной начитанности, недостаточно знал духовное наследие латинского и англосаксонского мира и, как следствие, не вполне понял тон слов *civilisation* и *civilization*. Нужно иметь в виду, что для немцев слово *Zivilisation* не звучит сколько-нибудь возвышенно, и не только потому, что является смешанной формой, относящейся ко времени преимущественного влияния французского языка. Для немцев слово *zivil* [штатский] — прежде всего свидетельство более низкого ранга по сравнению с *военным*. Высокая ценность латинского *civilitas* в значительной степени ускользнула от Шпенглера. И хотя *civiltà* лишь в итальянском языке вполне раскрыло свое значение как *культура*, в латинском это слово также уже обозначало высшие качества общественной жизни и стояло более или менее в одном ряду с греческим *παιδεία* [воспитание, образованность]. Противопоставление *цивилизация* — и *культура* Шпенглер неверно услышал как противопоставление низшего — высшему. *Цивилизация* говорит о человеке как о правопослушном гражданине государства, о человеке, который сознает свою полноценность. Она свидетельствует о порядке, законе и праве и исключает всякое варварство.

Наш обзор терминов, относящихся к понятию *культура*, приводит к следующему результату:

1. Слово *beschaving*, соответственно своему происхождению употребляемое исключительно в нидерландском языке и связывавшееся с такими понятиями, как *schaven*, *polijsten* [счистывать, полировать, отшлифовывать], — что послужило основанием для Абрахама Кёйпера в 1906 г. отдать предпочтение слову *cultuur* [культура], — связь эту уже давно утратило. Именно поэтому оно вполне способно выражать современное, широкое понятие *культура* в его полном значении.

2. Нидерландское же *cultuur*, с его основным значением *выращивать, разводить, возделывать*, имеет смысловой оттенок, который в слове *beschaving* отсутствует. В английском и французском языках понятие *culture* приобрело специфическое, более ограниченное значение. В немецком слово *Kultur* справедливо стало термином, обозначающим культуру вообще. Противопоставление *Kultur* и *Zivilisation*, которое делает Шпенглер, основано на недостаточном понимании последнего из двух этих слов и должно быть отвергнуто.

3. Нидерландское *civilisatie*, с точки зрения языка, — крайне неудачное словообразование. Жаль, что латинское *civilitas*, которое уже готово было стать всеобъемлющим понятием для обозначения культуры, не вошло в качестве такового в европейские языки, как того хотел еще Сэмюэл Джонсон, — если не считать итальянского, благодаря Данте. *Civilitas*, или *civiltà*, с такой чистотой выражает один из существеннейших элементов понятия культуры, а именно — сознание полноценного гражданства, что это слово могло бы служить одним из наиболее удачных обозначений феномена культуры.

2. Суть понятия и феномена культуры

Непосредственно к вопросу о терминах примыкает вопрос о сущности самого понятия. Что такое культура? Каковы предпосылки возникновения культуры? Как описать, как определить этот феномен? Мы так много (чересчур много) говорим о культуре, что редко можем дать себе отчет, насколько трудно точно сказать, что именно мы понимаем под этим словом, или перечислить элементы, образующие это понятие. Мы находимся часто под влиянием той решительности, с которой Буркхардт указал нам на триаду: государство, религию и культуру — как на совокупность общественных сил, которые главенствуют и, в их совместном воздействии, определяют историю. Сочинение *Weltgeschichtliche Betrachtungen* [Рассуждения о всемирной истории],

которое Буркхардт построил по этой схеме, было опубликовано, как мы помним, в 1905 г., уже после его смерти, и заглавие было дано редактором. Первоначально это были всего лишь заметки для курса лекций, который Буркхардт читал в Базеле сначала в 1868-м, а затем еще раз в 1871 г. Сейчас, спустя почти столетия, *Рассуждения* остаются одним из самых плодотворных произведений, подаренных нам современной исторической литературой.

Но является ли триада, которую представил нам Буркхардт, действительно столь явной и полной, как полагал великий швейцарец? Образуют ли государство, религия и культура те три компонента, которые в своем попеременном воздействии формируют историческую действительность, — и если да, то можно ли считать их равноценными? Возникает некоторое сомнение. Понятия *государство* и *религия* вполне определенно обозначают два четко очерченных фактора, которые мы тотчас же распознаем, как только с ними встречаемся. Культура, напротив, всегда остается крайне неопределенным понятием. Буркхардт также не пытался очертить более четко, что именно он вообще хотел понимать под культурой. Тот факт, что Буркхардт в своем представлении о культуре на первое место ставит ее эстетическую сторону, не должен никого удивлять. Странно то, что социально-экономическому аспекту культуры он почти совсем не уделяет внимания. Впрочем, всякий, кто попытается детализировать представление, сложившееся у него об определенной культуре, всегда обнаружит, что и для него также именно гармоничная взаимосвязь духовных ценностей составляет самую суть культуры. Мы все слишком хорошо знаем, что высокая степень научного и технического совершенства не является гарантией культуры. Для этого необходимы: прочный правовой порядок, нравственный закон и человечность — основные устои общества, которое и является носителем культуры. Наряду с этим наше представление об определенной культуре будет связано в первую очередь с достижениями в эстетической сфере, с произведениями искусства и литературы. Чем

более предосудительной кажется нам идея, которую Шпенглер решительно провозглашал, воспринимая культуры как мистические величины, живущие своей собственной жизнью, тем серьезнее встает вопрос, какова же степень реальности, которая присуща понятию *культура*.

Возможно ли какую-либо культуру, например, греческую, в том же смысле и с такой же уверенностью счесть столь же определенным явлением, как, скажем, государство Афины или культ Аполлона? Очевидно, нет. Как ни пытается наше воображение составить представление о греческой культуре из разнородных образов всевозможных конкретных вещей: из творений зодчества и ваяния, из звучания оживающих в памяти стихотворных строк, из имен персонажей *Илиады* или трагедий, — словом, из живых деталей, открывающихся слуху и зрению, — наше представление о греческой культуре в целом остается смутным, расплывчатым. Хотя феномен культуры отражает для нас историческую действительность, которая некогда существовала или даже всё еще существует, мы не можем осознать ее как некую сущность. Культура была и остается абстракцией, данным нами самими обозначением исторической взаимосвязанности. И с помощью слова *идея* мы не схватываем ее сущность: идея есть простое выражение духовного образа, который можно охватить мыслью. Мы чувствуем необходимость представить предметно любую культуру, увидеть ее как нечто реальное, исторически целое, но это желание всегда остается неудовлетворенным из-за ограниченности наших возможностей мышления и воображения.

II. ВОСТОК И ЗАПАД КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ

1. Античность этого дуализма не знает

Оставим теперь наши рассуждения относительно терминологии и понятия культуры и уделим внимание историческим вопросам подъема и упадка культур. Здесь сам язык вновь предостерегает нас: мы никогда не сможем вырваться из-под власти образных представлений. Мы не можем обойтись без таких понятий, как подъем, упадок, застой; к тому же каждый из этих терминов содержит конкретизацию, образное представление в формах органической жизни, чего мы искренне, но безуспешно пытались бы избежать.

В обычной речи мы, особенно не задумываясь, говорим о западной культуре, к которой относим культуру того обширного региона, в котором обитаем все мы, жители Европы и Америки. Совершенно очевидно, что выражение *западная культура* на самом деле не может иметь точного смысла; так же как и противоположное ему — восточная культура — никак не представляет собой чего-то вполне определенного. Культуры всегда свойственны лишь царствам, странам, народам — или, если мыслить хронологически, — определенным историческим эпохам. Стороны света, территории или континенты никогда не очерчивают рамки культуры. Не так легко, однако, отказаться от предубеждения, от идеи противопоставления Восток — Запад. Оно проявляется снова и снова, и примечательно, что воздействует на нас гораздо сильнее, чем противопоставление Север — Юг. И мы не можем не придавать значение словам Киплинга «East is East, and West is West»*

* Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet,
Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat;

.....
Rudyard Kipling, *The Ballad of East and West*.

или не говорить о «die Seele des Ostens» [«душе Востока»], сколько бы мало ни удавалось нам осознавать понятия, которые мы связываем с этими терминами.

Хотя здесь никак не может идти речь о противопоставлении двух внутри самих себя однородных культур, стоит постараться установить в общих чертах, как в ходе истории образовалось в нашем сознании это дуалистическое представление. Разделительная линия между Западом и Востоком в общем всегда остается совершенно произвольной; ведь она определяется тем, где именно располагается наблюдатель. Что же касается обозначений для Запада и Востока, нидерландский язык, так же как и английский, используют обычные названия стран света: *Oost* (*East*) и *West*. По-французски говорят: *Orient* и *Occident*, итальянцы всё еще употребляют порой *Levante* и *Ponente*, а немцы весьма охотно — *Morgenland* и *Abendland*. Попытка ввести слово *Orient* в нидерландский язык оказалась неудачной; здесь исстари существуют *de Oost* и, в более узком смысле, также *de Levant* и *de West*. Выражение *Avondland* также не прижилось в нидерландском языке, в его звучании слишком много восточного колорита.

В истории Античности, насколько она нам известна, никогда не наблюдалось ясно выраженного разграничения между Западом и Востоком. Ареной событий культуры изначально были Передняя Азия и Египет. Но Передняя Азия — Восток лишь с точки зрения европейцев. Культуры Античности строго привязаны каждая к определенному царству, стране или народу. Никакая другая культура не была так строго определена географически и так замкнута в себе самой, как египетская. Территория ее не менялась на протяжении веков, хотя своеобразие ее претерпевало многочисленные изменения, когда собственные династии сменялись сначала персидским владычеством, а затем эллинизмом, пока наконец и эллинизм, и римско-христианская культура не были принуждены уступить место исламу.

В резком контрасте с единством и замкнутостью культуры Древнего Египта находятся античные царства, народы и языки,

объединяемые регионом Двуречья. Археологические исследования открывают здесь нашему взору всё новые и всё более древние культуры. Примечательно двуединство культуры, которая некогда была связующим звеном между такими отдаленными областями, как Персия и долина Инда. Два столь близких между собой языка, как индийский язык *Вед* и язык *Авесты*, на котором было изложено учение Зороастра; две религии, первоначальная связь которых только сейчас стала известна в подробностях и которые, однако, так рано и так полностью разошлись, что только современные языковедение и археология смогли обнаружить тесное родство между ними, — где еще можно найти всё это вместе!

Чем дальше, рассматривая культуры Античности, мы перемещаем свой взгляд на запад, тем более сложным становится многообразие культур, которые распространяются на весьма ограниченную территорию — и при этом сильно отличаются друг от друга. Все древние культуры исчезли, большинство из них известны нам лишь по ничтожным фрагментам. Хотя государство хеттов и их язык вновь встают перед нами, да и Крит частично раскрыл свои тайны, мы очень мало знаем о Лидии, Карию, Фригии, о прочих государствах Малой Азии и даже о столь известной в древности Финикии.

Противопоставление Восток–Запад никак не прорисовывается при взгляде на взаимоотношение культур древней Передней Азии. Еще менее его можно заметить, обратив взгляд в сторону юго-восточной Европы или на весь греческий мир. Греческая культура классического периода вообще не имела географически четко определенных границ. Она охватывала острова вдоль побережья Малой Азии, ее влияние распространялось через Сицилию и Южную Италию вплоть до Массилии⁷, а когда впоследствии сложился мир эллинизма, в сферу греческой культуры вступили также Египет и Сирия. Разделение между Востоком и Западом прослеживается здесь еще меньше, чем прежде.

Лишь с возникновением Лациума и его крепкой крестьянской культуры, на первых порах еще ограниченной крайне узки-

ми рамками, чисто западный элемент появляется в обозреваемой нами картине древней истории. Но и здесь процесс протекает далеко не просто. Рим и латинский язык в течение столетий продолжали находиться в окружении непримиренных самнитов, цизальпийских галлов и других италийских народов, не говоря уже об этрусках, с их совершенно отличным языком и религией⁸. Уже в годы борьбы с опасным заморским врагом Карфагеном Рим обогащает себя плодами греческого духа и захватом греческих территорий. Затем его власть распространяется на западе вплоть до Галлии и на востоке вплоть до Сирии и Египта. В период перехода от Республики к Империи Римская держава уже теряет характер типично западного государства. Менее чем когда-либо древний мир под властью Римской империи определяется противопоставлением Востока и Запада.

2. Единство и многообразие позднеантичной культуры. Влияние христианства

Итак, существовала только одна Империя: государство, простирающееся от Гадеса до Пальмиры⁹. Все жители этого государства — подданные императора; они воздают ему божественные почести, платят налоги и, если того требуют обстоятельства, несут воинскую повинность в римской армии. Образует ли население Империи единый народ? Да, юридически они все вместе составляют *Populus Romanus*, но ни народом в теперешнем смысле, ни нацией они ни в коем случае не являются. Римское правительство позволяет многочисленным народам, которые находятся под римским владычеством, беспрепятственно жить на свой собственный лад, со своими языками и со своими обычаями. Когда император Каракалла в 212 г. предоставляет всем свободным жителям Империи римское гражданство, которое прежде даровалось испытаннейшим друзьям Рима как самая возжеленная привилегия, в уже сложившихся отношениях это почти ничего не меняет. Однако этим решением создается идеальная, чрез-

вычайно важная связь — объединяющее всех единое гражданство. *Civilitas romana* — отныне идея, в которой соединилось всё наиболее совершенное в земной жизни.

Можно ли культуру всемирной Римской империи назвать единой? Однородной она никак не была — она отличалась бесконечным разнообразием. Однако вовсе не лишено смысла воспринимать культуру Римской империи как некое целое, и именно потому, что понятие *культура* всё еще выступает во всей своей неопределенности и неопределяемости. Нам всё время следует помнить о том, что слово *культура* — не более чем печать, которую наше теперешнее восприятие ставит на традициях прошлого, — понятие, которое сразу же ускользает от нас, как только нам кажется, что мы его сформулировали.

Однако жители Римской империи прекрасно осознавали скреплявшие их всех духовные связи. Хотя латынь была родным языком лишь для меньшинства населения, она представляла собой инструмент духовного свойства, который в значительной степени объединял всё римское общество.

Было ли в конце концов решительное разделение между Востоком и Западом вызвано тем, что Константин перенес местопребывание правительства Римской империи на Босфор? Безусловно, нет. Мир поздней Античности и после этого оставался таким, каким он был: пестрым и разносторонним многообразием правовых обычаев и культур, никогда уже не повторявшейся в более поздние времена смесью Запада и Востока, объединенных верховной властью Римской империи.

Между тем в этой гигантской Римской империи уже более двух веков назад появился удивительный феномен христианства. И с самого начала оно обосновалось в самом центре Империи, в Риме. Оно проделало долгий, тернистый путь во все части Империи, среди презрения и поношений со стороны образованных римлян, большей частью смешиваемое с иудаизмом, который уже гораздо раньше, со времен рассеяния в период позднего эллинизма, навлекал на себя ненависть и оскорбления — нередкое

отношение других народов к иудеям, жившим на территории римского мира. Вера в Христа и Его Церковь, при непрекращающихся гонениях, повсюду завоевывает умы и сердца; несмотря на раздробленность и разобщенность, она одерживает победу над самым могущественным врагом, стоявшим на ее пути: не над одряхлевшим язычеством государственной религии, находившейся уже на пороге смерти, но над одурманивающей силой бесчисленных мистериальных культов, на протяжении веков проникавших в Рим. Одновременно христианство являет свою интернациональную силу, становится греческим с греками, латинским с римлянами, оставаясь при этом вселенским в подлинном смысле слова. Расхождение между христианством западным и восточным уже происходит, но еще не завершается. Город римских кесарей становится городом св. Петра; Церковь восточной части Империи устремляется к Александрии, Антиохии и Константинополю.

Римская империя, несмотря на все свои завоевания, от Британии до Персии, с самого начала была втянута в почти непрекращающиеся войны, связанные с обороной и защитой границ. Начиная с III в. это ведет к внутреннему политическому и экономическому застою и всё большей варваризации. Империю постоянно сотрясают нападения враждебных народов, и лишь постепенно самыми опасными становятся набеги германских племен. В течение долгого времени эти нападения еще можно было рассматривать как отдельные пограничные инциденты, не представлявшие серьезной угрозы для целостности государства. Но на протяжении V в. всё это принимает форму разрушения Империи, и на ее территории начинают возникать новые государственные образования — вестготов, бургундов, вандалов, остготов и франков. Новые властители, однако, всячески старались подчеркивать непрерывность существования в своих государствах Рима и римской культуры¹⁰. Они больше не имели связи с восточной частью Империи, но это вовсе не значит, что теперь они все вместе объединялись как Запад. Подобных представлений тогда вовсе не существовало.

Одним из важнейших событий в истории Европы, без сомнения, было то, что еще в середине VI в. император Юстиниан избрал для своего *Кодекса* не греческий язык, а латинский. Мы привычно считаем Юстиниана подлинным византийцем, греком по языку и по сути, но вот — он избирает язык Западной империи и тем самым дает последующей эпохе именно западный импульс, тот же самый, который престол св. Петра уже дал Церкви. Великие латинские отцы Церкви — Иероним, Амвросий, Августин и Григорий — закладывают основы Западного мира.

3. Запад к 600 г. Ислам

К концу VI в. древнее величие Рима и античная культура подходят к концу. Сам город находится в глубоком упадке и постоянной нужде. Лангобарды уже осели в Италии. Богатая Галлия уже почти столетие живет под властью королей Меровингской династии. Она может быть названа скорее варварской, чем германской, из честолюбия она хочет считаться всё еще римской. Поздние представители высокой античной культуры — Бозций, Сидоний Аполлинарий, тонкие, яркие поэты Пруденций и Клавдиан уже принадлежат прошлому.

С 590 по 604 гг. папский престол занимает Григорий I Великий. Его уже нельзя отнести полностью к античной культуре. Он один из первых, кто ненавидит пеструю и прекрасную фантазию Античности и презирает ее как языческую; он принадлежит к более грубоватой, народной культуре. Носителем бывшей античной утонченности скорее является его современник, колоритный поэт Венанций Фортунат, умерший вскоре после 600 г. в сане епископа Пуатье, ревностный заступник дочери короля Радегунды. Венанций Фортунат — автор гимна *Pange lingua*, который позднее изменил, придав ему более глубокий смысл, Фома Аквинский, а также гимна *Vexilla regis prodeunt*¹¹. В связи с Венанцием Фортунатом интересно было бы коснуться некоего примечательного момента истории.

Представим себе, что Фортунат к концу своей жизни устремляет взгляд на ближайшее будущее. Он видит, что Церковь Христова торжествует повсюду, ненавистное арианство лангобардов в Италии и вестготов в Испании искоренено¹², *Евангелие* получили англосаксы в Британии, Церковь Ирландии основывает множество монастырей и посылает святых в Галлию и Германию. Скажите ему, что не пройдет и десяти лет как жесточайший враг *Евангелия* появится в стране, о которой не известно ничего, кроме названия; у народа, который никогда не ощущал на себе дыхания Рима, Греции, Персии или Индии! И врагом этим будет один-единственный человек, заурядная личность, со многими слабостями, необразованный, но наделенный необычайной мощью истовой веры. Спустя немногие годы после его смерти адепты его учения отнимут у императора, в своем непотускневшем величии еще восседающего на троне, его ценнейшие владения к востоку и к югу от Малой Азии — Сирию и Египет. Они устремятся через Персию, с которой византийский император вот уже сто лет безуспешно воюет, дойдут до Индии и через Северную Африку до Испании. Христианская вера во всех этих странах будет уничтожена или унижена, и никто не сможет изгнать супостата из завоеванных им земель.

Так это и было: в 604 г. умер папа Григорий, примерно в это же время и Венанций Фортунат, а в 610 г., сорока лет от роду, Мохаммед начал проповедь своей веры. И раньше, чем к середине столетия большая часть завоеваний ислама уже свершилась.

4. Ислам также не отделяет Восток от Запада

Появление ислама, наряду с возникновением христианства, — поразительнейший поворот всемирной истории. Рассматриваемый с чисто исторической точки зрения, вне религиозных предпочтений, этот — второй — поворот выглядит еще более разительным, чем ему предшествовавший, потому что гигантские изменения в человеческих отношениях произошли в одном мес-

те, и столь бурно, словно могучий ураган пронесся там в мгновение ока; а также и потому, что весь ход этих событий в Аравии мы можем почти с фотографической точностью запечатлеть на экране истории.

В течение одного столетия после смерти Мохаммеда в старый мир вошла новая форма культуры, не ограниченная национальными рамками: культура мусульманских стран и народов, носителем которой явился ислам. Новая культура строится на древних основаниях культуры Передней Азии; она питается соками всего того, что некогда составляло духовные богатства Двуречья и Ирана; она черпает из сокровищницы эллинизма и Византии. На протяжении нескольких столетий культура ислама была более высокой и тонкой, чем христианская. Но речь здесь не о том, чтобы дать оценку этому удивительному феномену; нас интересует вопрос: был ли ислам тем, что окончательно разделило мир на Восток и Запад? Ответ гласит: нет, ислам не внес этого разделения. И именно потому, что сам, хотя и был порождением Аравии, вовсе не оставался чисто восточным явлением. Если Египет и Сирия относятся к Ближнему Востоку, то Северная Африка и Испания, разумеется, нет, и как раз Испания стала одним из самых сильных источников влияния мусульманской культуры на христианскую — в лице Аверроэса, который родился в Кордове и около 1200 г. умер в Марокко.

5. *Запад* возникает лишь как латинское христианство

Кратко говоря, термин *Запад* обретает смысл тогда, когда мы понимаем под ним латинское христианство, постепенно отдалявшееся в раннем Средневековье от тех стран, которые не считали Рим основанием христианской Церкви. Группу западных стран, признававших духовную власть Рима, можно в определенной степени рассматривать как единое целое. Этот Запад, однако, приобрел свои очертания не за счет естественных, географических или этнографических разделительных линий. Случайные

обстоятельства привели к тому, что Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, Словения и Хорватия приняли церковную власть Рима, тогда как Сербия и Болгария примкнули к греческой Церкви. Несколько сот лет продолжался этот процесс культурного расхождения, пока в середине XI в. окончательный разрыв между римской Церковью и константинопольским патриархом не стал свершившимся фактом.

В Средневековье разделительная линия между Востоком и Западом рассекала и христианский мир, и мир ислама, ибо Испания, Марокко, Тунис никак не могли называться Востоком. На христианском Западе расцвела культура, которую, несмотря на нерасторжимую связь с Античностью, можно назвать совершенно новой, — именно в ней коренится современная культура, та, которую мы называем нашей культурой. Из века в век, с тех пор как христианство полностью утвердилось в Западной Европе, культура переживает удивительный взлет. За время между эпохой Карла Великого и начальным периодом Священной Римской империи германской нации можно наблюдать бесспорный рост и расцвет почти во всех областях. Монастырская реформа аббатства Ключни¹³ означала в первую очередь всеобъемлющее, строгое углубление религиозной жизни. XI в. приносит с собой первые творения зодчества, которые мы называем романскими — не слишком удачное наименование для этого характерного стиля¹⁴. Непосредственно за ним следует готика — совсем уж плохое слово для такого, еще более ясного, стиля. Исключительно плодотворным веком для Запада стало XII столетие, век Бернарда Клервоского и Абеяра, век возмужавшего феодализма, новой лирики голиардов¹⁵ и трубадуров, расцвета городов и сменявших друг друга крестовых походов — блистательных, возвышенных и плачевных.

Мы вынуждены, однако, заставить себя не отклоняться от темы, так как было бы неразумно приводить здесь краткое описание истории западной культуры. Интересующий нас вопрос заключается в следующем: действительно ли во всем вышеска-

занном, как кажется на первый взгляд, мы имеем дело с явно выраженным историческим явлением, которое можно назвать западной культурой? И опять мы сразу же сталкиваемся с тем, что, говоря о *культуре*, совершенно невозможно определить это понятие, никоим образом не известное во времена, которые мы здесь рассматриваем. Мы сталкиваемся с дилеммой, которая нас приводит в тупик. Невозможно говорить о культуре средневекового Запада, или латинского христианства, вообще, потому что культура была различной в каждой стране, где она проявлялась. Но было бы еще более нелепо говорить о французской, итальянской или немецкой средневековой культуре. Ошибка содержится в недостаточности самой нашей способности познания истории. Мы стараемся охватить прошлое с помощью понятия, не отвечающего требованию очевидной и полной ясности; мы вынуждены довольствоваться термином, применение которого оправдывается только тем, что в нашем распоряжении нет ничего лучшего, удовлетворяться масштабом, *мерным знаком*, которым нельзя ни измерить, ни обозначить.

Поскольку мы не можем избежать применения не поддающегося анализу понятия культура, — а избежать этого действительно мы не можем, — постараемся пользоваться им по возможности осторожно и гибко. Мысли же наши устремим к сцене, где разыгрывалось это яркое зрелище, изобиловавшее событиями и персонажами.

6. Вклад различных народов в культуру Средневековья

а. Франция и Италия

В развитии культуры Средневековья, продолжением которой является наша собственная культура, сказалось поразительное сочетание и взаимопроникновение двух факторов: своеобразия каждого из европейских народов, носителей этой культуры, и охватывавшего их все, объединяющего фактора церковной жиз-

ни. Красота и мощь расцветавшей культуры Средневековья развиваются при обоюдном воздействии национальной связанности и межнационального воодушевления. *Национальный*, однако, здесь не следует понимать в современном смысле слова. Наций в теперешнем понимании среди народов Европы не было ни тогда, ни еще много веков спустя. Империи, государства и страны, по названиям которых именовали народы, политически были еще очень несовершенны. Однако все эти народы уже тогда имели собственный духовный облик, который определялся совокупностью их происхождения, государственной принадлежности, почвы, языка и традиций³. Картина Западной, Северной и Средней Европы уже в основном узнаваема; отдельные образования там большей частью носят сохранившиеся до наших дней имена, хотя в этих различных странах отсутствовало почти всё то, чем определяется политическое единство. Франция лишь после 1200 г. отвоевывает свои западные области у Английского королевского дома, который сам по языку и обычаям тогда был французским¹⁶. Граница между Францией и Германской империей номинально еще долго следовала течению Соны и Роны, и внутри самой Франции различия между областями *langue d'oïl* и *langue d'oc*¹⁷ во всех отношениях были очень значительны. Однако здесь уже чувствуется дух французской культуры, которая своими плодами обогатила Средневековье, как никакая другая. Прежде всего именно этот дух сделал возможным рост феодализма, который вовсе не был процессом упадка, но означал новый, прочный, долговременный порядок, одинаково выгодный в социальном, экономическом и политическом отношении. На французской почве выросло рыцарство, там сформировалась идея крестовых походов, выходцы из французской знати осели на завоеванных территориях Святой Земли. Французский дух породил новый эпос и новую лирику. Во Франции X в. возникло реформистское движение аббатства Клуни; там же были созданы два новых монашеских ордена: цистерцианцев и премонстрантов¹⁸. Наконец, главным образом французскому духу мы обязаны появле-

нием благороднейшего цветения Средневековья: романского и готического⁴ искусства.

Италия, с ее гораздо более древними традициями, ее непосредственной связью с великой Античностью, в течение нескольких столетий во многих отношениях оставалась позади Франции. Для других народов жители Италии большей частью продолжали оставаться ломбардцами, даже в областях, далеко отстоящих от мест, где обитали некогда лангобарды. После того как Италия освободилась от византийского влияния и избавилась от сарацинской угрозы, она стала в X в. объектом примечательной экспансионистской политики германских императоров, которая на ближайшие сто лет сделала немцев хозяевами в Риме; политики, которая вырвала папство из глубочайшего упадка и предписала ему законопослушность. Папа Григорий VII (1073–1086) был великим интернациональным деятелем; в ожесточенной борьбе за верховенство Церкви и против притязаний императорской власти он взывал ко всем королям и князьям, как большим, так и малым. В это время Южная Италия была захвачена норманнскими искателями приключений¹⁹. Она была отрезана от северной части страны, и одновременно была прервана старая связь с Византией. Между тем Италия гигантскими шагами преодолевала свое временное культурное отставание. Она успешно развивалась в социальном, экономическом и политическом отношении. Процветали города в Ломбардии, в Средней и Южной Италии; торговая мощь Венеции, Генуи и Пизы вскоре уже позволила им финансировать крестовые походы и создавать для этого флот; начался блестящий расцвет искусства. У Италии всегда было то преимущество, что, обладая разветвленной сетью старинных городов, которые вследствие ранней христианизации являлись резиденциями епископов, она к тому же повсюду ощущала связь со своим римским, этрусским или греческим прошлым и могла поэтому быстро возрождаться после каждого периода упадка, сколь глубоким он ни был. Италия, вопреки всем напастям, всегда оставалась питомником для духовного роста.

Городские и сельские органы управления там возникли так рано, что не оставили места для мощного развития феодализма. Италия внесла блестящий вклад в романское зодчество, тогда как к готике в основном отнеслась без внимания. Ее язык оставался настолько близок к латинскому, что Италия гораздо легче, чем какая-либо другая страна, могла непосредственно перенимать всё написанное по-латыни, будь то поэзия, духовная литература или римское право. Болонья в занятиях наукой оспаривает первенство у Парижа. И наконец, Италия, словно желая показать, что опередила Францию, дает миру св. Франциска, а затем, в 1225 г. — за год до того, как умирает святой из Ассизи, — Фому Аквинского.

Нам пришлось бы собрать воедино всё великое и прекрасное, чем отмечен средневековый Запад, чтобы отразить всё то, что принес с собой XIII в. для подъема культуры, и нужно бы называть то одну страну, то другую, чтобы не упустить ни одну из них. Ибо при имени св. Франциска сразу же приходит на память имя св. Доминика, и тем самым — Испания, вслед за Италией. Доминик, который как личность трогает нас гораздо меньше, чем тот, у кого была невестой Бедность, безусловно, не менее важен в деле созидания европейской культуры. Доминиканцы стали верными защитниками веры, богословами, носителями средневековой учености, вершиной которой стал Парижский университет. Орден доминиканцев сияет именем св. Фомы. Множество великих умов наложили свой отпечаток на XIII столетие. Если началось оно со св. Франциска, то завершили его — Роджер Бэкон и Дунс Скот, оба францисканцы, оба из Англии, которая не меньше, чем Франция и Италия, одаряла своими талантами Запад.

б. Англия

Оксфорд и Кембридж как научные центры едва ли уступали Парижу, не говоря уже об университетах Италии и Испании. Англия пока еще была на пути к величию иного рода, чем чисто ду-

ховному. Она была еще небольшим королевством, имевшим по соседству чужую, враждебную ей Шотландию. Англия еще не занималась ни морской торговлей, ни мореплаванием. Торговать у себя она всё еще предоставляла другим: прежде всего немецким купцам, нередко прибывавшим из Голландии, Зеландии и городов на Эйзеле, французам, бретонцам, испанцам. Если экономически Англия всё еще оставалась пассивной, то политически она уже укреплялась. При ее островном положении, два обстоятельства позволили ей как государству сохранять преимущество перед другими европейскими странами, которое она никогда не теряла.

Первое из них — это относительно небольшие размеры. Ни один английский город не лежит дальше семидесяти миль от моря. При недостаточности органов власти и средств сообщения средневековым государством можно было управлять до некоторой степени удовлетворительно, только если оно имело сравнительно ограниченные размеры. До некоторой степени, потому что всякое управление, каким бы оно ни было, тогда было крайне слабым. Условие, состоявшее в том, чтобы иметь территорию, ограниченную по размерам, Англия выполнила, и это шло ей на пользу.

Вторым благоприятным обстоятельством было то, что норманнское завоевание Англии значительно укрепило королевский трон и воспрепятствовало применению принесенной из Франции ленной системы во вред королю, вследствие чего монарх здесь не сталкивался с такими трудностями, как во Франции, и мог активно применять эту систему как мощный инструмент власти^{20*}. Поэтому при Генрихе II (1154–1189) и его сыновьях Ричарде Львиное Сердце (ум. в 1199) и Иоанне Безземельном (ум. в 1216) Англия по сути была почти абсолютной монархией. Верховное правосудие вершилось полностью централизованно. При этом королевская власть оставляла нетронутым местное самоуправление, и когда из Королевского совета развился Верховный суд, который в чрезвычайных случаях — для обычных дел имелись King's Bench [Суд королевской скамьи], Court of Exchequer [Суд

Казначейства] и Court of Common pleas [Суд общих тяжб] — собирався как Parliamentum [Парламент], то сельские общины, то есть графства, которые в Англии были свободны от воздействия со стороны сюзерена, а вскоре также и определенное число городов, получили право посылать в Парламент своих выборных представителей. Разделение Английского парламента на Верхнюю и Нижнюю палаты произошло лишь в XIV в. Magna Charta²¹ 1215 года не имела для английской правовой системы того выдающегося значения, которое начиная с XVII в. ей приписывали юристы и историки.

Значение всего этого не только для политической истории Англии, но и для истории культуры всего Западного мира, не будет отрицать ни один приверженец свободы и правопорядка.

В рамках латинского христианства государственная система в Средневековье во многих местах начала принимать прочную форму. Франция шла навстречу своему естественному единству, хотя процесс растянулся на несколько столетий. То же происходило и в Англии, которой неизменно удавалось с выгодой для себя находить благоприятное решение самых опасных конфликтов. Италия, целостная более чем любая другая страна Европы в географическом отношении, не смогла достичь политического единства из-за крайне запутанного комплекса обстоятельств, которые нами были уже отчасти затронуты выше и которые мы не можем здесь полностью перечислить. Для Испании, которая также представляла собой замкнутое целое уже в силу чисто природных условий, политическое единство, пусть даже с отделением Португалии, было всего лишь вопросом времени.

с. Немецкие земли, склонность к расширению границ

Немецкие земли, казалось бы, с самого начала были предназначены для того, чтобы сделаться мощным звеном складывающейся системы государств. При распаде обширного государства

франков чисто случайные обстоятельства обеспечили Германии большую самостоятельность в политическом отношении. Случайностью было и то, что именно с Германией в середине X столетия было связано возрождение императорского титула, который Карл Великий выудил из церковной традиции^{22*}. Этот титул звучал всё еще как *Imperator Romanorum*, а еще лучше — *Imperator tout court**, и его относили к христианскому кесарю, которого Августин в трактате *De civitate Dei* [О граде Божьем] видел земным монархом, долженствующим править, доколе будет существовать земной мир. С достоинством подобного титула поэтому теоретически связывались притязания на безграничное расширение императорской власти, которые в любой момент могли превращаться в действительную политику.

Событие такого рода произошло, когда Оттон I в 951 г., по вполне случайному поводу, впервые вступил в Италию. Вскоре после этого германский император, опираясь на верных ему епископов, уже полностью располагал поддержкой Престола св. Петра. Молодая германская империя на востоке доходила всего лишь до Эльбы, по другую ее сторону всё было славянским и языческим. Основными германскими землями были Рейнская область, Франкония, Швабия, Бавария и не в последнюю очередь — обширная нижненемецкая область, которая в совокупности носила древнее название Саксонии. Эта большая Германия хранила в своем немецком языке и своем характере немало культурных сил для будущего. Однако она имела один недостаток, которому со временем предстояло стать для нее роковым. Недостаток состоял в том, что природа не предоставила немецким землям столь же отчетливых рубежей, как Италии, Великобритании и древней Галлии по эту сторону Альп, не говоря уже о Пиренейском полуострове. Германские земли в широком смысле слова, если не встречались с побережьем Северного моря или с Францией, почти везде граничили с областями более низкой культуры. Таким

* Просто *Imperator* (фр.).

образом, для Германии почти во все стороны открывались возможности экспансии и колонизации.

В XII в. области к востоку от Эльбы путем систематической и грубой колонизации были отторгнуты у славянских племен и завоеваны для Церкви. Тем самым, не считая местности вдоль Хафеля и Шпрее, где жили венды, всё было полностью германизировано или регерманизировано²³. В приграничных землях Богемии немцы жили уже давно, теперь они группами проникали вплоть до Трансильвании и основывали там немецкие города. Экспансия немецкого языка и обычаев, безусловно, заметно улучшила жизненный уклад в этих землях. Она, однако, увеличила риск недостаточности определенных границ, который уже был свойствен Германии. Риск возрос еще больше, когда в XIII в. последовало расселение немцев вне пределов самой Германии, и уже в новой форме. Теперь это были не крестьяне, которые по призыву епископа обосновывались среди язычников-славян Гольштейна или Мекленбурга, как это практиковалось в XII в. Своеобразный плод священного древа крестовых походов, сплоченные военные отряды рыцарей и братьев Немецкого ордена, и другого, родственного ему²⁴, захватывали балтийские земли, где жили язычники: литовцы, пруссы²⁵, латыши и эстонцы; немцы их подчиняли себе, но также и насаждали культуру. В XIV столетии пошла в ход нелепая затея князей и баронов из Франции и Нидерландов, которые из рыцарской удали, почти не прикрываясь плащом ревнителей веры, вторгались на территорию Пруссии, чтобы лишить жизни сколько-нибудь язычников. Впрочем, еще до конца столетия продвижение турок-османов, а также подъем сильного Польского государства положили конец этой прискорбной рыцарской моде.

Сколь бесценным ни было бы значение немецких поселений на Балтике для европейской культуры, — пока через семьсот лет, ради кажущихся сиюминутных военных интересов, они не были бессмысленно уничтожены²⁶, — они внесли свой сомнительный вклад в отсутствие границ немецких земель, что привело к дол-

говременной слабости государственной системы Европы. Ибо в основном именно из-за этого Германская империя с XIII в. отставала в политическом развитии от других стран Западной Европы. При Фридрихе Барбароссе (1152–1190) и его сыне Генрихе VI (ум. 1197), с их императорским титулом, Германия могла пользоваться определенными имперскими преимуществами, как бы ни были этим недовольны другие страны. Упорные попытки овладеть также Италией, в которую один за другим норовили вцепиться германские императоры, скорее препятствовали, чем содействовали достижению чаемого превосходства. Тогда еще могло казаться, что германская власть сможет сохранить высшее положение в латинском христианстве. Германский вклад в построение средневековой культуры был довольно значительным. В создании церковной организации германские страны во многих отношениях опережали романский Запад. Участие Германии в создании новых форм строительного искусства было весьма заметным. Развитие городов и торговли было здесь не менее живым и плодотворным, чем во Франции или во Фландрии. В сравнении с королями Франции, которые лишь к 1200 г. с трудом распространили свою власть на крупные феодалы короны и уже на левом берегу Роны наталкивались на германские земли, германские императоры были бесспорными властителями всех немецких земель, до которых доходили верхне- и нижненемецкий наречия. Если бы Германская империя в XI и XII столетиях управлялась чредой благоразумных и сильных монархов, которые видели бы свою задачу в процветании немецких земель и которые своею сильною властью сплотили бы германские племена саксов, франков, швабов и баварцев, пока для этого еще было время, тогда Германская империя давно обогнала бы Францию в политическом отношении. Таких мудрых и счастливых правителей в Германской империи, однако, не нашлось ни среди королей салических франков, ни среди Штауфенов²⁷.

Но и политические успехи Германской империи не могли бы повернуть вспять стремительный поток средневековой куль-

туры Европы. Все мощные движущие силы культуры исходили из романских Запада и Юга. Французское дворянство основало и заселило латинские государства в Святой Земле. Перевес Франции и Италии почти в каждой духовной области невозможно было бы устранить, сколь благородным и плодотворным ни был бы вклад немецкого духа в развитие средневековой культуры. Иное развитие, отличное от того, которое имело место в действительности, можно представить себе только в политическом плане.

Для развития европейской государственной системы было несчастьем, что Империя еще до конца XII в. утратила свою немецкую базу. Фридрих Барбаросса распятил свои силы в борьбе на три фронта: против городов Ломбардии, против папы Александра III и против северогерманских земель, находившихся под властью Генриха Льва из династии Вельфов²⁸. Только последний конфликт имел чисто немецкий характер. Притязания сына Фридриха, Генриха VI, жестокого деспота, обуреваемого имперскими фантазиями, уже вовсе не распространялись на германские земли. Они были направлены на господство над Южной Италией и на завоевание областей Византии. Преждевременная смерть Генриха в 1197 г. положила конец этим дерзким стремлениям, и вместе с ними — раннему германскому империализму, который уже тогда принес немцам со стороны прочих народов скорее гордое пренебрежение, нежели безропотное почитание.

Императоры, с их политикой чересчур высоких целей и слишком далеких захватов, сами подвергали опасности прочность своего положения на немецкой земле. Множественность и разнообразие германских племен и мест обитания само по себе вовсе не было фактором риска, скорее напротив. Средневековый монарх, на столь протяженной территории, как немецкая, при всем желании мог быть не более чем верховным правителем многочисленных, замкнутых в самих себе областей. Различия между отдельными немецкими областями были никак не больше, чем

между Бургундией и Нормандией или Аквитанией и Лотарингией во Франции. Беда, однако, заключалась в том, что как раз в то время, когда монархии в Англии и во Франции осознавали в качестве важнейшей задачи короны объединение различных частей страны и слияние различных групп населения, германские императоры всё более заметно выпускали из рук власть над отдельными областями империи: герцогствами, графствами, епископствами и даже городами и имперскими аббатствами. Фридрих II Гогенштауфен (1215–1250), который правил Неаполем и Сицилией, будучи в большей степени сицилийцем, чем немцем, и которому из-за его удивительной многосторонности современники дали прозвище *stupor mundi* [изумление мира], с исторической точки зрения был, однако, личностью совершенно бесплодной и, в противоположность Людовику Святому, своему современнику, ничего непреходящего после себя не оставил²⁹. И именно Фридрих в 1232 г. утвердил *Constitutio in favorem principum* [Постановление в пользу князей], закон, который исключал наиболее значительных вельмож из среды остальной знати и — как князей — наделял их исключительными правами. Император создал тем самым предпосылки для заката императорской власти, начавшегося вскоре после его смерти, и одновременно для всё более углубляющегося раздробления Германии на небольшие государственные образования сельского или городского типа. Уже столетие спустя процесс распада сделался необратимым; Золотая Булла³⁰ 1356 г. только закрепила его.

7. Раздробление Германской империи

Расщепление Германии на бесчисленные политические единицы, лишь слабыми узами связанные с имперской властью, достигшее своей высшей точки в момент заключения в 1648 г. Вестфальского мира³¹, в истории чаще всего определяется исключительно как несчастье и в определенном смысле бесчестье для немцев. С чисто политической точки зрения против этого суждения мало что

можно возразить. Конфигурация латинского Запада, без сомнения, была бы более здоровой и гармоничной, если бы уже в Средневековье, наряду с такими сильными государствами, как Франция, Англия и Испания, имелась и прочная Германия — вместо политического монстра под названием Священная Римская империя. Однако рассмотрение этого вопроса с точки зрения ценности и здоровья западной культуры в целом приводит к совершенно другому мнению.

Раздробленность Германии никак не препятствовала тем великим достижениям, которыми мировая культура обязана этой стране, — а некоторым так даже способствовала. Представить себе, например, Гёте в едином германском государстве просто немыслимо. Всё то, что придает непреходящую ценность вкладу германского духа в культуру, не было бы ни более великим, ни более прекрасным, ни более благотворным, если бы возникло исключительно в некоей большой и единой Германии. К достопамятным достижениям мы не причислим полученный в результате войны успех, который продержался несколько столетий, а затем в результате другой войны был утрачен. Но обратимся к непреходящей, неоспоримой ценности собора в Бамберге, вспомним о Николае Кузанском, Лютере, Дюрере, Бахе, Якобе Гримме — и спросим себя, разве получили бы эти творческие личности некий дополнительный импульс, если бы за ними стояло более сильное, единое государство? Разве это обогатило бы чем-нибудь остальной мир? Быть может, если культура наша вообще не погибнет, скоро наступит время, способное оценить существование малых государственных величин.

Крохотные немецкие государства, даже те, которые своим возникновением были обязаны удачному брачному союзу или наследству, очень быстро делались маленькой родиной для своих жителей, местом, в котором ограниченное сообщество чувствовало себя как дома и с которым каждый человек ощущал свою связь. Лишь немногие из всех этих небольших или совсем крошечных государств были основаны на этнической общности,

единстве территории или наречия; большинство из них образовалось в результате событий политического характера. Но независимо от степени естественной однородности, они, именно в замкнутости своих тесных границ, становились идеально управляемыми единицами и подлинными рассадниками настоящей культуры. Однако их желание придать себе особую важность, их склонность образовывать лиги или объединяться в союзы и стремление вмешиваться в большую политику ввергали их в бедствия, подобные Тридцатилетней войне. Они обладали теми же пороками, что существуют в любом человеческом обществе. Нередко они имели в качестве правителей недалеких князей, которые, уделяя внимание исключительно вопросам первенства или своим метрессам, безрассудно расточали богатства этих карликовых владений. Они принимали французское золото — столько, сколько предлагал им великий Людовик³², и по малейшему поводу предавали друг друга. Но они же давали миру то Баха, то Гёте. В конце концов пришел Наполеон и свел примерно 1.800 германских государств к небольшому числу. И лишь будущие поколения смогут решить, в какой степени было преимуществом и для самой Германии, и для европейской культуры то, что два с половиной десятка государственных единиц, которые в 1815 г. еще с заметной долей самостоятельности возродились в Германском союзе, Бисмарком были скованы прочными и принудительными имперскими узами, — при всё еще значительном сохранении своего места и своеобразия, — чтобы затем, в последующие годы, быть лишенными своего имени ради идеи единого, полностью централизованного громадного государства.

III. РОСТ И УПАДОК КУЛЬТУРЫ

1. Рост, упадок, вершины — всего лишь расплывчатые понятия

Понятия *рост* и *упадок культуры* настолько очевидны, что нам кажется возможным оба эти явления почти с математической точностью увидеть в истории. Но если попытаться сравнить под этим углом зрения ряд сменяющих друг друга эпох, то окажется, что оценить, был там подъем или упадок, вовсе не так просто, как можно было подумать.

Латинское христианство, которое, если угодно, можно называть Западом, за века, последовавшие за Античностью, породило юношески энергичную культуру, полную творческой мощи. Различаясь от страны к стране и от народа к народу, вносящих в нее свой вклад, она всё же может в определенном смысле считаться единой. Это цельный духовный организм, выросший на почве римской Церкви и ее языка, латыни. Сокровища этой культуры, в своем происхождении и развитии, были связаны с определенной страной и народом, но в конечном счете порождены не страной или народом, но творческим вдохновением своих создателей.

К концу XIII в. возведение здания новой Европы в основном полностью завершилось. Все наиболее заметные страны Европы, за некоторым исключением, обрели индивидуальное своеобразие и с тех пор уже его не теряли. Начиная примерно с 1300 г. история Запада из века в век развивается как непрерывный и вполне обозримый процесс, в котором теперь находимся и мы сами. Нам ни в коем случае нельзя забывать, что наше понятие *культура*, как мы уже раньше показывали, определено весьма недостаточно. Мы даже не можем перечислить, что к этому понятию относится и что нет. Понятие *культура*, как и многие другие понятия истории, остается полезным и оправданным только потому, что вместо него мы не можем придумать ничего лучше-

го. Правом на существование оно обязано лишь некоей приблизительной общей понятности — в сочетании с богатством воображения, которое сразу же пробуждается, стоит нам только подумать о какой-либо черте этого большого явления⁵.

Возможно ли этот грандиозный духовный процесс, простирающийся со времен Средневековья вплоть до настоящего времени, измерять по шкале понятий роста или упадка? Давно уже позади то время, когда мы думали, что словом *прогресс* уже всё сказано, — или верили, что век Просвещения навсегда разогнал темные силы. И всё же еще совсем недавно огромное большинство мыслящих людей на Западе были убеждены в том, что со времен Средневековья наша культура неизменно возрастала и без помех устремлялась ко всё более высокой степени совершенства.

Было бы глупо вообще не видеть в период с 1300 по 1900 гг. картину подъема культуры — при условии понимания того, что видеть мы будем не более чем картину. Как только мы пытаемся придать понятию *подъем культуры* какой-либо конкретный масштаб, оно утрачивает почти всякую ценность. Мы всякий раз наталкиваемся на досадную неопределенность нашего представления о самой культуре. Даже если несколько изменить подход к этой проблеме и задаться вопросом о высших точках культурного развития, нам тоже не на что будет опереться. Определенные моменты времени, в которые вся культура одной страны или Запады в целом достигала своей высшей точки, установить невозможно. Если я скажу, что высшей точкой считаю Ньютона, то вы, возможно, укажете на Бетховена, и это означало бы, что оба мы говорим о совершенно различных вещах, и поэтому совершенно впустую.

2. *Подъем культуры* в приложении к периоду XIV–XVI вв.

Давайте, начав с XIII в., при беглом взгляде на последующие столетия, уделим немного времени вопросам подъема и высших достижений культуры. Рискнет ли кто-нибудь XIV век в целом

определить как время подъема культуры — в сравнении с веком XIII? Время безмерной смуты в государствах и в умах, век начавшейся Столетней войны, вторжения в Европу турок-османов, Золотой Буллы и черной смерти³³, папства, сначала в Авиньонском пленении³⁴, а затем раздираемого Великой схизмой Запада; можно ли это время считать периодом подъема, в сравнении с веком Франциска Ассизского и св. Фомы, пышного расцвета готики, веком Данте до его «*mezzo del cammin*» — что для него самого ни в коей мере не было половиной пути³⁵? Имя Данте самым временем его жизни (1265–1321) предостерегает нас: глупо отмерять всё веками. Мы никак не можем вырваться из этой дилеммы и постоянно сталкиваемся с подобным противоречием. XIV в. был велик по-своему. Ряд имен сразу же выстраивается рядом с именами предыдущего века: Петрарка, Рюйсбрук, Майстер Экхарт, два удивительных поэта — автор поэмы *Piers Plowman* [Петр-пахарь] и автор прения *Ackermann aus Böhmen* [Пахарь из Богемии]³⁶, Чосер и все эти художники от Джотто до Слутера! Но здесь нам угрожает новая путаница: в конце концов, речь ведь не о числе и значении наипервейших умов, но о духовном содержании времени во всех его проявлениях. Ранее я уже попытался рассмотреть обширный срез позднего Средневековья с точки зрения увядания и умирания культуры. Однако все обобщающие исторические суждения такого рода сразу же замирают у нас на устах, стоит лишь на мгновение представить пеструю череду множества своеобразных вещей, которые нам особенно дороги в той или иной эпохе. Таковы понятия подъема и упадка культуры, остающиеся всегда колеблющимися и неопределенными.

Сопоставим XV век с веком XIV. В этом случае явно возникает побуждение говорить о подъеме культуры. Здесь это имена ван Эйка и Донателло, весь ранний Ренессанс, Николай Кузанский, наконец — мореплавания на восток и на запад, которые захватывают наше воображение и не могут не влиять на наше суждение. Теперь уже, пожалуй, нельзя отрицать, что люди XV столетия больше умели, больше знали, больше могли и больше де-

лали, чем люди века XIV. Они в большей степени раскрывались как личности, они в большей степени овладевали природой, чем их предшественники. Но были ли они лучше, справедливее, мудрее и человечнее? И суждение наше колеблется. Нас охватывает всё то же разочарование: сам вопрос поставлен неверно. Но на сей раз есть одно культурное завоевание, которое сразу же перетягивает чашу весов: XV век принес Западу книгопечатание. Книгопечатание — это нечто чрезвычайно весомое, ибо оно изменило весь характер западной культуры.

Почти все высокие культуры, известные нам с самых древнейших времен, я назвал бы письменными культурами, то есть сообществами, где письменное слово выступает средством передачи духовных ценностей. В наибольшей степени это относится к культуре Египта и различным культурам Передней Азии и Китая. Одно исключение, словно из желания доказать, что высокая культура вовсе не неразрывно связана с письменностью, являет нам культура Передней Индии, создавшая *Веды* и всё то, что более или менее непосредственно из них вытекает, вплоть до буддизма. У индийцев священное слово могло быть передано исключительно устно, и в Передней Индии сравнительно поздно письменность стала носителем культуры. И греческая, и римская культуры с самых ранних времен были в высокой степени письменными культурами, и даже во времена глубочайшей варваризации Римской империи, в VII в. от Р. Х., когда латынь документов порой напоминает школьные упражнения, которые еще не попали на глаза учителю, письменный характер складывающейся латино-христианской культуры не был утрачен. Само письмо как искусство порой достигает высочайшего совершенства именно в ранний период, о чем свидетельствует монастырская культура Ирландии. Однако чтобы определить, в какой степени культура основывается на письменности, нужно обратить внимание не на каллиграфию, а на то, какую именно функцию выполняет писаное слово в данной культуре. Поэтому одновременно может происходить то, что в позднем Средневековье пись-

мо становится всё более небрежным и трудночитаемым, ибо оно занимает слишком большое место в жизни, а письменный характер культуры именно поэтому становится всё более отчетливо выраженным.

Затем в середине XV столетия неожиданно появляется книгопечатание, и письменный характер культуры усиливается в такой степени, которую современники не в состоянии были ни вполне осознать, ни даже предположить. Книгопечатание не сразу завоевывает полностью свою территорию. С одной стороны, это новое искусство уже на самых первых порах создает такие великолепные вещи, как Гутенбергова *Библия*. В то же время печатание книг поначалу не выходит за рамки народного спроса, поскольку утонченный вкус книголюбцев не терпел присутствия в библиотеке печатных книг, которые считались недостаточно ценными. Так же как распространяющееся примерно в это же время искусство гравюры, книгопечатание охватывает прежде всего дешевые издания в основном назидательного характера, предназначенные для широкой публики, и лишь по прошествии полувека полностью осваивает всё поле графического многообразия. Именно это и дает право, при взгляде на завершающееся Средневековье, без обиняков говорить о подъеме культуры. Книгопечатание сообщает культуре, если можно так выразиться, дополнительное измерение.

XVI столетие открывается нашему взору в столь ярком свете грандиозных культурных достижений почти во всех областях, неслыханных нововведений, расширения горизонтов известного мира, бесспорной духовной зрелости, углубления знаний, увеличения возможностей, словом, во всем блеске Ренессанса, Гуманизма, Реформации, Контрреформации, что вывод о всеобщем подъеме культуры представляется неизбежным. Слово и образ, проза и поэзия появляются в такой изобилии и отличаются таким вкусом и выразительностью, что человек этой эпохи кажется нам гораздо более понятным и более близким, чем люди предшествующих столетий. Благодаря вновь обретенному знанию

греческого языка раскрылись новые области духа. Мир расширился и продолжал расширяться благодаря всё более дальнему мореплаванию и всё новым открытиям. В отдельных областях искусство достигло вершин, к которым уже никогда больше не в состоянии было приблизиться, и именно в графике, тогда еще такой юной: ксилографии, гравюре на меди; это — Дюрер, Хольбайн, Голциус и сотни других. И наконец: здесь проявились новые силы, мощные в своем росте; они и раньше не отсутствовали полностью, но оставались в тени: неукротимое стремление к проникновению в тайны природы, как оно сказалось у Леонардо да Винчи или у таких великих фантастов, полных идей и видений, как Парацельс и Кардано³⁷.

При том что, рассматривая всё в совокупности, было бы трудно отрицать превосходство XVI в. над веком XV, вопрос, в чем же именно заключалось это превосходство, остается всё-таки без ответа. Сделались ли люди, все вместе являвшиеся носителями культуры, лучше, мудрее, справедливее, милосерднее — в сравнении с предшествующим поколением? Были они менее жестокими, менее вероломными, более честными, умели они лучше владеть собою? Никто не сможет этого утверждать. Понятие *подъем культуры*, в приложении к целому периоду времени, ускользает от нас, как только мы пытаемся им оперировать. Если это понятие вообще применимо, оно должно было бы приниматься всерьез по отношению к наиболее существенному и в то же время наиболее поверхностному фактору общественного устройства — политической жизни. Именно здесь XVI в., по сравнению с XV в., многим несомненно покажется шагом вперед. Они, вероятно, укажут на политических мыслителей вроде Макиавелли и Жана Бодена или на государственных мужей вроде Вильгельма Оранского и действительно найдут у них повышенное внимание к политическим вопросам и более выраженную способность их формулировать, что прежним деятелям было несвойственно. Но если поставить вопрос несколько по-иному, а именно: чем политика XVI в. действительно отличается от по-

лирики XV в., другими словами: стало ли государственное управление более эффективным, направлялась ли общественная жизнь более целесообразно, — выводы будут весьма шаткими. Картина политической жизни XV в. являет нам следующее: надолго затянувшийся процесс прекращения Столетней войны, которую вели англичане во Франции; захваченный турками Константинополь; запутанный конфликт между Людовиком XI и Карлом Смелым; объединение Испании; многочисленные смены власти в Италии, не приводящие ни к какому длительному результату и завершившиеся интенсивными иностранными вторжениями, и наконец, значительно укрепившаяся королевская власть в Англии и — в меньшей степени — во Франции.

К 1500 г. военное искусство стало значительно более эффективным. Стали возможны крупные политические предприятия, и любой повод жадно использовали для их проведения. Неспособный король Франции Карл VIII в 1494 г., без какого-либо иного предлога, кроме сомнительного притязания на наследство, выступает в Италию, чтобы завоевать Неаполитанское королевство. Поход кладет начало череде совершенно бесполезных и ненужных войн, которые Карл V и Франциск I вели из-за Италии. Здесь впервые конфликты между вовлеченными в Лигу странами^{38*} вырастают в настоящие международные столкновения. Собственно говоря, во всей истории Европы нет, пожалуй, более незначительных и неясных глав, чем эти прославленные войны из-за Италии, надолго остававшиеся коронным номером всеобщей истории. Одно из сражений, битва при Павии в 1525 г., совершенно незаслуженно получило мировую известность. В результате этой битвы Франциск I оказался в плену в Испании, и уже через несколько лет всё это совершенно утратило какое бы то ни было значение, а затем должны были последовать еще три войны, которые в 1559 г. привели к печальному результату: лучшие области Италии подпали под господство Испании. Лишь известная инерция взглядов всё еще удерживает внимание столь многих историков на эпизодах, которые не свидетельствуют ни

о подъеме культуры, ни о действительном прогрессе в политической жизни. Весь политический жизненный путь Карла V — если посмотреть на него с расстояния в несколько столетий — означал едва ли что другое, чем ряд неожиданных счастливых случайностей в начале его царствования, и тотчас же — почти непрерывные промахи, недалёковидность и бесконечные неудачи. Карл V, ни больше ни меньше, практически уничтожил империю. Что касается Реформации, он был не в состоянии ни понять ее, ни с нею бороться. Своему сыну он оставил Испанию, которая лишь по видимости вступала в свое звездное время, будучи во всех областях разьедаема упадком и слабостью. Кортес и Писарро вряд ли годятся на то, чтобы сделать из Карла V героя культуры.

Два события XVI столетия, помимо своей политической стороны, имеют бесспорно глубокую культурную ценность: восстание Нидерландов и борьба Англии против Испании, обуреваемой тогда безрассудной жадой вселенской власти.

3. Humana civilitas.

Великие — или счастливые эпохи?

Результат беглого сравнения нескольких следовавших друг за другом столетий таков, что вершины культуры не суть измеримые величины, и поэтому нет никакого смысла в том, чтобы и для трех последующих веков продолжать такое сравнение. Скорее нам стоит вновь обратиться к тем словам Данте, в которых он, придавая первостепенное значение необходимости человеческой культуры, полагал, что она направлена к одной цели: счастливой жизни. Здесь прежде всего следует вспомнить о том, что *civiltà* Данте, по сути, не вполне соответствует нашему теперешнему понятию *культура*, которое, как мы уже видели, лишь четыреста лет спустя было сформулировано в различных языках в том специфическом, но всё еще далеко не точном смысле, который мы придаем ему сегодня. *Civiltà* Данте всё еще очень близка

латинскому *civilitas*; хотя это понятие охватывало уже всё то, что мы называем культурой, оно обозначало также, и отнюдь не в последнюю очередь, гражданственность и всё то, что из нее вытекало: уравновешенное поведение, любезность, мягкость нравов и т. п. В высшей степени важно, что для Данте необходимость *civilitas* касается человека вообще. Ведь именно эта необходимость, говорит он, есть основа имперского величия, которое, как священный фундамент всего человеческого общества, для Данте означает сосредоточенное в одних руках мировое господство — идеальную Монархию, никоим образом не определяемую случайно в то время властвующим императором Священной Римской империи, хотя этот император и является ее символическим представителем⁶. Утверждение, что настоятельное требование всеобщей культуры является основой всякого общества, остается одним из наиболее значительных высказываний, которыми мы обязаны несравненному гению Данте.

Civilitas humana, говорит он, имеет перед собой одну цель: счастливую жизнь, *vita felice*. Столь бесхитростно намеченная устремленность к счастливой жизни может поначалу показаться странной. Ведь Данте лучше, чем кто-либо другой, знал, как мало счастья в жизни и отдельного человека, и всего общества. Однако следует хорошо понимать, что он имеет в виду, говоря о *vita felice*. Это вовсе не плоский идеал наслаждения, досуга или довольства. Что это такое, объясняет нам его *De Monarchia*, III, cap. 16. «Итак, — говорит он, — две цели поставило перед человеком неисповедимое Провидение, а именно: блаженство (*beatitudinem*) здешней жизни, заключающееся в проявлении собственной добродетели и знаменуемое раем земным, и блаженство вечной жизни, заключающееся в созерцании Божественного лика, до которого собственная его добродетель подняться может не иначе, как при содействии Божественного света, и об этом блаженстве позволяет нам судить понятие небесного рая. До этих двух блаженств, как до двух разных заключений, нужно доходить при помощи различных средств. Ибо до первого мы доходим путем философ-

ских наставлений, следуя им и действуя сообразно добродетелям моральным и интеллектуальным. До второго же — путем наставлений духовных, превосходящих разум человеческий, следуя им и действуя сообразно добродетелям теологическим — вере, надежде и любви»^{*}.

Итак, цель культуры сводится к нравственному, религиозному, интеллектуалистскому идеалу, интеллектуалистскому в том возвышенном и неопровержимом смысле, который придавала этому слову схоластика. Данте в своем представлении о цели человеческой культуры ни в коей мере не впадал в дешевый культурный оптимизм на основе эвдемонизма³⁹. Никто более яростно, чем он, не обрушивался на слепую алчность, *la ceca cupidigia*, которая, сколько существует человечество, стоит на пути осуществления земного идеала счастливой жизни.

Если не много смысла в том, чтобы выискивать в истории состояния, сравнивая их между собой с точки зрения подъема или упадка культуры, а также пытаться указывать на определенно установленные точки наивысшего подъема культуры, то еще меньше смысла в том, чтобы превозносить счастливые времена тех или иных эпох. Вспомним предостережение Буркхардта⁷: «Ebenso zweifelhaft, wie das Beklagten ist auch das Glücklichpreisen» [«Одинаково сомнительны как сетование, так и восхваление счастья»]. «Sobald es sich auf siegreiche Völker bezieht, so war das Glück derselben, das sogenannte Siegerglück, durch unendlichen Jammer von Besiegten bedingt, welche ebenfalls Menschen waren und möglicherweise bessere» [«Что касается победоносных народов, их счастье, так называемое счастье победителя, обуславливалось безмерным горем побежденных, которые были такими же людьми и, возможно, лучшими, чем они сами»]. «Das Glück ist nie und nirgends wohnhaft, domiziliert gewesen. Glück ist gleich der

^{*} Данте Алигьери. *Монархия*. М., 1999. С. 134–135. Пер. с ит. В. П. Зубова.

Zufriedenheit mit einem gegebenen Zustande, und der Mensch ist zur Unzufriedenheit geboren» [«Счастье никогда и нигде нельзя было поселить у себя, одомашнить. Счастье — это удовлетворенность данными обстоятельствами, но человек рожден для неудовлетворенности»]. Постулат Бентама о «the greatest happiness of the greatest number» [«величайшем счастье величайшего множества»] — непродуманное высказывание, в котором счастье подменяется благосостоянием и удобствами. В оценке определенных культурных эпох, кажется мне иногда, продолжает видеть, как чад догоревшей свечи, отголосок суждения, которое уже давно следовало бы отбросить как несправедливое и устаревшее. Это в полной мере относится, например, к эпохе Людовика XIV.

Для многих этот период истории всё еще покрыт позолотой, которой его искусно украсили современники, но также и потомки, — блеск, которого по правде достойны великие: Расин, великие моралисты; некоторые благородные и мужественные умы: Вобан, Фенелон, осмеливавшиеся говорить то, что тогда считалось неправильным⁴⁰; творения искусства: Версаль, если его рассматривать как чистое искусство, ибо в более широком аспекте Версаль — чудовище, испортившее и страну, и государство⁴¹. Если устремить взгляд за пределы сферы искусства и литературы, понимая под культурой, притом в первую очередь, судостроительство, мораль, свободу и человечность, то солнечный блеск, которым сиял исторический образ Франции с 1661 по 1715 гг., заметно померкнет. Король — крайне ограниченная личность, единственно существующей добродетелью которого было истовое трудолюбие; человек, не знавший ничего, кроме себя и своего тщеславия, которое он поистине обожествлял и которому постоянно приносил в жертву свою прекрасную страну и свой благородный народ. Деятельность его великих министров — по сути непрерывная цепь заблуждений и неудач, не исключая Кольбера, чьи стремления к благоденствию были направлены на то, чтобы причинить умышленный ущерб прочим народам. Войны Людовика, признанная цель его существования, — жалкая

вереница неудавшихся предприятий^{42*}. В двух первых, Деволюционной войне и *guerre de Hollande* [Голландской войне], король проявляет юношеский пыл и задор; он готовит их с большой тщательностью и не сомневается в том, что Республика Соединенных провинций будет сразу же и полностью уничтожена. Мотив его нападения — неприязнь к Генеральным Штатам. В другую большую войну, длившуюся девять лет, король был втянут, вовсе того не желая; в последнюю, войну за Испанское наследство, он вступил против воли, и всё же по своей вине, ибо из-за своего беспредельного честолюбия не признал завешание Карла II и, несмотря ни на что, выдвинул притязания на всю Испанию. Франции все эти войны принесли бесконечно больше ущерба, чем прибыли. Неблагоприятный баланс долгого царствования Людовика XIV, как культурного периода, всем этим еще далеко не исчерпывается. Кто не даст себя ослепить раздутым величием этого времени, заметит абсолютную недееспособность правления и вопиющую продажность, неслыханное жестокосердие и напускную, лицемерную набожность. Подготовительные меры, предшествующие отмене Нантского эдикта^{43*}, — одна из отвратительнейших глав новой истории.

Всего этого мы коснулись здесь лишь мимоходом, чтобы тем самым покончить с темой подъема и упадка культуры, что вряд ли может помочь пониманию состояния культурного процесса. Гораздо более плодотворно в этом отношении другое противопоставление, в котором вопрос, слегка смещенный в более конкретную область, обращается не к подъему или упадку, но к культурным достижениям и культурным утратам. В соответствии с исходными пунктами нашего изложения именно этому последнему мы уделим самое пристальное внимание.

IV. КУЛЬТУРНЫЕ УТРАТЫ УШЕДШЕГО ВЕКА

1. Культурные достижения и культурные утраты в целом. Ослабление морали

К *культурным достижениям* и *культурным утратам* можно относить действительные и очевидные исторические явления без особого труда и с определенной степенью точности, однако между первыми и вторыми есть примечательное различие. Оно состоит в том, что культурные достижения возникают, так сказать, у нас на глазах, как действительные события, со всеми подробностями, а культурные утраты всегда носят характер медленных изменений данного состояния; установить их может лишь взвешенная историческая оценка, и квалифицирует их как утраты только тот, кто воспринимает происшедшие изменения как сокращение духовных богатств. Культурным достижением является всякое значительное произведение искусства, если оно бывает принято людьми своего времени, оказывает духовное воздействие и находит отклик, в узком или широком кругу, в течение короткого или долгого времени, иной раз простираясь столь далеко, насколько хватает нашего духовного зрения. Глупо было бы иллюстрировать этот очевидный факт неким числом примеров. Ведь это вылилось бы в перечисление всех великих произведений искусства различных эпох, всех философских идей, а к тому же и религиозных систем, которые, хотя и «больше культуры», также входят в культуру. Сейчас же возникает вопрос, не следует ли всякое научное открытие, всякое решение еще одной загадки природы рассматривать как безоговорочное культурное достижение. Трудно ответить на этот вопрос отрицательно, однако здесь следует проявить осторожность. Сделавшая столь мощный скачок наука вместе со своей младшей сестрой, технологией, уже с XIX в. претендуют на то, чтобы их отождествляли с культурой. Но мы, к сожалению, знаем, что очень высокие формы научного развития могут сочетаться с ужасающим варварством. Недоста-

точность чистой науки для создания духовного мира недавно была убедительно показана Олдосом Хаксли в книге *Ends and Means* [*Цели и средства*] и почти одновременно с ним — польским физиком Чеславом Бялобжеским в небольшой статье *Science et Culture* [*Наука и культура*].

Проблема культурных достижений, однако, не является предметом нашего рассмотрения. Тема, которой мы задались в самом начале, имеет отношение к шансам на восстановление после всё более возрастающих культурных утрат. Восемь лет тому назад я сделал попытку рассмотреть ряд явлений недавнего прошлого с точки зрения упадка культуры, угрозы культуре⁸. Наиболее существенные из этих явлений я расположил под рубриками: Всеобщий упадок способности суждения; Снижение потребности в критике; Отказ от идеала познания; Упадок моральных норм. К этому последнему пункту мы сейчас снова вернемся — не для того чтобы рассмотреть его подробнее, но чтобы сразу же перейти от него к историческому обзору явлений, которые должны быть причислены к культурным утратам минувшего века.

Христианская мораль, независимо от того, руководствовались ли ею больше — или, лучше сказать, меньше — люди одной эпохи, чем люди другой эпохи, теоретически вплоть до XVIII столетия оставалась почти неприкосновенной основой европейского общества. Впрочем, в создании системы нравственности, в рамках которой вырос Западный мир, участвовало не только христианство. Она, за вычетом христианской заповеди Любви, уже полностью сформировалась как плод греческой мысли, со всем тем, что дал последней Древний Восток. Иллюзия жизни по вере — нравственного требования, так бесконечно высоко поставленного христианством, — из-за людского высокомерия, несмотря на всё сознание греха, время от времени принимала характер серьезного притязания. Реформатские Церкви значительно укрепляли серьезность этих стремлений, так же, как и притязания на их осуществление в этом мире, тем, что, с одной стороны, предоставили мирянам право самим судить о своем собственном по-

ведении, а с другой стороны, отрицали пользу добрых дел. Как бы то ни было, авторитет этой системы нравственности до XVIII в. не был существенно затронут и не оспаривался, хотя, например, у Ларошфуко можно заметить ростки ее разложения. Угасание веры, рационализм, даже деизм сами по себе еще не поколебали мораль. Лишь к тому времени, когда эту опасную силу, Природу, открыто поставили в основание нравственности рядом со Словом Божиим, опасность разрушения нравственных норм стала реальностью. И именно апостол Природы, Жан-Жак Руссо, вел себя при этом как фальшивый пророк добродетели. В предвестниках принципиального отрицания морали уже не было недостатка в XVIII в⁹. Однако по-настоящему их время пришло лишь с наступлением XIX столетия.

Философских причин отказа от морали мы здесь касаться не будем. Что вместе с христианской моралью будет отброшена также и буржуазная мораль — пожалуй, лучше всего ее называть классической, — само собой разумеется. Мне всегда казалось, что отрицание вековой морали должно было бы считаться глупейшей идеей, когда-либо приходившей кому-либо в голову. Уже сознание того, что все отношения в человеческом обществе, будучи связаны с необходимой действительностью юридических и экономических обязательств, всецело включают в себя мораль, должно было бы а *limine** предотвратить подобную глупость. Это напоминает калеку, выбросившего свои костыли. Тому, как далеко зашло искоренение морали в нынешнем обществе и что из этого фактически следует, мы не собираемся уделять много внимания, так же как и вопросу о влиянии философского аморализма на это явление. Прежде такое философское влияние я считал мало-значительным. Теперь утверждать это я уже не осмеливаюсь.

* С порога, сразу (*лат.*).

2. Милитаризм

а. В прямом смысле слова это едва ли приложимо к Античности

Переходя к тому чтобы более или менее исторически последовательно дать обзор крупных утрат, которые вообще претерпела наша культура, и прежде всего за последние сто лет, мы хотели бы в первую очередь указать на феномен милитаризма, бесспорно являющийся величайшим проклятием нашего времени.

Сразу же возникает вопрос, что именно понимается под этим термином. Вероятно, следует говорить о разных видах милитаризма, ибо это явление неразрывно связано с реально существовавшими в истории царствами, государствами, странами или народами. Слово *милитаризм*, что видно по его окончанию, представляет собой абстракцию, выведенную из некоторого числа конкретных, действительно наблюдаемых исторических и общественных данных. Таким образом, это — понятие, обобщающее ряд явлений.

Окончание *-изм* само по себе выражает неодобрительную оценку столь же мало, как в словах *идеализм*, *монотеизм* и т. д., но фактически слово *милитаризм* употребляется в неодобрительном смысле. Мы говорим о милитаризме, если государство все свои силы планомерно направляет на ведение войн; все свои ресурсы, людские и материальные, которыми оно располагает, использует ради достижения своей цели и войну, либо открыто, либо под маской справедливости и миролюбия, почитает в качестве идеала. В результате вооруженные силы предписывают государству законы, постоянно побуждают его к усилению своей мощи и внешней экспансии, присваивают и поглощают его доходы и в конце концов приводят к гибели само это государство. Условием возникновения явно выраженного милитаризма является постоянное присутствие военной структуры, которая безоговорочно и неограниченно служит правящей власти и в лю-

бое время готова к активным действиям. Militarизм проявляется в истории как болезнь всего общества, приступы ее могут длиться веками; успокоившись, они способны вновь вспыхнуть где-нибудь в другом месте.

Знала ли Античность милитаризм в его явной форме? В некотором отношении, безусловно. Стремление к войне само по себе еще не порождает милитаризма. Война почти для всякого правителя древности — признанный идеал, святое дело, высший, первейший долг. Однако поспешно говорить о милитаризме не следует даже по отношению к государствам Древнего Востока с их отвратительной жестокостью и жадой разрушения. Эти государства находились большей частью в состоянии вражды друг с другом, как мелкие, так и крупные. Их войны были войнами на уничтожение, и обычно они слишком хорошо преуспевали в своих намерениях. Вполне организованная, всегда готовая к бою военная сила там, однако, отсутствовала. Связь кровожадности и жестокости с культом и то, что опустошения и истребления они считали жертвой богам, скорее лишали это непрекращающееся насилие характера, свойственного планомерному и, скажем, понятному милитаризму нашего времени.

Среди греческих государств было одно, которое породило милитаризм в чистом виде, а именно Спарта, со своим полностью военизированным государственным устройством не оставившая миру ничего, кроме Фермопил; Спарта, преемницей которой стала Македония, полугреческая и также культурно бесплодная. И только Римская республика в течение нескольких столетий впервые создала полностью милитаризованную систему, где, в зависимости от меняющихся обстоятельств, главная роль отводилась обороне или нападению. В Римской империи уже очень рано задачей армии становится скорее постоянное отражение ударов и оборона, чем нападения и новые завоевания, но тем не менее черты милитаризма со временем становятся всё более явными. Армия занимает господствующее положение в государстве и скоро уже подчиняет себе само государство, она препят-

ствуется выработке планомерной, выверенной политики, пока в конце концов государство не приходит к гибели, в основном из-за военных просчетов. Античный милитаризм в ходе варваризации Империи и упадка римской культуры мало-помалу сходит на нет. Варварские государства, которые наследовали Римской империи на Западе и сменили ее, никак не могут быть названы милитаристскими, какими бы насильственными их действия ни были. Собственно, весь период Средневековья, в том числе и после того как примерно к XII в. окончательно сложилась система государств Западной Европы, никак не несет черт подлинного милитаризма.

б. Виды воинской службы в Средневековье

Средневековье знало три типа воинской службы. Прежде всего существовала всеобщая повинность для мужчин, способных носить оружие и по призыву своего государя служить ему во время войны. Эта старая форма народного войска довольно рано была сведена в большинстве стран к менее активной и еще менее действенной форме милиции, или местного ополчения, следы которых под различными наименованиями продолжали сохраняться вплоть до недавнего времени. На эту старинную форму воинской повинности за века становления феодализма наложилась воинская служба, основанная на ленной верности. Однако ленная система получила далеко не во всех странах одинаковое распространение и развитие. Наиболее полный феодализм отмечается во Франции, Германии и Англии — странах, на которые рыцарство и крестовые походы повлияли сильнее всего. Милитаристский элемент заключался не в ленной системе как таковой, то есть не в отношениях ленной повинности и ленной верности, но в сопровождавшем их, неотъемлемом от них явлении — рыцарстве. Слово *miles*, в классической латыни — *солдат*, в средневековой латыни получило значение *рыцарь*. Если соединение феодализма с рыцарством на Западе всё же не разви-

лось в настоящий милитаризм, то причинами здесь были ограниченность средств ведения войны и недостаточное влияние системы служения и верности. В древней Японии, где последние факторы господствовали безраздельно, очень рано возникла конфигурация, которая без колебаний может быть названа милитаризмом. При феодализме войско в принципе составляли рыцари, которые призывались туда как вассалы своего сеньора. Военная повинность была строго ограничена службой в течение определенного времени и действиями на определенной территории. О военных действиях при феодализме сложилось несколько искаженное и романтическое представление. Конечно, во времена Средневековья происходили многочисленные сражения, которые в некоторой степени действительно носили характер рыцарских турниров; их исход решали главным образом тяжело вооруженные знатные рыцари. Но уже гораздо раньше, чем обычно себе представляют, существовали ленные ополчения, дополненные наемниками и руководимые главарями вроде Меркадье, который во Франции выигрывал битвы для Ричарда Львиное Сердце. Крупным, всегда обученным и готовым к бою орудием власти в Средневековье войско не было никогда. Но не только этот негативный фактор помешал развиваться подлинному милитаризму. Сама политика в Средние века, как бы странно это ни прозвучало, по своей сути была гораздо менее милитаризована, чем в более поздние времена. Войны были постоянным и всеобщим явлением, но ограничивались очень узкими рамками и сопровождалась сравнительно малыми разрушениями. Но что еще более важно — политика князей определялась идеями, направленными на безусловное осуществление их прав и наследственных требований, пусть даже и не слишком обоснованных, и на достижение идеалов мира и справедливости, пусть даже до неузнаваемости извращенных, — нежели стремлением к умышленным нападениям и завоеваниям.

Попутно сделаем замечание относительно слова *condottiere*. Если не ошибаюсь, нынешний читатель, под впечатлением не-

давних лозунгов и исторических романов, в слове *condottiere* слышит квазигероический отзвук современной политики и невольно переводит его как *руководитель* или *глава*, как если бы это был *conduttore* [водитель]. Правильнее было бы переводить *condottiere* как *предводитель наемников*. Это слово относится к сфере *locatio-conductio*⁴⁴ римского права и обозначает командира, который вместе с набранным им на свои деньги отрядом нанимается на службу к некоему властителю в расчете, что большинство его воинов вернутся домой в целостности и сохранности. О малых внутренних войнах в Италии XV столетия не раз говорили как о бескровных, несомненно, с сильным преувеличением, ибо в насилии и жестокостях там никогда не было недостатка. Малый формат ведения войн и военной политики изменился незадолго до конца XV столетия.

с. Введение войн в XVI и XVII вв.

Теперь уже крупные государства упорно ведут кровавые войны друг с другом. Военные действия гораздо больше, чем раньше, затрагивают население в целом, хотя пока что не в виде воинской службы, когда каждому в свое время приходится стать солдатом. Еще в течение нескольких столетий люди сами избирают для себя профессию солдата, которая, впрочем, не пользуется особым почетом. Полностью добровольным, однако, выбор этот был далеко не всегда, пример тому — насильственное рекрутирование матросов для английского флота. Начиная с XVI в. армию набирает и содержит, как правило, уже само государство. Кое-где еще встречались и более старые формы, когда некие предприимчивые командиры предоставляли свою армию государству. К таковым в некоторых отношениях относится, например, Валленштейн. Испания, Швейцарская конфедерация, некоторые государства Италии, вскоре также Республика Семи соединенных провинций и, наконец, Швеция дальше всего продвинулись в деле организации армии, но ни в одной из этих стран, тем не

менее, еще не было условий для возникновения настоящего милитаризма, то есть полной милитаризации народа и государства. Как раз в отсутствии всепроникающего милитаризма и заключалось во многих отношениях величайшее бедствие отвратительной Тридцатилетней войны, а именно — бесчинства одичавшей из-за нескончаемой войны солдатни в сочетании с отсутствием дисциплины и постоянным перемещением театра военных действий и сменой военных целей, преследовавшихся той или другой стороной.

д. Людовик XIV как первый представитель современного милитаризма

Есть несколько причин считать Людовика XIV прародителем современного милитаризма. Он был неумолимо воинствен, хотя из всех больших войн, которые он вел, собственно, лишь две отвечали его желаниям и намерениям: Деволюционная война в Южных Нидерландах, закончившаяся без особо заметных успехов Аахенским миром 1668 г., и позорно провалившаяся *guerre de Hollande*, начатая в 1672 г. как многообещающая кратковременная экспедиция против слабого неприятеля и развернувшаяся в широкомасштабную и продолжительную войну. В Девятилетнюю войну⁴⁵ и в войну за Испанское наследство Людовик был втянут сложившимися обстоятельствами вопреки своей воле. И сколько-нибудь существенный успех ни в одной из этих войн также ему не сопутствовал. Основателем милитаризма Людовик XIV стал благодаря тому, что он создал систему абсолютного военного подчинения также и для традиционно строптивой французской знати, приносил все ресурсы и средства страны в жертву войне и вооруженным силам на суше и на море. Вооруженные силы и вне войн были по преимуществу инструментом правления Людовика, они служили ему для достижения всех тех целей, которые представлялись необходимыми или желаемыми его мечтам о славе и величии. Он создал тип большой постоянной ар-

мии, тип, которому вынуждены были следовать другие государства. Еще в 1818 г., то есть задолго до возникновения милитаризма нашего времени, один французский писатель обобщил результаты правления Людовика XIV следующим образом: «En obligeant les autres souverains par la nécessité de la défense à porter aussi le nombre de leurs troupes a un excès jusqu'alors inconnu, il donne pour toujours à l'Europe le plus grand fléau. C'est une lèpre attachée aux états modernes, qui use et corrompt leur substance, et oppose un fatal obstacle au bonheur privé, à l'économie publique et au perfectionnement de toute bonne civilisation»¹⁰ [«Вынуждая других монархов, из-за необходимости защищаться, содержать армию в размерах дотоле неслыханных, он навлек на Европу величайшее бедствие. Это язва, поразившая нынешние государства, которая истощает и разъедает их существо и является роковым препятствием личному счастью, экономике страны и совершенствованию благ нашей цивилизации»].

е. Пруссия и Россия

Если зарождение современного милитаризма пришлось на Францию, то ответственность за его дальнейшее развитие легла на два государства, которые к началу XVIII столетия стали новыми факторами политической жизни Европы: на Пруссию и Россию. Что означали в этом отношении государство Фридриха Великого и государство Петра Великого, очень хорошо известно, и здесь нет необходимости вдаваться в подробности. Для обоих монархов примером для подражания был Король-Солнце. Когда прирожденный стратег и одаренный флейтист, воспитанный на французской культуре, на основании давно устаревших наследственных притязаний в 1740 г. вторгся в Силёзию^{46*}, он выступал как верный последователь Людовика XIV, который в 1665 г., чтобы получить предлог для завоевания Южных Нидерландов, сослался на старинное положение Бранбургского права наследования, а с 1679 г. объявил действенным мнимое право возврата короне

прежних ленных владений. Фридрих превратил государство в орудие войны, но одновременно также в совершенный для того времени аппарат управления. Петр, этот бесподобный варвар, делал свое дело более жестко и грубо, не столь совершенным образом, но с тем же стремлением. Уроки, преподанные ими обоими, мир уже не забывал никогда.

г. Французская революция

Примечательной главой в дальнейшем развитии милитаризма в Европе является Французская революция. Начиная с 1715 г., XVIII век, несмотря на войну за Австрийское наследство и Семилетнюю войну, на всем протяжении, вообще говоря, не был слишком воинственным, скорее напротив. С распространением идей Руссо на первый план всё более явственно выходили идеалы свободы, мира и человечности. Ancien Régime⁴⁷ в свои последние годы, во времена Тюрго и Верженна⁴⁸, жил менее, чем любой прежний период, мечтами о власти или страстью к насильственным завоеваниям.

Французская революция начинается с искренними намерениями и твердой надеждой принести счастье всему человечеству. Правда, очень скоро становится ясно, что отвлеченные фантазии Жан-Жака не могут быть осуществлены сразу, а революционная Франция вовлечена, еще не успев это как следует осознать, в самую банальную и архаическую войну, в которой, помимо временно ослабленной Пруссии и запыхавшейся Австрии, она вынуждена была противостоять самому упорному врагу, которого только можно было найти, — Англии. И тут происходит самое удивительное: Франция санкюлотов⁴⁹, с ее идеалами братства и человеколюбия, раскрывается вдруг как источник нового иступленного милитаризма, который, взывая к тройному идеалу свободы, равенства и братства, переходит в яростный национализм. Поспешно обученные воинскому делу народные массы добились того, что скоро под пятою у Франции оказалось пол-Европы. Правда, затем она слу-

чайно набрела на весьма талантливого генерала Бонапарта, который множественными окольными путями и видимостью величия привел Францию и Европу к встрече под Ватерлоо. Иногда бывает полезно на мгновение окинуть взглядом историю, чтобы осознать истинную суть ее безотрадного хода. Третья аватара⁵⁰ современного милитаризма к 1815 г. вроде бы завершилась.

g. Пауза в истории европейского милитаризма:
1815–1864 гг.

Ни одно из европейских государств не желало больше войны ни как цели, ни как средства; у России также были другие желания. Идеалом большинства стран стали теперь благоденствие и правопорядок. Разумеется, еще и свобода, но в менее громком значении национальной независимости и права участия всех граждан в органах управления. Два других лозунга — равенство и братство — стали теперь принадлежностью расцветающего социализма, в его ранних, наивных формах Сен-Симона, Фурье и многих основателей крошечных государств социальной справедливости, которые то и дело возникали прежде всего в Америке. В большой европейской политике милитаризм пока еще дремлет. И даже 1830 и 1848 гг. не могут рассматриваться как периоды его оживления.

h. 1864–1914 гг.

Быть может, не совершенно внезапно, но всё же для большинства неожиданно, и в своей безграничной опасности никем не осознанный, милитаризм вновь проявился в 1864 г., в прусском обличье, в котором он проявлялся и раньше, но на сей раз гораздо более убежденный, более последовательный и прежде всего более целеустремленный, чем прежде. С этих пор мир уже больше никогда не мог избавиться от милитаризма. Каждое усовершенствование военной техники придавало ему новые силы, и он

неудержимо увлекал все кру́пные державы на свой пагубный путь. Тридцать лет назад казалось, что взрыв 1914 г. был венцом, высшей точкой милитаризма. Увы, худшее было еще впереди.

i. Гипернационализм

Сразу после Первой мировой войны, в период, казалось, медового месяца упрочивавшегося интернационализма, мир постигло новое проклятие: бездумный гипернационализм, который превыше всего ставит власть собственной страны и народа и не останавливается ни перед чем, чтобы потворствовать этой власти. Немалую популярность вновь обрели бесчеловечные государственные теории, в основу которых отчасти легли уже давно известные принципы: государство — превыше любых моральных обязательств, право подчиняется интересам собственного государства или народа, внешняя политика есть лишь продолжение войны другими средствами⁵¹, мир — всегда не более чем передышка между двумя войнами. Всё более быстрые и всеохватывающие средства связи привели к тому, что сейчас актуальная мировая политика может быть рассчитана по минутам.

В большинстве стран уже давно введена всеобщая воинская повинность. Теперь уже почти повсюду стали забывать, что этот вид воинской службы, с любой точки зрения, если таковая находится чуть дальше собственного носа, может рассматриваться в лучшем случае как необходимое зло. Всеобщая воинская повинность кажется идеалом. В 1920 г. еще не знали, что она открывает путь ко всё большему злу, что продолжительная и усиленная подготовка всего народа к войне в самых жестоких формах очень скоро породит явление, которое невозможно было предвидеть, а именно то, что происходит теперь у нас на глазах, когда милитаристское государство, сколь высокими достижениями и дарованиями оно ни обладало бы в прошлом, устремилось к тому, чтобы унижить до положения рабов не только более слабые, покоренные силой народы, но и свой собственный народ, — поло-

жение, из которого его может освободить лишь еще более мощное объединение сил, действительно устремленное к лучшему.

Хотя и не все народы и государства стали добровольно служить Ваалу милитаризма, все они страдают от его последствий, и ближайшее будущее должно будет показать, в состоянии ли еще наш мир вырваться из отвратительных щупалец этого монстра. Утверждение, что милитаризм выходит за рамки чисто политического явления и представляет собой самую гибельную форму культурной утраты, для думающего человека подробных доказательств не требует.

3. Появление, расцвет и поругание демократического идеала

К концу Первой мировой войны всё громче звучал призыв «making the world safe for democracy» [«сделать мир надежным местом для демократии»] — слова, в которых прежде всего для американской стороны были выражены цель войны и чаяние мира. Тогда действительно можно было думать, что эти слова соответствуют идеалам наибольшей части Западного мира. Правда, в России уже начала свое наступление диктатура пролетариата, но этот термин понимали еще в том старом смысле, который придавал ему Маркс: как переходную стадию к демократии нового типа, к подлинной, социальной демократии. Такую диктатуру возвещал Маркс, так же понимал ее Ленин. Только под именем социал-демократии ранний социализм смог достичь внутренней зрелости и сделаться политической силой. Спустя всего несколько лет в разных местах возникли новые формы власти, которые уже более не апеллировали к демократическим идеалам. Слово *фашизм*⁵², воспринимаемое уже как отзвук прошлого, для новых антидемократических систем, собственно говоря, годилось гораздо больше, как раз потому что обозначало всего только символ, связку прутьев в руках мелкого представителя власти. Термин *фашизм* не пытался выразить этим словом смысл и стремление

нового учения о государстве, и это было безусловно его преимуществом. Соперничающий с ним термин *национал-социализм* претендовал на то, чтобы этим наименованием передать также суть дела, и поэтому уступал *фашизму*. Кроме того, понятие *национал-социализм* представляет собой *contradictio in terminis*⁵³, ибо как может стремление, которое прекращается на всегда лишь временных и во многих отношениях случайных границах определенной нации, иметь хоть какое-то право носить имя социализма, подразумевающего действительность для общности, универсальной по своей сути? Изобретатели *национал-социализма*, без сомнения, гораздо точнее выразили бы свою идею и свои устремления, если бы слова в наименовании своего движения расположили в обратном порядке — *социал-национализм*, ибо в наличии сильной социальной окраски ему нельзя отказать⁵⁴. Горькая трагедия состоит в том, что победа *национал-социализма* была достигнута средствами демократии. Ведь именно следовавшие один за другим и всё более решительные успехи на выборах позволили ему захватить власть.

Современные народные деспотии, как бы они себя ни именovali, называют верховного правителя *Вождем*, *Дуче*, *Фюрер*. Наименование *Диктатор*, насколько можно судить, самими сторонниками различных форм фашизма официально не применяется. Скорее противники этой системы употребляют этот термин, и именно в неодобрительном смысле. Термин *диктатура* имел свой единственный смысл до тех пор, пока на первом плане здесь стояла идея переходной стадии. Но как только итальянский фашизм пришел к власти, о временном ограничении уже не могло быть и речи: верховная власть фактически стала постоянной, и тем самым связь с первоначальным значением слова *диктатор* была нарушена. В сотнях случаев, когда Римское государство оказывалось в опасности, законная власть назначала диктатора и облакала его верховными полномочиями для спасения государства от непосредственной опасности, каковы бы полномочия он, по выполнении своей задачи, рассчитанной на ограни-

ченный срок, вновь возвращал в руки законной власти. В современной форме так называемой «диктатуры» отсутствует как законное начало выполнения определенного поручения, так и окончание возложенной верховной властью ответственности. В качестве заказчиков теперь фигурируют неопределенные величины — *народ, класс, Провидение*. Вождь сам решает, на какое время они призвали его для выполнения своей особой задачи.

Тем самым был отвергнут идеал демократии. Но и не только отвергнут, а опорочен и осквернен. За поразительно короткое время громогласие различных видов фашизма добилось того, что слово *демократия* приобрело оттенок зловредной неполноценности и выхолощенного принципа в кругах, далеко выходящих за пределы убежденных фашистов. Слово *демократия*, вместе со словами *либерализм* и *гуманизм*, многими было выброшено на свалку; по крайней мере, так обстоит дело за пределами англосаксонского мира, — в нем же большинство людей всё еще почитают эти слова и стоящие за ними понятия; и эта часть мира в значительной степени свободна.

а. Слово *демократия*

Пытаясь проследить историю слова, понятия, теории и практики *демократии*, мы придем к выводу, что это слово никогда не было счастливой находкой: уже потому, что *δημος*, *толпа*, управлять никогда не может, — если под словом *κρατία*, *господство, правление*, понимать нечто большее, чем просто *господствовать*, придавая этому понятию значение упорядоченной и хорошей государственной власти.

В греческом языке Античности слово *δημοκρατία* также всегда наделялось более или менее пренебрежительным или насмешливым смыслом. Когда Аристотель выстраивал схему различных форм правления по нисходящей, от хорошей — к плохой, упорядоченное народное правление, как его старались воплотить Афины, он обозначил не словом *δημοκρατία*, но непосредственно

полιτεία. Этим всё сказано: в слове δημοκρατία слишком сильно слышался этот беспокойный, непредсказуемый и по сути дела презираемый эллинами δῆμος, *толпа*. Следует всё-таки сожалеть, что культуры, выросшие на древе Эллады, не позаимствовали вместо слова δημοκρατία другое, которое не только пользовалось наибольшим уважением в Афинах, в силу ее истории, но очень точно выражало саму идею хорошей формы правления, а именно ἰσωνομία, равнозаконность, равноправие перед законом, — слово, которое обрело бессмертное звучание, с тех пор как поэт пропел: «Ветвью мирта укрою я меч, как Гармодий и Аристогон, когда, умертвив тирана, они дали Афинам равенство перед законом»⁵⁵. В этом слове гораздо яснее, чем в слове *демократия*, был высказан непосредственно идеал свободы, и оно не несло в самом себе невыполнимость своего собственного тезиса, как это фактически свойственно слову *демократия*. В слове ἰσωνομία основной принцип правового государства был выражен ясно и убедительно.

Однако ни язык, ни история не позволяют нам вносить в них поправки, и нам остается придерживаться термина *демократия* для рассмотрения теории и практики этого типа правления во всем различии его форм на протяжении столетий. После краткого расцвета Афин мы едва ли найдем в Античности примеры успешного претворения демократических принципов. В Римской республике получили развитие многие элементы демократической государственной системы, которая вовсе не была демократией в современном смысле. Эллинистическим монархиям, Римской империи и мусульманским странам были совершенно чужды демократические принципы.

в. Идеал и практика демократии

Свидетельства или следы более или менее активного участия низших классов в государственном управлении — примеры демократии, если угодно, — во времена Средневековья встреча-

ются в самых различных местах европейского Запада. Самые известные из них — фламандские города и Флоренция. Как правило, это были всего лишь некоторые черты демократического правления, и обычно народное влияние быстро сокращалось до незначительной степени. Власть в городах-государствах оставалась почти всегда по сути олигархической, тогда как в большинстве стран, после того как они прошли стадию сильного влияния сословий, правление оказалось в конце концов в той или иной степени абсолютистским, так или иначе смягчаемым собраниями сословий. Слово *демократия* в отношении этих средневековых элементов народного правления не употреблялось. Существовавшее кое-где частичное избирательное право было всего лишь формальностью — за исключением Англии, где на протяжении веков медленно развивалась парламентская монархия. Мы не можем здесь вдаваться в подробности чрезвычайно важной истории понятия и слова *свобода* за период от раннего Средневековья до конца XVII столетия.

Только в XVIII в. слово *демократия* освободилось от привкуса *охлакратии*, который оно сохраняло со времен своего древнегреческого происхождения. Это слово, как бы заново возрожденное, заимствовано было из античной литературы и вскоре приобрело значение священного идеала. Прежде всего Франция и молодая Республика Соединенных Штатов были теми странами, где идея демократии получила значительное развитие. Пафос понятия демократии никогда не изливался столь обильно, как в поэзии Уолта Уитмена. В Америке сама идея государственности всегда была столь неразрывно связана с принципом демократии, что и серьезнейшие изъяны в осуществлении идеала не могли сколько-нибудь поколебать прочность этих устоев.

Мы уже говорили о том, что еще в 1918 г. демократия была главным лозунгом и в Европе. Если социализм возрос, назвав себя социал-демократией, то и наступившая тогда эра мироустройства также стремилась утвердиться в демократических формах. Все уважающие себя государства хотели считаться демократичес-

кими. Как же могло случиться, что уже вскоре значительная часть европейского континента не желала признавать демократию своим идеалом и при восторженном ликовании народных масс — неважно, вымуштрованных или нет — поносила и оскорбляла ее приверженцев? Причины здесь лежат гораздо глубже всеми осознаваемых, серьезных недостатков демократии как политической системы. Применение этой системы из-за самого ее характера должно было оставаться неудовлетворительным. Ибо она представляла собой идеал, то есть утопию. Эта система была неразрывно связана с двумя в высшей степени несовершенными, но в этом хитроумном мире, увы, неизбежными, инструментами управления: принципом большинства и принципом представительства, — приводимыми в действие посредством той или иной формы выборов.

С помощью этих средств в Европе, и особенно в Англии, сформировалась система парламентского правления, которая в несколько измененной форме действует также в Америке. По мере того как период либерализма и свободной торговли подходил к концу, недостатки парламентской системы выявлялись с пугающей очевидностью. Россия, едва испробовав эту систему, в 1917–1918 гг. с ней покончила полностью. Но даже тогда невозможно было представить, что за несколько лет значительная часть европейского континента станет жертвой странной потребности подчиниться воле абсолютно безответственных правителей, в которых со времен Античности и вплоть до недавнего прошлого видели только деспотов и тиранов. Чтобы понять этот духовный сдвиг, нужно симптомы культурного упадка, которые начали сказываться уже в середине XIX столетия, попытаться рассмотреть в определенной исторической последовательности.

4. Симптомы упадка и оскудения общественной жизни, начиная с последней четверти прошлого века

Вплоть до 1870 г., насколько мне известно, игра в народные представительства, выборы и парламентские дебаты в странах, обладавших этими институтами, велась с должной серьезностью и уважением к соблюдению приличий. Обычаи систематической обструкции, хлопанья крышками пюпитров или забрасывания чернильницами политических противников тогда еще не были общепринятыми. К принципам и системе демократии вообще люди относились с почтением и верили в ценность содержимого избирательной урны, в эффективность принятого голосования, вота, и в благо, которое от всего этого впоследствии в будущем. Народные представители в подавляющем большинстве принадлежали к элите — в силу богатства, благородного происхождения или интеллектуальных достоинств. Парламентарии приносили хорошие манеры из дома. Для них было привычно вести себя с достоинством и даже подчеркнуто официально. Пресса не была столь торопливой и злопыхательской, как сейчас; в основном она питала искренние намерения информировать читателя. Можно сказать, что лишь примесь элемента аристократичности делает возможным существование демократии. Без этого она всегда подвергается опасности разбиться о бескультурье толпы.

а. Черты вырождения политической жизни в Третьей республике

Падение парламентских нравов наиболее выразительно проявилось во Франции во времена Третьей республики. В процесс разложения, без сомнений, внесли немалый вклад горькое поражение 1870 г. и последовавшее за ним жестокое отторжение части территории в 1871 г. Едва ли нужно вдаваться в детали, доказывая, что явления политического упадка неизбежно означали и

упадок культуры. Достаточно указать на несколько важных событий французской истории последней четверти прошлого столетия и бегло рассмотреть некоторые из них. Остановим свое внимание на таких явлениях, как буланжизм⁵⁶, грандиозные общественные скандалы, акции анархистов и дело Дрейфуса⁵⁷.

Эпизод с Буланже большинством современных читателей по праву давно забыт. Тем не менее он примечателен как ранний симптом подкрадывающегося расшатывания общественной жизни, которое уже вскоре должно было принести неожиданные плоды. Случай этот, коротко говоря, сводится к следующему. Генерал с политическими амбициями, но сам по себе не отличающийся какой-либо значительностью и при этом обладающий не вполне бесспорным политическим прошлым, испытывает свои шансы на выборах. Он принадлежит к сторонникам грубого и шумного национализма Поля Деруледа, который как раз в это время пытается раздуть пламя реванша и надеется склонить Россию к союзу против Германии. Убеждения Буланже по существу не выходят за пределы тривиального пренебрежения ко всему политическому вкупе с неопределенными устремлениями к авторитарной форме правления. Столь неясных политических притязаний, однако, хватает для того, чтобы на выборах добиться успеха, который *le brav' général* подбирает в буквальном смысле слова на улице. Он совершенно не знает, что ему делать с этим успехом и через несколько лет с позором исчезает с политической сцены, чтобы умереть за границей.

В это же время, после 1885 г., происходят грандиозные скандалы, которые компрометируют Францию перед всем миром: скандал с торговлей награждениями орденом Почетного Легиона, вынудивший президента Гриви подать в отставку⁵⁸, и Панамский скандал, завершивший судебным приговором достойную жизнь Фердинанда де Лессепа⁵⁹.

Парламентская система Третьей республики с самого начала была отягчена зародышами гниения, и названные факты, в крайнем случае, можно было бы счесть лишь внешними признаками,

политической кожной болезнью, в которой порча выступила наружу. Совсем другую природу имело зло, заставившее содрогаться 1890-е гг.: акции анархистов; главной сценой их сделалась Франция, хотя она и не была тем очагом, который породил эти искры.

Теория анархизма была внезапной находкой, и находкой не особенно умной. На некоей стадии просветительских иллюзий люди задались вопросом: а зачем, собственно, нужна власть государства? Это и было рождением анархизма. В государстве нет надобности? Действительно нет, если бы люди — все — были добрыми, такова старая мудрость. С таким же успехом можно было бы спросить: а для чего существует жизнь? Бессмысленные идеи всегда обладали некой притягательной силой, и всякая находка вполне годится для того, чтобы строить на ней систему. Отнюдь не самые выдающиеся и плодотворные умы оформили эту идею: Уильям Годвин, Макс Штирнер, Бакунин, Кропоткин, — назовем самых известных. В годы разочарования и духовной смуты, которые современники обозначили теперь уже избитым и звучащим фальшиво именем *fin de siècle*⁶⁰, анархизм вспыхнул в виде острой болезни, одичания — и как явление моды (а мода — могучий фактор) захватил даже незлобивых художников, которые и мухи не обидели бы. Если вспомнить череду кровавых деяний самопровозглашенного анархизма, которые в те годы держали в страхе весь мир: покушения во Французском парламенте, убийство президента Карно, короля Умберто в Италии, императрицы Елизаветы Австрийской, президента Мак-Кинли, — то их исполнители предстанут обыкновеннейшими преступниками; слишком много чести будет даже называть их психопатами. Видимость идеала, которым они окружали свое кровожадное и бессмысленное насилие, едва ли заслуживает внимания историка; и фанатики-цареубийцы прошлых времен: какой-нибудь Жак Клеман или Равайак — окажутся, если обратиться к Дантову *Аду*, на два круга выше, чем эти тщеславные безумцы, бывшие нашими современниками⁶¹.

в. Современный антисемитизм в Западной Европе

Дело Дрейфуса как пример утраты и упадка культуры особенно важно по ряду причин. В нем проявились по меньшей мере три обстоятельства, которые до тех пор были, или во всяком случае казались, всё еще новыми: существующий в Западной Европе воинствующий антисемитизм; национализм с милитаристской окраской, который как квазиаристократическая и консервативная каста группировался вокруг Генерального штаба; и деградация общественной честности и чувства ответственности у значительной части нации, — вкупе со столь же близоруким, сколь и грубым возбуждением, с которым пресса, в том числе и далеко за пределами Франции, с тех пор уже всегда, и по малейшему поводу, инфицировала общественное мнение.

Антисемитизм — это, по сути дела, не что иное, как несколько более культурное наименование юдофобства. Юдофобство столь же старо, как и рассеяние еврейского народа, то есть старше, чем христианство; оно возникает в эпоху эллинизма. Даже у такого утонченного римлянина, как Гораций, во времена Августа, встречаются грубые выпады против евреев. Проявление в Средневековье то тут, то там ненависти к евреям общеизвестно. В 1190 г. Ричард Львиное Сердце велел перебить евреев Йорка; спустя столетие Эдуард I изгнал всех евреев из Англии, куда им вновь разрешил доступ лишь Кромвель. Для этого пуританина Израиль был именно избранным народом Божиим. Дух XVIII столетия благоприятствовал евреям; с полным признанием их гражданских прав при Наполеоне казалось, что для западноевропейских стран еврейский вопрос больше не существует, хотя на деле уравнивания евреев с христианами достигнуто не было. На протяжении почти всего XIX столетия в латентном или открытом неприятии, с которым сталкивались евреи, сколько-нибудь сформулированная идея расового различия не играла никакой роли. Антропологическое понятие расы еще не закрепились, и представления о человечности и равноправии всё еще превалировали в общественном мнении.

Слово *семиты* встречается лишь к началу XIX в., сначала только в библейском значении: потомки Сима; затем в филологическом смысле — для бесспорной и практически уже гораздо раньше признанной общности группы семитских языков, а именно столь точно и тщательно определенного языкового родства, какое лингвистика вряд ли может установить относительно чего-либо прочего. Развивающаяся антропология, насколько мне известно, никогда не пыталась доказывать существование физического единообразия между всеми народами, которые говорят или говорили на семитских языках. Даже нынешние преследователи евреев, я полагаю, этого не делают. Они, помимо неверного применения слова *арийцы*⁶² к неевреям самого разного происхождения (термин *арийцы* может применяться только по отношению к определенным древним народам Передней Индии и Ирана), ввели в употребление некую конструкцию особого, однако весьма сильно варьируемого, еврейского расового типа, с каковым расовым представлением они отчаянно смешивают представление об еврействе как политической, экономической и культурной силе.

Если в ряде стран Восточной Европы преследования евреев всегда были в порядке вещей, то юдофобство в странах, лежавших западнее Балкан и Украины, стало активным и воинствующим лишь с появлением расовых теорий и одновременной мощной экспансией крупного капитализма. Юдофобство, теперь чаще именуемое антисемитизмом, уже давно распространившееся, хотя и в умеренных формах, в Австрии и Германии, в Новое время странном образом впервые открыто проявилось во Франции, насчитывавшей сравнительно немного евреев. Антиеврейская агитация началась в газете Эдуарда Дрюмона в том же 1886 г., что и распространение буланжизма. Это была атмосфера, в которой восемь лет спустя было сфабриковано дело Дрейфуса. Мы не будем сейчас вдаваться в его подробности. Судебное решение отправить в далекую ссылку капитана-еврея за передачу военных документов Германии последовало в декабре 1894 г. С 1898 по

1901 гг. это постыдное решение приводило в волнение всю Европу. Прославленная культура, носители которой стояли на пороге нового века, явила глубоко зашедшее разложение, дальнейшее развитие которого еще никто не в состоянии был предвидеть.

с. Англо-бурская война: 1899–1902 гг.

Среди многочисленных явлений конца прошлого века, которые следует обозначить как серьезные культурные утраты, нельзя обойти молчанием еще одно, которое приковало к себе всеобщее внимание в те же годы, что и дело Дрейфуса, а именно Англо-бурскую войну и всё то, что ей предшествовало.

Англо-бурскую войну сочли нападением мощной державы на гораздо более слабого противника, пусть это было и не столь вопиющее преступление, как, например, итальянские авантюры 1911 и 1935 гг.⁶³, не говоря уже о других событиях нашего века. Но почему именно эта война, в которой соблюдалась видимость права и где формальное нападение волк взвалил на ягненка, заслуживает особого места в горестном перечне культурных потерь? Не из-за концентрационных лагерей, из которых чуть более сорока лет спустя враги Англии всё еще чеканили политическую монету. Эти лагеря, сколь постыдным ни было бы их создание, первоначально предназначались для защиты оказавшегося беспомощным населения, и к тому же они не были, как это неоднократно подчеркивалось, английским изобретением. Генерал Вейлер применил это новое средство, по распоряжению испанского правительства, для подавления восстания на Кубе еще за четверть века до этого.

Позор, которым Англия, спровоцировав войну против Южно-Африканской Республики, покрыла себя, состоял в том, что именно эта страна была единственной великой державой, которая фактически уже оставила позади стадию захватнических войн, и сделала это вполне сознательно. Британское правительство могло бы показать миру, что умеет уважать права маленьких независимых государств, хотя бы они и не являлись во всех от-

ношениях образцом политического совершенства. Почему такой человек, как Джозеф Чемберлен, не понял, что поступок Гладстона в 1881 г. не только был выше в нравственном отношении, но в перспективе сулил больше благ самой мировой империи, чем то, что они предпринимали на этот раз? Причина заключалась в том, что в Англии, так же как и в других местах, не только широкая публика, но и правящие круги скатывались к той вульгарной форме грубого национализма и безоглядного империализма, который тогда получил наименование джингоизма. Люди были готовы восхищаться преступной авантюрой рейда Джеймсона, как если бы речь шла о спорте, и безрассудно рисковали возникновением крупного европейского конфликта, которым в какой-то момент угрожала миру доброжелательная телеграмма кайзера Вильгельма Крюгеру⁶⁴.

Англия дала дурному миру еще более дурной пример, который вскоре нашел достаточно подражателей. Она оказалась не на высоте собственного уровня культуры, и поспешность, с которой Соединенное Королевство уже через четыре года после заключения мира перешло к более чистым политическим методам, всё же не могла полностью смыть пятно совершённой несправедливости. Это сделала только в 1939 г. решимость любой ценой быть верной данному слову⁶⁵.

5. Европа на пути к 1914 г.

Империализм и интернационализм начала XX в.

Возраставшие культурные утраты и увеличивающийся духовный разброд в первые десятилетия XX в. проявились в различных областях. Искусство и литература давали предостаточно материала для такого суждения. Наряду с этим можно было совершенно определенно отметить разительные культурные достижения, не только в области науки и технологии, в социальной и экономической сфере, но также в том, что касалось нового чувства стиля, оживления религиозного и философского сознания, стрем-

ления к монументальности и т. д. Нас интересуют здесь, однако, не культурные достижения, но утраты, и мы рассмотрим их на фоне политического развития.

Событиями ряда предшествующих лет виды на новое столетие были уже сильно подорваны. В 1898 г., помимо захвата испанских колониальных владений Соединенными Штатами⁶⁶, началось систематическое разграбление Китая. Россия взяла в аренду Порт-Артур, Англия — Вэйхайвэй, Франция — Гуаньчжоувань, Германия оккупировала Циндао. Между тем царь Николай II обратился ко всем государствам, большим и малым, с мирной инициативой, которая весной 1899 г. была реализована как первая Мирная конференция в Гааге. Сейчас, спустя немногим более сорока лет, всё это кажется довольно мрачной опереттой дурного свойства. В том же году Финляндия пала жертвой насилия со стороны России⁶⁷, и начались военные действия в Южной Африке. В 1900 г. последовало международное вторжение в Китай: граф Вальдерзее как *Weltmarschall* и разграбление императорских сокровищ⁶⁸. Происходили изменения и более позитивного свойства: Филиппины и Гавайи стали американскими⁶⁹, Австралия получила независимость в рамках Британской империи. 1902 г. принес с собой заключение договора об Англо-японском союзе, который был обновлен в 1905 и 1911 гг. Это был странный шаг. Неужели в Англии не знали, что с 1868 г. новая Япония воплощала в себе самый старый и самый неограниченный милитаризм, который когда-либо был известен? Или в дружбе с Японией отразилось старое заблуждение Англии, которым была отмечена ее история на протяжении всего прошлого века, а именно слепое оцепенение перед русской опасностью, тогда как впереди было нечто гораздо более серьезное? Когда в 1904 г., наконец, разразилась давно уже ожидавшаяся война между Россией и Японией, общественное мнение европейских стран, без сомнения, было гораздо больше на стороне Японии, чем России, или лучше сказать: для людей пугало царизма было до такой степени неприемлемо, что они искренно желали всех благ

Японии. Японию знали по гравюре на дереве и книгам Лафкадио Хёрна — такую дружелюбную и чарующую⁷⁰! В нашей Индии с самого начала ее знали гораздо лучше⁷¹.

Годом позже Россия потерпела позорное поражение, и Европа облегченно вздохнула, прежде всего потому, что в это самое время в России стали явно видны первые симптомы упадка. Средний европеец в то время всё еще жил иллюзией, что войны могли происходить на Востоке или в другой колониальной области, где-нибудь в отдалении, но что в самой Европе, между так называемыми «высококультурными странами», они уже «устарели». Будущее вскоре должно было показать совершенно иное, и опасность грозила со всех сторон. Не будем задерживать внимание на эпизодах первых тринадцати лет XX в.: кризисе в Марокко, войнах на Балканах, вторжении Италии в Триполи, переходе Китая к республике⁷². Всеобщая вера в прогресс и в прочность своей культуры в то время была укоренена слишком прочно, чтобы люди могли осознать, насколько все эти инциденты знаменовали не только расстройство политической жизни, но и процесс болезни культуры.

Так бедная Европа, как старое авто, которое ведет пьяный шофер, не разбирая дороги, покрытой рытвинами и ухабами, катилась навстречу войне 1914 г. Вину за эту войну, насколько вообще имеет смысл употреблять здесь такое глубокое и тяжелое слово *вина*, несли страны, в которых война и милитаризм были предметом восхищения и вдохновения для множества людей, вплоть до руководящих кругов, и где надежды на войну взращивались самой системой образования. Новая, неслыханная война оказалась не делом шести недель, как многие ожидали, но растянулась на целых четыре года. Она постепенно выросла до Мировой и, после того как, наконец, была выиграна одними и проиграна другими, оставила после себя разрушенный и потрясенный мир. Люди решили — увы, слишком рано, — что очнулись от дурного сна и тешили себя прекрасными иллюзиями грядущего международного правопорядка, экономического возрождения и

блистательного роста культуры. Единственно, чего многие боялись всерьез, так это красной опасности, которая как раз тогда кроваво восторжествовала в России. Но никто пока не предполагал, что приближается еще один конь *Откровения* (гл. 6), духа, подобного которому мир до сих пор не видел, дух, о котором и вправду можно говорить лишь словами *Апокалипсиса* — гипернационализм, то есть национальное чувство, не стесненное никакими границами^{73*}.

а. Подъем гипернационализма

Народ, отрекшийся от всех прежних социальных, государственно-правовых, философских и религиозных идеалов, ограниченный, случайный, неоднородный, не вполне определенный продукт всего нескольких столетий (ибо нации в их современном виде вовсе не столь древни и не столь «сами по себе первородны»¹¹, как проповедует новоявленное учение), — собственный народ вдруг стал казаться — и не только в одном очень большом государстве — нормой и высшим идеалом всех устремлений, источником и целью всех прав, всей культуры, всей нравственности и всей мудрости. Мы знаем, какие отвратительные поступки гипернационализм, и всё, что с ним связано, совершал в течение последних двадцати лет, и мы можем только радоваться, что есть страны и народы, которые — хотя и не полностью — остались в стороне от всего этого. Сейчас, когда указанное явление в целом выступает лишь как последнее звено в длинной цепи культурных утрат, мы рассмотрим его чуть ближе, под углом зрения, который уже обозначен в названии предыдущего раздела: прогрессирующее духовное оскудение.

б. Связь с пуэрилизмом

Гипернационализм в значительной степени отвечает состоянию культуры, или, лучше сказать, бескультурия, которое я лет десять

тому назад счел возможным назвать пуэрилизмом¹². Это слово всё еще кажется мне наиболее подходящим термином, чтобы выразить странное состояние, которое с недавних времен, увы, стало почти всеобщим. Это понятие не имеет ничего общего с инфантилизмом — категорией школы Фрейда. Я говорю о *пуэрилизме*, а не о *пуэрилии* (ребячестве), и окончание *-изм* указывает, что речь здесь идет не просто о свойстве, встречающемся везде и повсюду, но о превратной склонности или состоянии нашего времени, о социальном недуге, если угодно, который на худой конец, хотя и менее точно, можно было бы назвать и *пуэрилизмом*. Понятие *пуэрильный*, не прибегая к иностранному слову, можно было бы передать как *ребячливый*, однако в данном случае мы имеем дело с ребячливостью как социальным явлением, с ребячливостью в квадрате.

Болезнь не возникла внезапно. Первых примет ее мы касались, когда говорили об упадке обычаев парламентского поведения, и особенно в случае с Буланже. Пуэрилизм тесно связан с милитаризмом. Наиболее отличительные черты пуэрилизма проявляются в страсти к парадом, униформе и помпезной одежде. Украшения: золото, шлемы, ордена, аксельбанты — эта болезнь стара как мир, и страдают ею не только великие мира сего. Во всяком предписанном униформизме таится опасность. Его воздействие опасно не только как фактор общественной жизни, оно убийственно для жизни вообще. Природа не знает единообразия, она бесконечно изменчива, и там, где человек навязывает единообразие, он порождает пустыню. Идти в ногу — само по себе выражение нашего чувства ритма, дань нашей природе; идти не в ногу — трудно и утомительно. Но чувствовать себя несчастным, если не идешь в ногу с сотнями тебе подобных, — это шаг к пуэрилизму.

Нет никакого желания перечислять банальности, которыми отличается поведение некоторых наших великовозрастных современников, словно они так и не вышли из времени, когда им было двенадцать-пятнадцать лет. Но оставим этот феномен, что-

бы вскоре перейти к позитивным сторонам нашего изложения — после множества отрицательных...

6. Гибель ландшафта

К длинному ряду горестных культурных утрат, о которых мы уже говорили, с болью добавим еще одну; на сей раз, однако, речь пойдет об утрате, которая лишь в более общей связи может служить упреком человеческому неразумию. Это гибель ландшафта, исчезновение живой природы, которая некогда почти везде окружала жилье человека. Сокращение свободной природы — явление, опасное, в той или иной степени, для каждой страны и для каждой местности. В нашей маленькой, густо населенной стране — не говоря уже о бессмысленных, возведенных в военных целях стальных и бетонных уродствах, которые так исковеркали и обезобразили нашу землю, — множество мест всего-навсего из-за застройки рядами жилых домов и уродливыми коттеджами за несколько лет может быть совершенно испорчено. Как увиденный мною через полвека Кеннемерланд, это романтическое воспоминание, уже утративший свое благородное очарование.

Нидерланды в высшей степени подвержены бедствию, о котором мы говорим. И всё же здесь есть немало мест, которые еще очень незначительно затронуты этим злом. Но природный ландшафт гибнет повсюду, не исключая лесов на юго-востоке Европы, гибнет на обширных территориях и быстрыми темпами.

Это явление осознают в полной мере только теперь, к середине нашего века, и горше всего переживают его старые люди, потому что они видели, как всё это начиналось и развивалось. Более молодым это совсем или почти совсем незаметно. Они выросли среди уже искаженной природы и не ведают, что говорят, причисляя нас, стариков, за наши сожаления об утраченной красоте, к замшелым романтикам. Если бы они знали такие места, где в целой округе не было ни одной хоженной тропки, как я

знал пятьдесят лет назад Вестерволде и добрую часть Дренте! Не следует думать, что мы сожалеем лишь об исчезнувшей красоте, которую сменили другие красоты. Речь идет об уничтожении культуры, о том, что для подлинной культуры землю делают непригодной, в то же время приспособлявая ее для использования и производства всё большего количества полезных продуктов.

Профессор Баас Бекинг, директор Ботанического сада в Бейтензорге, сказал мне однажды, и не для красного словца, а с полной серьезностью: «Бог сотворил природу, а человек — пустыню». Мы все знаем классические примеры того, какой вред нанесло уничтожение лесов Кампанье, Сицилии и множеству других мест. Этот крупный ученый-ботаник, только что упомянутый мною, полагает, что истина, которую содержит его высказывание, значительно глубже того, о чем обычно рассказывается во всемирной истории. Везде, где теперь (исключая полярные области) простираются большие пустыни, почва хранит следы обильной растительности, которая произрастала там до того, как всё кругом высохло. В длящемся веками процессе смерти ландшафта человек — несмотря на серьезную заботу о возрождении лесов в отдельных местах — неотступно участвует, возводя уродливые города, которые, как ядовитые грибы, вырастают там, где некогда были леса или рощи.

В определенном смысле это, видимо, неизбежное зло. В экономическом или аграрно-демографическом аспекте ясно, что по-другому быть и не может. Земля должна кормить своих обитателей, и она всё больше эксплуатируется, дюйм за дюймом, для производства продуктов питания и промышленных нужд, — люди не могут объявить всю землю памятником природы. Между тем, часть за частью, она становится непригодной, для того чтобы порождать и хранить культуру. Мне ни разу не доводилось осознавать это с такой болью, как в 1926 г., во время поездки на автомобиле, когда профессор Маршалл из Чикагского университета провез меня и моего спутника, профессора Луиджи Эйнаути из Турина, через Гэри, отросток этого города-гиганта

на озере Мичиган. Бесконечное и безотрадное уродство, Inferno вне всякой поэзии⁷⁴; место, приводящее в ужас, потерянное для всего, что действительно могло бы называться культурой.

С порчей природы — мы уже говорили об этом — теряется не только красота ландшафта. Но ведь и красота — великая вещь. Тот, кто видел нетронутую природу, где бы то ни было, во всей ее чистоте, знает, какую высокую жизненную ценность она представляет. Там, где уродуется ландшафт, исчезает нечто гораздо большее, чем идиллический или романтический фон. Теряется часть того, что составляет смысл нашей жизни.

Я хотел бы завершить сделанные замечания словами профессора Й. М. Бюргерса из его статьи *Over de verhouding tusschen het Entropiebegrif en de levensfuncties*¹³ [О связи между понятием энтропии и жизненными функциями], непосредственно примыкающей к прочитанному 31 октября 1943 г. докладу Бааса Бекинга *Entropie en Dissipatie* [Энтропия и Рассеивание]. «В подавляющем большинстве человеческих действий упорядочение происходит ценой разрушения того, что в другом отношении также может рассматриваться как порядок. Изучение всего этого имеет большое практическое значение, поскольку (если оставить в стороне получаемую Землей солнечную энергию) Земля представляет для нас замкнутую среду. Бездумное разрушение, а также неосмотрительное выбрасывание мусора и отходов без учета последствий приводит к оскудению и отравлению почвы, опасность чего мы едва ли осознаём. Прежде всего нужно подумать о том, каким образом уничтожаются человеком природные формы и красота растительности, животного мира и характера почвы, и не упускать из виду, что эти разрушения, не говоря уже о материальных последствиях, представляют также большую опасность — в особенности для нашего духовного здоровья.

Пока число людей было невелико, этот вопрос не имел существенного значения: вместо использованной земли всегда можно было найти новую, и к тому же окружающая природа имела

достаточно сил для восстановления. Но теперь территории, втянутые в человеческую деятельность, охватывают почти всю Землю, и этот факт стал нам понятнее в гораздо более острой форме, чем когда-либо раньше. Можно сказать, острый кризис, в который сейчас вовлечено человечество, осложняется тем, что в нашем распоряжении больше нет новых земель».

V. ВОЗМОЖНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

1. Первоочередные условия восстановления основ упорядоченных человеческих отношений

Нам хотелось бы теперь покинуть печальный ряд культурных утрат, наносящих урон нашему времени, — хотя мы их вовсе не исчерпали, — чтобы перейти, наконец, к позитивной части нашего предмета: надеждам на восстановление культуры. В начале 1940 г., по просьбе редакции журнала *Fortnightly Review*, я написал короткую статью, которая еще до захвата нашей страны⁷⁵ вышла в апрельском номере журнала под названием *Conditions for a recovery of civilization* [*Условия возрождения цивилизации*]. Нижеследующее является в некоторых отношениях незначительной переработкой моих суждений четырехлетней давности, несколько измененных и, надеюсь, обогащенных, как оно и должно быть, опытом этого горького времени. Подобно тому, как уже было сказано выше, задачи экономического и социального восстановления здесь рассматриваться не будут; я не чувствую себя ни вправе, ни в состоянии выносить какое-либо суждение в этой области. Вначале ограничимся вопросом: что должно быть сделано в политической сфере вообще, чтобы из состояния войны перейти к состоянию мира или, по крайней мере, к прекращению вооруженного насилия.

Предположим, что война на Востоке и на Западе закончится, насколько это возможно, благоприятно, то есть благоприят-

но в отношении культуры. Это означало бы, что во всяком случае должна быть восстановлена и закреплена ситуация в рамках международного правового порядка на основе действовавшего в 1939 г. международного права; другими словами, что все территориальные изменения, произошедшие с момента начала войны и в течение нескольких предшествующих лет в результате агрессии, должны быть отменены — до того как мирный конгресс, после тщательного анализа, примет решение о том, какие именно изменения государственных границ должны быть окончательно приняты. Предположим затем, что будет создана некая схема целесообразного мирового правления силами нескольких больших и множества малых государств, которые объединятся в некое облеченное властью целое; далее, что удастся найти такую форму экономического возрождения, которая, если и не будет принята всеми, сможет удовлетворить определенное большинство.

Вышеперечисленное, разумеется, ни в коей мере не обеспечило бы подъема культуры.

Но это еще не всё: у такой мирной системы всё еще не было бы никаких возможностей для надлежащей работы. Устроители мира прежде всего увидели бы — и увидят — перед собой немало задач, одну труднее другой, и это будет не расчистка руин, материального мусора — земли, камня, известки, но — духовных руин, которые оставит после себя эта война. Исключительно важно, чтобы той части мира, что сумеет оправиться от затаенной злобы и жажды мести, как можно быстрее стала доступна очищенная от столь вопиющей лжи картина истории, — картина, которая, хотя мы никогда не можем претендовать на полную объективность, всегда недостижимую для истории, будет основываться хотя бы на разумной непредубежденности и на честном намерении говорить правду. Насколько далеки мы от всего этого, знает каждый, по какую бы сторону фронта он или сражался, или претерпевал страдания. Совершенно ясно, что никакая победа, сколь решительной она ни была бы, никогда не сможет ни обуздать силы лжи, ни изгнать их. Дух лжи тотчас восстанет вновь и по-

старается напрячь все свои силы, чтобы на еще свежих отбросах прежней лжи, отравившей сознание целых народов, взгромоздить новую ложь. Эфир, пресса, школьное образование — и в наступившее мирное время снова неограниченно будут у него в услужении. Как отвратить это новое зло, если старое, даже когда смолкнут орудия, так и не удастся победить полностью? Ясно, что даже при намерении ограничиться только политическими вопросами, неминуемо придется решать культурные и этические проблемы.

Честная картина истории недавнего прошлого — вот первое из необходимых условий, хотя кажется невозможным добиться единства мнений для признания единого понимания случившегося. Лишь постепенно выявится, действительно ли сознание некоторых народов в целом перелопачено до самого дна навязанным им мировоззрением из магазина готового платья так, что восстановление причиненного ущерба окажется невозможным. Однако нельзя отодвигать попытки оздоровления и восстановления на столь долгий срок. Даже если мыслящая часть человечества может определенно пребывать в уверенности, что через сотню лет никто уже не будет говорить о политической расовой теории или подобных ей духовных отродьях, это убеждение не будет иметь никакой пользы для ближайшего будущего. Прежде всего нужно заняться тем, чтобы непосредственным вмешательством повлиять на уже столь далеко зашедший процесс болезни. Хватит ли у нас времени — обозначим и другую часть нашей задачи, — чтобы посвятить силы *перевоспитанию уже вконец испорченных поколений*?

В ряде стран молодежь год за годом отравляли абсурдными теориями, низводили бесплодной муштрой до уровня неслыханной глупости и полнейшей бесчеловечности и, возможно, даже сделали многих, с чисто евгенической точки зрения, непригодными для здорового воспроизводства из-за бездумно поощряемого промискуитета и преувеличения и переоценки телесной культуры. Об этой последней опасности — переоценке значения телесной культуры — мы здесь распространяться не будем.

То, что такая опасность существует, кажется мне несомненным. Конечно, телесные упражнения и здоровый спорт для всех — это великолепно, если только не перекармливать людей пищей телесной до такой степени, что пища духовная, вместе с поношением «интеллектуализма», или того, что понимают под этим словом, вовсе отходит на задний план. Давайте всё же не делать нашим идеалом Милона Кротонского, который способен был нести на плечах быка⁷⁶.

Можно ли будет в деле регуманизации сбитых с толку и претерпевших ущерб поколений чего-либо достичь усилиями соответствующей политики, сколь успешной она ни была бы, должно показать будущее. Не будем терять надежд.

Не всякий дефект молодых поколений, с чем предстоит бороться ближайшему будущему, есть прямое следствие войны или дурных политических теорий. Нужно считаться с широко распространенным *недостатком целеполагания в жизни личности, отсутствием определенной направленности*, которые постепенно распространяются с конца прошлого века и поэтому не могут быть вполне объяснены длительным экономическим кризисом и социальной неустроенностью. Всё это проявляется в недостаточности устойчивой охоты к труду, в дезориентации в данной среде, в отсутствии прочно обоснованных ценностей и идеалов. Быть может, это с трудом поддающееся описанию, но безусловно негативное свойство во многих отношениях — не что иное, как юношеская форма таких явлений, как *spleen* и *Weltschmerz* [мировая скорбь] Романтизма. В любом случае вершители нашего будущего должны будут выступить против этого во всеоружии обновленного духа.

2. Переоценка понятия *национальное*

Если мы теперь обратимся к проблеме очищения духа, которое необходимо для того, чтобы он снова мог стать носителем культуры, то прежде всего, и это кажется наиболее очевидным, нуж-

но будет изгнать из него гипернационализм — как убеждение, как догму, как некое интеллектуальное состояние, которое, хотелось бы думать, может быть побеждено и излечено интеллектуальными средствами. Было бы бесценной победой, если бы средний человек, получивший хоть какое-то образование, задумался о почти *повсеместно господствующих искажении и переоценке понятия «национальное»*. Эта переоценка безусловно присутствует не только у фашистов и их сотоварищей, но и у всех нас. Внушаемое нам с такой настойчивостью мнение, что нации суть древнейшие продукты — если не крови и почвы, то всё же неизменно детерминированных исторических обстоятельств, уже при простейшем историческом рассмотрении предстает как грубейшее заблуждение. Признавать это — не вопрос политических убеждений или мировоззрения, но лишь минимума исторических знаний и способности выносить независимое суждение.

Правда, в отношении всего, что касается понятия нации, мы сразу же наталкиваемся на антиномию, то есть на одновременно утверждаемое противоречие: «это так — и при этом не так». Нации — очень древние, национальности — очень молодые, — так можно было бы разрешить это противоречие. Когда мы читаем в *Ветхом Завете* о *gentes* [родѧх] — народах, нациях, — то во многих случаях мы можем безнаказанно заменять это современным понятием нации, не забывая, однако, о том, что в древности — от Вавилона до Римской империи — никогда не думали об этнических особенностях, обычаях и привычках, в большинстве случаев даже о языковой общности, но всегда о верховной власти, *regna*, царствах, религиозных общностях⁷⁷.

Собственно, лишь романтизм, около 1800 г. или чуть раньше, до такой степени внушил нам всем представление о том, что народ есть нечто первичное, изначальное, основополагающее, неприкосновенное, что в широких слоях народного сознания это представление постепенно начало затемнять понятие государства. Народы отныне стали рассматриваться как непосредственные составные элементы континента, страны или вообще чело-

вечества; люди забыли, что сутью народа всегда остается некая устремленность, некий идеал, некая неосязаемая величина, которая как феномен находит свое позитивное воплощение лишь в государственности. Осознанное стремление к совместному созданию нации или национальности, как правило, очень молодо, даже у столь выраженных наций, какими являются, например, англичане или французы. И пусть не вводит нас в заблуждение пресловутое наименование *Heiliges Römisches Reich deutscher Nation* [Священная Римская империя германской нации], ибо, во-первых, этот полный титул лишь в XVII или XVIII вв. стал официальным наименованием для прежней Германской империи, которая уже в 1806 г. прекратила свое существование⁷⁸, а во-вторых, *Nation* передает здесь лишь средневековое *natio*: рождение, исток, происхождение, в узком или в более широком значении.

Элемент физической однородности — той, что так хотят называть расовой общностью, — при становлении нынешних национальностей не занимал либо вообще никакого, либо лишь весьма второстепенное и неопределенное место. Элемент языкового единства значил несколько больше, но далеко не всё. В большинстве случаев нации, которые многие сейчас хотят рассматривать как своего рода первоначала, представляют собой еще очень недавний продукт исторического процесса, в котором основным фактором были политические обстоятельства, зачастую совершенно неожиданные, носившие случайный и преходящий характер. Столь непосредственно ощущаемое теперь требование, что в деле независимости народов нужно руководствоваться их национальным составом, возникло не в столь отдаленном прошлом. Известно, что еще Наполеона очень мало интересовали национальные притязания; и еще меньше, чем для императора, значили подобные притязания для участников Венского конгресса, взявшихся за грандиозный пересмотр государственного порядка в Европе.

XIX столетие считают эпохой национальностей, с их требованиями независимости. Но если посмотреть более вниматель-

но, то окажется, что субъектом, выдвигающим эти требования, всегда является некое политическое образование и никогда не нация в ее первозданном виде. Нация как таковая не выступает действующим персонажем истории, хотя временами можно с некоторым правом говорить о народных восстаниях. В войне Греции за независимость, в стремлении стран Латинской Америки вырваться из-под власти Испании, даже в итальянском Рисорджименто⁷⁹ активными элементами всегда были политические группировки.

Против национальной идеи, бывшей плодом романтизма, уже в самом начале XIX в. выступило движение, выдвигавшее противоположные представления. Оно воплотилось в социализме. Социализм в своей недооценке национальных рамок исповедовал никоим образом не прогрессивную идею, скорее — регрессивную. Он оставался в плену доброжелательного, но неглубокого идеализма философов XVIII в., у которых в ходу были такие понятия, как человеколюбие, природная доброта, гражданин мира — но не народы и государства.

Наиболее чистым представителем принципа, что всякая нация по самой своей природе обладает правом на государственную независимость, был Мадзини⁸⁰. Это была целиком романтическая теория. Она никак не считалась с тем, что понятие нации, так же как и понятие культуры, практически не поддается формулированию и анализу, его нельзя заключить в определенные рамки. Уже сама констатация, в некоем конкретном случае, существования нации как данности наталкивается на непреодолимые трудности. Поэтому не удивительно, что попытки в условиях жесткой действительности воплотить в жизнь принцип национальной независимости, как правило, не удавались, либо, если удавались, в большей степени являлись результатом традиционной дипломатии и внешней политики, нежели следствием воздействия идей Мадзини. Так было с наполовину завершенным объединением Италии в 1859 г. — пример обычной европей-

ской политики интриг, которую лишь деяния Кавура^{81*} и Гарибальди украсили героикой и блеском служения идеалам. Несколько лет спустя слово было уже за совершенно другой теорией — не вдохновенного пророка Мадзини, но Бисмарка: теорией прусского милитаризма, евангелия железа и крови^{82*}, теорией, которой предстояло еще немало бед причинить нашему миру.

Национальные идеи первой половины XIX в. постепенно теряли черты своей начальной романтической стадии; расплывчатый идеализм, который, не без некоторого наивного лицемерия, всё еще мечтал о свободе и всеобщем благоденствии с помощью свободной торговли и торжествующего капитала, уступил место наглому, грубому национализму с империалистическими устремлениями, во вкус которых вошел уже лорд Палмерстон^{83*} в свои старые годы (он родился в 1784 г.). И еще долгое время спустя J. Bull Ltd.^{84*} сможет самоуверенно похлопывать себя по карману: «We've got the ships, we've got the men, we've got the money too» [«У нас есть корабли, матросы есть у нас, и денег у нас хватит»]. После 1871 г. обстановка в Европе делается всё более неприятной: там новый французский национализм, полный досады и озлобленности, с его пронзительным барабанным боем; там непредсказуемая Россия, которая вторглась в Среднюю Азию и вскоре уже заключила братский союз с Францией^{85*}; там новая Германская империя, которая во всех областях, духовных и материальных, являла всё больше сил и талантов. Но нет никакого смысла вновь охватывать взором исторические события после 1880 г.

3. Лига Наций, ее добродетели и пороки

Незначительный результат предпринимавшихся в 1899, 1900, 1907 гг. попыток урегулирования политических вопросов на основе международного согласия^{86*} не смог остановить распространение идеи, что современный мир всё более настоятельно, неотложно нуждается в международном регулировании. Смертельные

конвульсии продолжавшейся целых четыре года Мировой войны — фатального следствия отсутствия своевременных и целенаправленных международных действий — тем сильнее укрепили идею, что мир больше не может жить по принципу «каждый за себя, и никто за всех». Так что в 1918 г. победители, вообще говоря, никак к этому не готовые, и неожиданно для самих себя, оказались перед насущной задачей сообща сделать максимум того, что было возможно. Принцип почти вековой давности *одна нация, одно государство* еще не был забыт. При этом в основном опирались на старый исходный пункт (исключая введение мандатной системы для заново разделяемых неевропейских областей) принципиально неограниченного национального суверенитета, при условии, что он будет более разумным и справедливым. Таким образом Европа и часть Передней Азии были бы реорганизованы на национальной основе. Результатом этих стремлений стал Версальский договор, вместе с другими подобными ему пактами.

Громадные экономические просчеты Версаля почти сразу были выявлены с такой ясностью, что здесь о них нет необходимости распространяться. Политические просчеты Версаля постоянно преувеличивали, и не только из-за поднимавшегося гипернационализма. При этом большей частью упускали из виду, что в 1919 г. миротворцы во многих отношениях были поставлены перед неразрешимой проблемой. Рассмотрим чуть подробнее Версальский договор *cum annexis** как попытку организовать Европу на основе принципа суверенности наций. Можно сказать, что люди сразу выбросили свою старую обувь, словно у них прямо на ногах уже выросла новая. С Венгрией обошлись, как с тем гостем, который был слишком велик для прокрустова ложа. Что касается чехов, поляков и югославов, то оказалось невозможно провести для их государств бесспорные границы, которые надолго приняли бы и уважали и они сами, и их соседи. Ни госу-

* С дополнениями (*лат.*).

дарственная мудрость, ни даже школьные знания истории и географии Ллойд Джорджа, Уилсона и Клемансо не простирались достаточно далеко для решения столь трудных вопросов. Это походило на то, как если бы в средней школе старшеклассникам дали задание по начертательной геометрии. Результатом были бесконечные осложнения. Одной из главных ошибок было, несомненно, непростительное безрассудство, с которым Европу лишили ее необходимейшего члена — дунайского государства, способного служить переходом между Средней и Юго-Восточной Европой⁸⁷. Конечно, эта двойная монархия, со всеми своими ошибками и грехами, во многих отношениях пережила свое время, но было вполне возможно возродить к жизни более усовершенствованное дунайское государство, которое должно было бы принять во внимание и смогло бы удовлетворить требования теперь ставших независимыми национальных меньшинств; которое в то же время могло бы поддерживать богатые традиции и немецкую культуру прежней Австрийской империи и позволило бы Вене сохранить ее характер международной культурной метрополии, вместо того чтобы обрекать ее на существование в полузабытой провинции.

Самая серьезная сделанная всеми ошибка, однако, была связана не с Версальским договором как таковым, а с начинанием, непосредственно к нему примыкавшим: учреждением Лиги Наций. После всего, что с тех пор случилось, едва ли можно понять, как еще менее четверти века назад политический разум нашего мира мог питать такое доверие к искренности злого, четырьмя годами войны морально искалеченного сообщества государств, что создал международный инструмент мирного сотрудничества, не дав ему ни средств принуждения, ни власти прекращать акты насилия. Оправдывала ли когда-либо история, в любую эпоху, такое доверие? Даже христианство никогда не было в силах создать условия для подобной мирной совместной деятельности. И вот теперь она должна была разом возникнуть из всеобщего правового сознания, культуры, прогресса? Век иллюзий прогрес-

са и сравнительной толерантности, в соединении с поверхностным оптимизмом, отчасти перешедшим из XVIII столетия, отчасти опиравшимся на материально-технические достижения, мог привести к столь пагубному заблуждению. Но уже довольно скоро выяснилось, до какой степени неразумно было видеть в объединившихся в Лиге Наций державах достойных партнеров, которые будут следовать принятым на себя обязательствам.

Сам по себе договор о создании Лиги Наций был задуман неплохо, а ее близнец, Международный суд в Гааге, даже обнаружил такую жизненную силу, какую только можно было от него ожидать. Неудачи самой Лиги Наций объяснялись прежде всего отказом от вступления в нее Соединенных Штатов. По эту сторону океана в те времена еще в очень малой степени мыслили трансатлантически, не говоря уже о тихоокеанских просторах, чтобы своевременно осознать, что лучше вообще обойтись без международного союза, чем создавать союз без участия США. Президент Уилсон в своем фатальном упорстве нерасторжимо связал вступление Америки в Лигу Наций с подписанием мирного договора и тем самым посадил на мель и то, и другое. Не то девять, не то четырнадцать американских сенаторов, чьи голоса повлияли на принятие отрицательного решения, приняли на себя столь тяжкую вину, каковая редко отягощала персонально отдельных политических деятелей.

Даже в самой Америке очень скоро поняли безмерную серьезность ошибки и красноречиво выразили огорчение по этому поводу. Книга Ирвинга Фишера *League or War* [*Лига или война*] была написана уже в самом начале 1920-х гг. Значительно позже, когда громадное несчастье уже нависло над всеми, появилась книга Джеймса Шотуэлла *On the Rim of the Abyss* [*На краю пропасти*]; обе — прорицания Кассандры: что одна, что другая.

Отвлекаясь от разочаровывающей деятельности Лиги Наций, вплоть до тех лет, когда государства-члены одно за другим покидали ее, как задиристые мальчишки^{88*}, позволим себе в свя-

зи с тем, о чем мы, собственно, ведем речь, а именно в связи с переоценкой национальной идеи, сделать одно замечание: дело в том, что наименование *Лига Наций*, *League of Nations*, *Société des Nations*, во всяком случае по моему мнению, с самого начала было основано на заблуждении. Те, кто объединились в этой организации, были вовсе не нации, не народы, да они и не могли ими быть, но — государства. Нации суть неопределенные, неосязаемые величины, которые никогда не могут выступать как исторические субъекты, о каком бы действии ни шла речь. Народ, или нация, повторим еще раз, это некий идеал, некое чаяние, а не четко очерченная реальность; возможно, лучше всего было бы сказать — солидарность. Так называемая Лига Наций была объединением государств, а не союзом народов, шатким объединением для достижения определенных целей, несколько не походившим на федеративный союз.

Этим неверным наименованием — *Лига Наций* — отомстило расхожее и сейчас более, чем когда-либо внушаемое стремление значительно переоценивать понятие *национальность*, против чего мы здесь выступаем. Понятию *нация* неизменно присуща значительная степень неясности, как бы ни пытались прикрыть этот факт вводящими в заблуждение лозунгами организаций или партийных группировок. Если бы Лига Наций скромно назвала себя *сообществом правовых государств*, вместо того чтобы напускать на себя видимость осуществления невозможного, тогда, быть может, она уберегла бы себя от серьезных ошибок и унижения, после чего эта институция должна будет возродиться улучшенной и очищенной, если понятие *правовое государство* вновь войдет во всеобщее употребление. В будущей форме мирового сообщества ничто не должно быть потеряно из того богатого многообразия, которое представляют собой государства, народы, отечества. Напротив, если в ближайшем будущем действительно придет время культуры, то чувство привязанности, которое мы называем национальным, чувство родины, должно будет охватывать, по возможности, не слишком обширные территории

и места проживания. Во благо последующему периоду пойдет федеративное объединение социально, экономически и политически ограниченных единиц, под защитой нескольких мировых держав или империй в качестве ответственных попечителей. И это должны быть истинные попечители, добросовестные и — насколько возможно — мудрые и великодушные.

Вероятно, некоторое время настоящая культура может сохраняться в большом централизованном государстве, но возникать и органично развиваться сможет она лишь в рамках автономно организованного сообщества более или менее однородных групп.

Мир, кажется, отошел от верной оценки понятия *национальное* так далеко, как это вообще только возможно. Он всесторонне отравлен безудержным национализмом, который, вкупе с губительным милитаризмом, в конце концов привел его к такой катастрофе, которая никогда ранее не была бы возможна, ибо лишь теперь технически оснащенные средства власти позволили осуществить истребление людей и их материального достояния в столь гигантских масштабах. Вполне вероятно, чтобы конец этого оголтелого национализма наступил в форме неслыханного банкротства культуры или же из-за полного поражения гипернационалистических государств.

Но и в этом последнем случае разве будет сразу же готова почва для возрождения культуры? Ни в коем случае. Еще до того как станет возможно думать о действительном возрождении культуры, следовало бы выполнить ряд условий, которые, однако, будут всего лишь поверхностными, внешними.

Допустим, что разумное социальное и экономическое восстановление действительно создаст мирную атмосферу и что будет учрежден соответствующий международный инструмент для поддержания мира политическими средствами. Это должен быть хорошо продуманный наднациональный орган управления под началом нескольких крупных правовых государств, которые

возьмут на себя наднациональное и интернациональное руководство как четко прописанную и точно очерченную задачу верховной власти. Такая власть предоставила бы возможность достойно и почетно выполнять свои функции малым и средним государствам, если они проявляют добрую волю. Опасность новой агрессии была бы сведена к минимуму: во-первых, решительными и немедленными мерами по обузданию профессиональных агрессоров; во-вторых, объявлением агрессии преступлением с помощью гораздо более действенных средств, чем пакты Бриана или Келлогга⁸⁹. Признание и соблюдение определенных норм человечности, которые остаются в силе уже более двух тысяч лет, вновь должны стать общепринятыми. Националистические мечты о завоеваниях и господстве над целыми континентами должны быть отнесены к области, которая находится в ведении психиатров.

Такое оптимальное состояние всё же не будет шагом к существенному возрождению подлинной культуры. Или, лучше сказать, такое состояние можно реально помыслить только в том случае, если будет выполнено одно предварительное условие, а именно: между государствами возникнет доверие. Казалось бы, это всего лишь политическое условие, но такое, обсуждение которого уведет нас далеко за пределы вопросов чисто политического характера.

4. Доверие между государствами

Доверие между государствами и соблюдение ими принятых на себя обязательств никогда не были прочным достижением человечества. Некоторые будут готовы ответить, что государство в отношениях с другими государствами, по самой своей природе, признает или могло бы признавать понятие *доверия* лишь в очень ограниченной степени и что оно не могло бы себя вести соответственно с этим понятием. Беда в том, что рассуждающие так тем самым отвергают всякую возможность упорядоченного общества. Без взаимного доверия никакое общество, большое или малое,

политического или экономического характера, не просуществовало бы и минуты. В теории необходимость доверять и оправдывать доверие между государствами всегда признавалась, как в древности, так и во времена христианства, — всегда признавалась и всегда нарушалась. Но на долю XX в. выпало то, что устами многих наделенных властью глашатаев учения о государстве такая необходимость решительно отрицается даже теоретически. О том, сколь сильно подорвано на практике доверие между государствами, не многие примеры свидетельствуют с такой убедительностью, как довоенный Нионский пакт^{90*} 1938 г., когда совместно несколько стран, в условиях формально полного мира, осознали необходимость принятия общих мер против неизвестных подводных лодок, угрожавших судам этих стран. Здесь, вероятно, будет уместно продолжить наши рассуждения в несколько ином направлении и сказать несколько слов о пропаганде.

Пропаганда, как я уже писал несколько лет тому назад¹⁴, это искусство заставить других поверить в то, во что сам не веришь. Не убеждать, не уговаривать, но — внушать, или, по крайней мере, пытаться внушить, ибо в большинстве случаев это не удастся, поскольку каждый знает, чего стоит всякая пропаганда. Вот любопытный пример, как мало значит это слово, даже в официальном употреблении. Нидерландская дама встречается в Гааге с «обходительным» немцем, чиновником высокого ранга. В ходе беседы он со всей наивностью заявляет: «Aber Fräulein, was ich Ihnen erzähle, das ist keine Propaganda, das ist Wahrheit» [«Но, фройляйн, то, что я Вам рассказываю, вовсе не пропаганда, — это чистая правда»].

Происхождение слова достаточно примечательно. Оно идет из церковного словоупотребления. В 1622 г. папская курия учреждает *congregatio de propaganda fide*, то есть постоянную комиссию, (или бюро) кардиналов для распространения (буквально: размножения) веры — орган, на который возлагалась вся миссионерская деятельность. Слово *propaganda* употреблено здесь как определение и стоит в аблативе. Вплоть до XIX в. употребление этого

слова ограничивалось его значением в качестве прилагательного, и лишь впоследствии *пропаганда* стала употребляться вне церковного обихода, как существительное, которое очень скоро приобрело оттенок неискренности, предвзятости. Современные средства информации сделали политическую пропаганду одним из опаснейших и в то же время одним из примитивнейших методов обмана народа и манипулирования общественным мнением, и тем самым одним из злейших врагов культуры.

Но вернемся к вопросу о необходимости доверия между государствами. Тот, кто придерживается теории аморального государства, государства, лишенного этических норм, должен также отбросить принцип *pacta sunt servanda*⁹¹ [договоры должны соблюдаться]. Ибо нет никаких оснований возлагать обязанности на один публично-правовой орган и при этом освобождать от этой обязанности другой. Следующий шаг — отрицать все моральные нормы, стать убежденным имморалистом. Но тогда окажется, что и экономическая жизнь делается невозможной. Ибо она полностью основывается на доверии, то есть на нравственной функции. Самые простые обязательственные отношения, дебет и кредит, во все времена включали в себя признание морального принципа, потому что *дебет* означает принятие обязательств, а *кредит* — доверие. Исключение момента доверия в межгосударственных отношениях есть поэтому не только надругательство над духовными ценностями, но и полнейшая нелепость, ибо последовательно повлечет за собой отрицание всех прочих отношений доверия, включая личные, вплоть до самых малозначительных.

5. Требуется основа доверия.

Необходимость нового духа

Чтобы правильно оценить практическую возможность некоего минимума доверия между государствами, нужно иметь в виду, что любые отношения доверия, какими бы они ни были, нужда-

ются в существовании основы взаимного духовного согласия, на котором покоится доверие. Из физического или биологического мира самого по себе эта основа доверия не вытекает. Ни природа, ни материя не учат нас доверять друг другу. Основой доверия может быть только нравственный принцип. Это должны быть взаимная добрая воля и общее признание права. Тем самым теория государства, воюющего по самой своей природе, приходит к абсурду. Доверие должно быть присуще чувствам индивидуумов, переживаться ими до самых глубин сознания. Люди должны быть — и здесь будет уместно это большое и важное слово — одухотворены доверием. Оно должно быть коллективным и личным одновременно. Но оно таит в себе и опасность. Пылкий проповедник любой веры, любого учения тоже чувствует некую одухотворенность, испытывает прилив вдохновения. Даже нелепый демагог, возвещающий прямо противоположное тому, что он громкогласно заявил в качестве кредо и цели жизни, может находиться в состоянии некой одухотворенности самого дурного сорта.

Последнее слово о виде одухотворенности принадлежит, однако, вовсе не социальной психологии, которая всего-навсего описывает то, что она наблюдает. Если возрождение общественного доверия мыслимо только на основе нового, высокого, глубокого и чистого состояния души, тогда наша совесть требует большего, чем всего лишь констатации исторического факта, что та или иная группа временно выдвинулась вследствие ложной идеи, провозгласив ее своим мифом, и что этот миф дал ей материал для мировоззрения и этики, одним словом, полностью определил ее представления об истине и благоразумии. При взгляде на руины мира, который мы так любили, мы теперь лучше любого поколения, которое было до нас, понимаем, до какой бесконечной степени злобы может опуститься человек в своем слепом и глупом безумии. Чисто земные средства от этого не излечат. Новая одухотворенность, в которой нуждается человечество, может быть найдена лишь в тех сферах, где милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются¹⁵. Так вопрос о возможности восстано-

ления устроенных межгосударственных отношений ведет через этическое — к религиозному, к идее милости и спасения.

Итак, мы подошли к заключению, что человечеству, для того чтобы в дальнейшем быть готовым к упорядоченному общежитию, необходимо вернуться к почти утраченному им сознанию метафизической подоплеку своего существования. Это касается не только человека в народе или в государстве, но человека как индивидуума. Мы слишком хорошо знаем, что средний наш современник еще очень далек от такого сознания, если только не почерпнет его в прочной и твердой вере. Средний, заурядный человек должен поэтому измениться как личность, но мы, к сожалению, знаем, что человек меняется не легко. И всё же только на этом основывается наша надежда на лучшее. Чтобы возродить в себе дух, который является неотъемлемой основой всякой морали, всякого доверия и ответственности, всякого чувства права и человечности, человек должен вновь живо и целостно осознать, что он есть существо, которое живет по милости и чаёт спасения.

Этот последний пункт в конечном счете выступает на первый план при любом подходе к культуре. В дальнейшем мы попытаемся сформулировать его несколько более четко, сравнивая две всемирные идеи спасения, которые нам хорошо известны: индийскую и христианскую.

6. Чаяние спасения

Уже на самых ранних стадиях своего восхождения к культуре человек ощущает себя в этой жизни стесненным со всех сторон, ущемленным, скованным по рукам и ногам узами, от которых он должен попытаться освободиться. Поначалу он воспринимает эти *узы* чисто материально и почти все напасти и тяготы своего существования выражает в образах скованности и узилища. Страдания и муки — это узы или притеснения демонов, сети или специально расставленные ловушки. Этнология рассказывает о ди-

карях, которые вешают на деревьях сети или петли из волокон растений, чтобы, если мимо пройдет враг, улавливать его душу или то, что они называют бестелесной частью его существа. Подобные представления фактически сохраняются и на ранних, и на поздних стадиях религии и культуры в виде веры в ведовство и колдовство. Злой враг тайно держит нас в своих узах, он ущемляет, мучает, изводит нас, и освободиться от его колдовства мы сможем, только если знаем верные средства. Любая книжонка о колдовстве полна веры в ковы и узы, тайно насылаемые колдунами и ведьмами. В большинстве случаев они чинят помехи в сексуальной сфере. Поразительного сходства между суеверными и психопатологическими образами скованности мы здесь касаться не будем. Напомним лишь походя, что в основе понятия и слова *religio* лежит представление о связанности⁹².

Если мы хотим обратиться к сознанию связанности несколько более высокого уровня, чем оно присутствует у дикарей, то для этого в особенности пригоден круг мыслей четвертой из *Вед*⁹³, *Атхарваведы*, которая большей частью содержит в себе колдовской ритуал архаического характера. Там снова и снова на первый план выступает представление о расставленных повсюду ловушках, с которыми подстерегают человека боги и демоны. Из великих богов в особенности один орудует петлями и ловушками, а именно загадочный и устрашающий Вáруна⁹⁴, атрибутом которого служит *rāṣa*, *петля*. В одной из песен описывается, как дом, перед тем как в нем поселиться или просто войти в него, сначала тщательнейше очищают от колдовских ловушек, которые могли бы быть в нем сокрыты.

Утесненность, в которой проходит жизнь смертных, носит в *Атхарваведе* особое наименование *ambhas*, весьма примечательное слово, ибо этимологически оно соответствует не только нашему слову *страх*, но к тому же, по всей вероятности, обозначает душевное состояние, которое уже в культуре *Вед* наделяется теми же отличительными чертами, что и понятие страха, играющее такую большую роль в современных философии и психологии.

Совершенно очевидно, что соответственно сознанию утесненности стремление к высвобождению, к вызволению также принимает вскоре ритуально закрепленную форму. От корня *тиṣ*, обозначающего высвобождение вообще, в древнеиндийском регулярно образовано существительное *mokṣa*, *мóкша*, полностью соответствующее нашему *спасению* в его религиозном значении и получившее большое религиозное будущее. Можно теоретически представить себе исходную фазу, где высвобождение, избавление предполагает еще в первую очередь наличие материальных, или скорее реальных, телесных уз. Но, без сомнения, почти с самого начала сюда проникает мистическое сознание, и очень скоро факт высвобождения замещается духовным освобождением после смерти. В религиозных понятиях, таких, как *избавление* или *спасение*, никогда невозможно точно установить границы, при которых представление осязательной реальности принимает по существу мистический характер или даже становится чистым образом или символом. Насколько прочно мысль о материальных путях может сохраняться и на более высоком религиозном уровне, доказывает встречающееся в *Псалме* 17, 6 выражение *сети смерти*. Слова *laquei mortis* нашли место в формуле церковного анафематствования: *cadet in laqueos mortis* [*да падет в сети смерти*] желают нарушителю церковных запретов.

Развитие индийского понятия *мокша* в представление о потустороннем не вело непосредственно к систематизированной вере в повторяющееся рождение, как оно встречается в позднейшем брахманизме и буддизме. В брахманах^{95*} (*brāhmaṇa*), странных трактатах, с их причудливым переплетением ритуалов жертвоприношений, мифологической фантазии и мистики, представление о скитаниях души еще подвержено колебаниям. До того как индийский дух повторяющееся вновь рождение, постоянно заново начинавшуюся жизнь (*punarbhava*) стал воспринимать как нескончаемое страдание, его, по-видимому, начинает мучить страх перед всё повторяющимся умиранием (*punarmṛtyu*). Но эта стадия могла быть очень недолгой. Вскоре получила признание

схема, которая стала основой религиозного мышления — и того, что исходило из древнего брахманизма, и для буддизма.

Всякое существо, умирая, оставляет после себя свою *карму* (*karma*, буквально — *содеянное*). Эта *карма* накапливается как вечный и наследуемый нравственный баланс всех им совершенных деяний, не только за время последнего существования, но и в ходе бесконечной вереницы всех предшествующих существований, как долг, который никогда не может быть ни прощен, ни уплачен и который вынуждает это существо постоянно рождаться вновь и постоянно переживать всё новое существование, которое вновь добавляет к его *карме* некую сумму деяний. Иногда, казалось бы, ничтожное доброе дело из давно забытого существования в далеком прошлом неожиданно оборачивается новым рождением в самом высоком ранге, как это случилось с тем смертным, который вновь родился как Бодхисаттва (Bodhisattwa, будущий Будда)⁹⁶, потому что когда-то дал бедному брахману немного рисовой каши¹⁶. Даже небожители не исключены из железного закона *кармы*, ибо их бытие — это лишь высокое и долгое существование, но не вечность. Чаяние спасения может быть направлено лишь на прекращение бесконечной чреды рождений, ибо всякое существование есть зло. Но достигнуть такого прекращения почти невозможно.

Здесь выявляется существенное различие между брахманистским и буддистским воззрениями. Для брахманизма *самость*, *ātman*, то есть постоянно возрождающееся жизненное ядро, — это позитивная величина, то, что есть, сущность. Индивидуальный *атман* может в конце концов, через достижение полноты знания, войти во всебытие, с которым он есть единое. Буддизм, однако, отрицает существование индивидуального жизненного принципа самого по себе. Там нет индивидуальности, нет *ego*, претерпевающего чреду всё новых рождений. Воздействие *кармы* становится поэтому чем-то механическим и почти негативным. *Карма* не имеет жизненного субстрата и тем не менее вызывает всё новые рождения существ, которые несут на себе долги

прошлых существований. Весь этот круговорот, *samsāra*, находит свой конец лишь в уподоблении Будде, завершённом знании, пробуждении, из которого больше не будет перерождений. Нирвана (*nirvāṇa*) — это неясно определяемое угасание, или обезжизнение, которое, собственно, не распространяется на субъекта, потому что в буддизме субъект вообще отсутствует.

Здесь следовало бы лишь отметить существенное различие между индийским и христианским понятиями спасения. Оно прежде всего заключается в следующем: индийское понятие *мокша* можно перевести как *вызволение, избавление, спасение*, но не как *redemptio*, буквально — *искупление*. Представление об искуплении здесь всецело отсутствует. К цепи повторных рождений, вплоть до высочайшего величия или низменнейшего падения, до степени животного или исчадия ада, никак не причастен никакой высочайший и жизненно активный фактор; есть спасение, но нет Спасителя¹⁷. Этому фундаментальному различию непосредственно соответствует и другое: спасение всегда относится к кому-либо отдельному, и никогда к человечеству в целом.

Мне иногда кажется, что индийский дух, при всей его бездонной мистической глубине, всё же, собственно, никогда так и не сделал шага к подлинному, простому представлению о потустороннем, к представлению о вечности. Даже там, где все наблюдаемые явления он объявляет *иллюзией, т̣ау̣й, майя*, или говорит, что *всё есть пустота, sarvaṃ śūnyam*, представления, которые он всё-таки должен как-то оформить, остаются витать в сфере, не являющейся сферой чистой вневременности. Концепция совершенно иной, непостижимой для нас, формы существования вне времени и пространства, которая есть ключ к вере в бессмертие, индийской мысли неведома.

За вопросом, кого спасают и каким образом, следует вопрос, от чего именно. И здесь снова громадный контраст. Индийский дух уже на очень ранней стадии проникся принципом полного отрицания жизни. Там — стремление к спасению от жизни, от личного или индивидуального дальнейшего, постоянно возоб-

новляемого существования. Ответ христианской веры на этот вопрос — спасение от смерти. От смерти и от греха. Понятие вины в *карме*, как мне кажется, не вполне эквивалентно христианскому понятию греха, но мы не будем останавливаться на этом вопросе. В индийском понятии спасения отсутствует строгость линий и четкость фигур христианской системы мышления: идеи искупления, Богосыновства, грехопадения, крестной смерти, покаяния.

Христианство во все времена предоставляло малым умам широкие возможности для самого убогого эгоизма спасения, который печется лишь о своем собственном, стремится лишь к собственному блаженству; однако в своей идее спасения христианство, без сомнения, обладает измерением, которое отсутствует в восточных религиях.

7. Следует ли ожидать возрождения христианской веры?

Если решить, что миру, который мы называем Западным миром, понадобится новая одухотворенность, чтобы он сумел взяться за восстановление настоящей культуры, — создать бы только основы доверия между государствами, — и что обрести эту одухотворенность мир сможет лишь в форме, соответствующей метафизической потребности человека, то сразу же возникает вопрос: будет ли мир способен воспринять эту новую одухотворенность, и если да, сможет ли она прийти в виде возрождения христианской веры?

Нет сомнений, что безмерные несчастья последних лет резко повысили во всех слоях и во всех странах потребность в религии. Многие как будто готовы и открыты к повсеместному возрождению христианского сознания. Тем не менее мне кажется крайне важным не основывать надежду на такое оживление веры на слишком дешевом оптимизме, который вполне удовлетворяется желаемой интерпретацией некоторых благоприятных явлений. Эта

проблема слишком серьезна для дешевого оптимизма, и уж лучше погружаться в мрачные мысли и предаваться сомнениям, чем тешиться прекрасной иллюзией. Следует отдавать полный отчет в отношении тех факторов, от которых может зависеть действительное оживление христианской идеи в ближайшем будущем.

Некоторые, расценивая христианство как историческое явление, приходят к заключению о почти полной идентичности современной культуры Запада и христианства. Мир, полагают они, даже если он лишь в ограниченной степени живет непосредственно христианской верой, за две тысячи лет настолько проникся духом христианства, что его культура вполне может быть названа христианской. В этом роде писал за несколько лет до войны горестно оплакиваемый нами Менно тер Браак⁹⁷ в одном из своих последних и лучших эссе *Van oude en nieuwe Kristenen* [О старых и новых христианах]. Ясно, что верующий христианин не может примириться с таким выводом. Он не только отвергнет этот тезис, но и ни в коей мере не удовлетворится душевно-нравственным христианским ренессансом, который, стирая почти всю догматику, ищет спасения во всеобщем обращении ко Христу. Он потребует заплатить сполна, имея в виду всеохватывающее принятие и переживание догматов в одном из трех великих, порожденных временем, вариантов: римско-католическом, греко-кафолическом или протестантском.

Сразу же возникает нелегкий вопрос: можно ли вправду думать, что в ближайшем времени люди среднего духовного уровня вновь будут жить представлениями о крестной смерти, воскресении, предопределении, Страшном суде? Разумеется, речь не о том, что они начнут выражать свою веру в этих понятиях, но что эти представления станут их жизнью и тем самым сделаются их культурой. Мне кажется, было бы чересчур смелым предположить такой поворот в самом ближайшем будущем. Нынешнее человечество в Европе и Америке в целом стремится приобретать и получать удовольствие. Всё возрастающее число людей застывают в будничности и вульгарности, которые вовсе не уст-

раняются принадлежностью к какой-либо Церкви. Связь с той или иной Церковью в лучшем случае несколько повышает их трудолюбие и иные социальные добродетели, но не создает какой-либо почвы для метафизически определенной жизненной направленности, которая стала бы основным условием действительного возрождения христианства и без которой едва ли возможно надежное возрождение правопорядка и культуры.

В связи с вопросом о возможности возрождения христианской веры возникает и другое сомнение, которое нужно высказать, как бы неприятно оно ни звучало. Удавалось ли когда-либо христианству, даже во времена, когда оно располагало наиболее пылкой и всеобщей поддержкой, сделать среднего человека лучше, мудрее? Выполняло ли оно когда-либо в качестве культуросозидающей и культуроохраняющей силы то, что заключалось в самой его сущности? Завтрашний мир не будет обладать зрелостью для возрождения христианства, он слишком опутан всем тем, что противостоит христианству.

Олдос Хаксли, исходя из своей недавно обретенной религиозной, но не христианской, точки зрения, в уже упоминавшейся мною книге *Ends and Means* [*Цели и средства*] установил в качестве основных принципов обновления культуры, наряду с требованием *non violence* [*ненасилия*], также требование *non attachment* [*непривязанности*]. Этим последним — здесь можно было бы, не слишком изменив смысл, говорить о *самоограничении* — он вновь предлагает то самое, что индийская мысль, например в *Бхагавадгите*⁹⁸, считает высшим требованием правильной жизни: *состояние непривязанности, asakti*. При этом индийское учение провозглашает *непривязанность* стремлением, которое должно распространяться на всё земное, и тем самым отнимает почву у Любви во всех ее проявлениях. Современный человек Запада никогда не сможет пойти столь далеко. «The only progress, — как справедливо говорит Хаксли, — is a progress in charity» [*«Единственный прогресс — это прогресс в милосердии»*]. Прогресс в Любви.

Это самое высшее, что можно требовать от человека, от человека вообще.

То, что современный мир, грубо разделенный на народы и государства, созрел для такого прогресса, утверждать не сможет никто. И всё же это было бы настоящим требованием ради культурного возрождения, ради самого внешнего и самого необходимого его элемента: доверия между государствами. Да, действительно, основания быстрого возрождения настоящей культуры еще не заложены. Алчность, жажда власти и насилия нигде не исчезли; мир идет навстречу своему будущему всё еще как общество стяжателей, общество, жаждущее выгоды и наслаждений. Перспектива кажется мрачной. Следует ли поэтому делать вывод, что нас ожидает утрата культуры, что нам не остается ничего другого, как примириться с ее дальнейшим упадком? Ни в коем случае. Вывод должен гласить: даже если общество не созрело и, возможно, никогда не созреет для существенного улучшения себя самого, тем не менее люди, каждый человек в отдельности, каждый ради собственной малозаметной персоны, должны продолжать стремиться к осуществлению хотя бы крошечной доли необходимого нам всем прогресса в Любви.

8. Кажется ли вероятным если не достижение идеала, то хотя бы новый расцвет в области эстетического?

Вполне допустимо предположить, что, даже при убеждении в отсутствии глубоких предпосылок культурного оздоровления, выходящих за рамки естественного, имеет смысл коротко остановиться на возможностях, существующих для обновления культуры в отдельных областях менее возвышенного характера. Сегодняшний наблюдатель, по всей вероятности, прежде всего обратится к области эстетического, учитывая чрезвычайно важное место, которое издавна занимало искусство в возникновении и формировании понятия *культура*. Обнаруживаются ли сейчас объективные признаки наступающего оживления в искусстве и литературе?

После внешнего восстановления государственного порядка и прекращения военных действий несомненно появится повышенный интерес к новому искусству и страстное желание всеми силами способствовать его появлению и развитию. Но каковы будут творческие силы и что станет материалом этого нового искусства? Никто не сможет утверждать, что возникновение искусства когда-либо зависело от решений властей. Здесь как нигде неоспоримо утверждение, что только личность порождает культуру. Авторитарные государства из кожи вон лезли, стараясь регламентировать художественную продукцию, но такие усилия никогда не могут породить ничего выдающегося. Вопрос, появятся ли среди нынешнего молодого поколения большие художники, остается открытым.

Будут ли общественные условия благоприятными для искусства? Предположим опять-таки тот оптимум внешнего возрождения, который будет следствием упрочения международного правопорядка, определенного равновесия в реконструкции экономики и такой социальной гармонии среди населения стран и континентов, что во всяком случае предотвратит непосредственную опасность новой агрессии и появления химер новых завоеваний или мировой революции. Будут созданы условия для беспрепятственного общественного и личного международного общения, до некоторой степени стабильного денежного обращения и такого уровня международного доверия и безопасности, который будет в состоянии вынести этот злой мир. Так вот, всё это ни в коей мере не означает возрождения культуры, это всего лишь почва, на которую смогут упасть и в ней прорасти семена одухотворенности, необходимой для более высоких свершений.

Не говоря уже о множестве индивидуальных талантов, которым еще предстоит созреть, возрождение искусства всегда зависит от технической базы, на которую должен опираться художник. Она, собственно, подвержена непрерывным изменениям только для архитектуры. Улучшение и совершенствование материалов происходит безостановочно, и задачи архитектуры по

восстановлению разрушенного необозримы. Архитектуре предстоит доказать, есть ли еще новые возможности формообразования в бетоне и стали. И всегда она будет чувствовать себя связанной в общем ограниченной варьируемостью архитектурных форм. Для нас всех почти нестерпима мысль, которую тем не менее мы не можем отбросить, что искусство архитектуры уже исчерпало свои творческие возможности в творениях прошлых поколений и что оно в будущем будет довольствоваться исключительно простым воспроизведением и подражанием традиционному, лишь добавляя мотивы орнаментального характера или разрабатывая более тонко уже существующее.

В отношении искусства живописи возникают еще более тревожные мысли. Архитектура до известной степени защищена от опасности впасть в бессмысленность или в безвкусицу необходимостью создавать полезные пространства, и к тому же она трудоемка и требует высоких затрат. В живописи эти препятствия, лежащие в самой природе искусства, отсутствуют, и в скульптуре действие их не безоговорочно. Оба эти вида искусства, хотя в основном и не пострадали, за последние полвека то и дело выходили за рамки в стольких эксцессах, сколько их в состоянии был изобрести мозг, падкий до эффектов, которые испорченная снобизмом публика позволяла себе навязывать, иной раз вплоть до полного идиотизма. После того как импрессионизм исчерпал свое время и стал искусством прошлого, с его великими и почтенными традициями, дух лжи поразил и в живописи многих, — правда, к счастью, незначительное меньшинство, — нанося ущерб мастерству и усердию и сбивая с толку ложными лозунгами. Если одному нечего было выразить, а другой не мог выразить то, что он чувствовал, то в их достойных сожаления глупостях всё-таки усматривали *идею*. Что это за идея, в большинстве случаев, однако, умалчивалось; на самом деле ее там и не было.

Уже к 1910 г. в области живописи и графики были достигнуты пики абсурда и банальности, за которыми ровно ничего не скрывалось. К счастью, и здесь природа оказалась сильнее тео-

рий. Значительное большинство художников не перестали опираться на великие и неискоренимые принципы своего благородного ремесла, и время еще покажет, сколько придется удалить из музеев просто-напросто мусора и рекламы. При этом благоприятный прогноз о скором расцвете хорошего, нового искусства вовсе не гарантирован. Приходится утешаться тем, что *spiritus spirat ubi vult* — дух дышит, где хочет⁹⁹. Однако нет большей опасности для искусства, которое еще должно появиться, чем судорожное стремление к первозданному, абсолютно новому, что со времен романтизма забивало мозги и сбивало с толку.

Для возникновения большого искусства общественные условия, конечно, имеют существенное значение: социальное положение художника, способ, которым он постигает свое ремесло, вопрос, для кого он работает, кто будет воспринимать его искусство и как именно. С давних времен широкая публика воспринимает и осознает ценность, жизненную важность искусства. Каждый убежден в его высоких задачах. Художественному воспитанию уделяется большое внимание, его средства, подходы и методы постоянно улучшаются, но всё это нисколько не гарантирует скорого появления новых выдающихся творцов искусства.

Нужно сказать еще об одной вещи относительно общих предпосылок развития искусства. Большое искусство с древнейших времен — доисторического искусства мы касаться не будем — всегда было связано с городской средой. Там оно находило место, для которого было предназначено: храм, дворец, зал или площадь; там жили его заказчики, там оно находило сбыт, своих ценителей и потребителей. И в этих предпосылках вплоть до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Нет оснований полагать, что связь искусства с городской средой вскоре перестанет существовать. Возникает, однако, вопрос, смогут ли современные города, при их бесконечном росте, оставаться средоточием художественной продукции. Безграничные возможности обмена, охватывающего также репродукции и их распространение, с одной стороны,

поощряют художественную деятельность, но с другой — отнимают у искусства, как в чисто локальном, так и в идеальном плане, возможность спокойной созерцательности, без чего человек не может обратиться к глубинным основам своих духовных способностей. Искусство создается только личностями, которые пребывают в духовном покое и обладают самостоятельностью. Там, где нет условий для такой самостоятельности и для такого покоя, и тем самым для развития такой личности, там у искусства плохие шансы, даже если вполне выполняются требования в отношении серьезного образования и профессиональной подготовки специалистов. Публика, для которой творит художник, становится всё более многочисленной. Люди уже со школы мнят себя знатоками. Останется ли в обществе, более инструментализированном, чем когда-либо раньше, плодородная почва для произрастания нового, большого искусства? Вывод, к которому приходит наше ограниченное нынешним днем суждение, едва ли может звучать иначе, чем взыскательное: трудитесь и не теряйте надежды! Одна из немногих вещей, которые мы знаем наверняка, — что всё всегда складывается иначе, чем думали. Почему не может случиться, что всё будет лучше, чем ожидалось?

Вполне понятно, что относительно видов на литературу выводы могут звучать не намного иначе, чем при взгляде на изобразительное искусство. Условия для развития литературы еще менее могут быть описаны в четких терминах и определениях, чем это было сделано для изобразительного искусства. Расцвет, застой или упадок литературы в гораздо меньшей степени, чем в случае изобразительного искусства, зависят от места или среды. Большая поэзия может рождаться всегда и повсюду. Это не значит, что социальная структура и формы общественной жизни не оказывают существенного влияния на поэтическое искусство, однако здесь они менее значимы. Вполне вероятно, что растущая урбанизация является для литературы гораздо менее решающим фактором и в плохом, и в хорошем смысле, чем для изобразительного искусства. И всё же разве и для поэта одиночество не

является и ценным, и необходимым? Что ожидает поэта там, где достигнуть одиночества становится всё труднее?

В отношении литературы, так же как и в отношении изобразительного искусства, мы испытываем опасение, не подстерегает ли и ее та же угроза исчерпанности формальных возможностей. Сомнение в неисчерпаемости литературного материала может показаться слишком наивным. Всякое время и всякий поэт всегда будут в состоянии организовывать материал по-другому — мы склонны принимать это без оговорок. Конечно, возможности варьирования материала можно считать безграничными. Но варьирование — это нечто иное, нежели создание собственных, еще неизвестных форм. Дешевый оптимизм и здесь хуже взвешенного сомнения. Мы не должны забывать, что в ходе последних столетий фактически исчез один из великих литературных жанров — эпос, нашедший последнее великое выражение у Камозенса и Тассо¹⁰⁰. Не может ли то же самое произойти и с романом? Не истрепали ли до предела этот литературный жанр свою основную тему — ухищрения любви? От головоломной утонченности — если не от заблуждений — современной психологии роману вряд ли следует ожидать действительного обновления или взлета. Лирика, начиная с появления романтизма и сентиментализма и вплоть до расцвета литературного импрессионизма, который обычно именуют реализмом, жила выражением чувств и впечатлениями от природы. На протяжении всего XIX столетия она достигала несравненных вершин. Но также и эти источники поэтического вдохновения во многих отношениях, кажется, готовы иссякнуть. Одним словом, предекать поэтическому творчеству период позитивного оживления и нового расцвета было бы столь же рискованно и необоснованно, как и предсказывать подъем изобразительного искусства.

Следует, однако, учитывать фундаментальное различие обеих великих сфер художественного созидания. Литература легче изобразительного искусства переносит даже довольно долгий период стагнации. Литература гораздо меньше подвержена износу

или уничтожению, по крайней мере если речь идет о сохранившихся произведениях, а не о сочинениях, которые исчезли тысячу и более лет назад. Если некую прошедшую эпоху уже признали классической, то позднейшие времена могут довольно долго питаться ее творениями. Эти богатства нужно всего лишь вновь перечитывать и заново переиздавать, чтобы они были доступны каждому, кто захотел бы прийти и воспользоваться этими драгоценностями. Так XVI и отчасти XVII столетие, в принципе, жили сокровищами античности. Лишь в *Querelle des Anciens et des Modernes* [Прении людей древних и нынешних] вскоре после 1680 г. был всерьез поставлен вопрос, действительно ли классическая литература обладает преимуществами перед более поздними сочинениями¹⁰¹; но также и после этого времени всё древнее, ценившееся как великое, продолжало воздействовать на всё новое, которое прокладывало себе дорогу.

Искусство книгопечатания положило конец безнадежному исчезновению немалой части литературного материала. С тех пор всё, вообще-то чересчур многое, остается в сохранности, разве что спасительной силой становится плохая бумага. Около 1570 г. некий Луи Лё Руа, полный восхищения перед еще таким молодым и уже столь совершенным печатным искусством, подготовил подробное описание печатного станка и работы печатника, чтобы можно было обратиться к его трактату, если вдруг это бесценное ремесло погибнет в результате военных действий или иных каких-нибудь бедствий. Однако едва ли следует опасаться, что когда-либо придется воспользоваться этой мерой предосторожности: бедствия войны побуждают скорее к обратному.

9. Изменения в оценке основных добродетелей

Оставим на время вопрос о шансах на возрождение культуры в области эстетического и вернемся к прогнозам относительно культуры вообще. Если подлинный прогресс действительно состоит в росте Любви и гуманности, с чем мы безусловно соглас-

ны, тогда наш мир, по всей вероятности, отстоит бесконечно далеко от прогресса. Сейчас война вновь повсюду посеяла пагубные семена ненависти и мстительности, гораздо более страшные, чем какая-либо война до этого. И именно сейчас должна была бы завоевывать себе почву высочайшая из всех христианских добродетелей? Именно сейчас должно было бы отступить желание побеждать и завоевывать, перестав быть доминантой общественной жизни, при том что нравственный базис, необходимый для выполнения этого требования, всё еще не заложен, не говоря уже о наличии воли, способной обеспечить всё это? Невозможно поверить в такой духовный переворот, в такое изменение человека в его глубочайшей сущности.

Но нельзя ли предположить возможность или хотя бы допустить вероятность некоторого улучшения, если устремить свой взгляд не столь высоко? Задолго до того как христианство провозгласило триаду веры, надежды, любви, которые позднее были названы тремя теологическими, или (при несколько гибридном словообразовании) теологальными, добродетелями, греческий дух задал ряд из четырех добродетелей, которые в христианском учении получили наименование кардинальных.

Этими четырьмя главными добродетелями, не касаясь незначительных вариаций, были названы *fortitudo*, *iustitia*, *temperantia*, *prudentia* [*стойкость, справедливость, умеренность, благоразумие*]. Их значения не совсем легко полностью передать по-нидерландски, особенно это относится к терминам *fortitudo* и *prudentia*. И не нужно с пренебрежением спрашивать: что говорят нам эти старые абстракции, эти общие понятия давно ушедшего мира идей? Ведь для подобных вещей у нас есть такая наука, как психология! — Уже более сорока лет я придерживаюсь убеждения, и его неоднократно высказывал, что все эти перечни добродетелей и пороков, неважно, насчитывают ли тех и других семь или восемь, обозначают один из наших ценнейших мыслительных инструментов — сегодня, как и две тысячи лет назад, — для постижения всего, относящегося к человеческой душе и морали.

Что касается вышеупомянутого ряда главных добродетелей, не может не привлечь внимания примечательное различие в почитании, которого удостоивались отдельные члены ряда в различные культурные периоды. *Fortitudo* всегда высоко почиталась, и это продолжало оставаться без изменений. Да и как могло быть иначе? Самомнение всегда побуждало человека ставить себе в заслугу собственные силу и мужество. Ведь само понятие добродетели, в этическом смысле, исходило из почитания телесной силы и мужества как самых благородных и великолепных человеческих качеств. Эпохи высокой культуры, языческие или христианские, всегда понимали *fortitudo* как духовную силу, как энергию, направленную на достижение высшего, как стойкость в страдании и несчастье. И только в наше время в определенных слоях грубое почитание *действия* самого по себе, независимо от его нравственной сути, тупо и нагло пытается занять место, которое по праву занимала старинная добродетель *fortitudo* — *virtus*¹⁰² у древних римлян.

Вторая из четырех главных добродетелей, *iustitia* [справедливость], будучи непосредственным причастна Божественному, занимала, пожалуй, наивысшее место. Справедливость как добродетель, как идеал, как понятие — в теории — никогда не отрицалась, пусть бы она постоянно и нарушалась. И лишь это злосчастное поколение, которому даже простейший смысл слова *право* уже недоступен, осмелилось право, а с ним вместе и справедливость, подчинить коллективным интересам одного народа, в его ограниченности и во времени, и в том, что касается его идеалов.

Менее явно обрисованы и описаны были две другие главные добродетели: *temperantia* [умеренность] и *prudentia* [благоразумие]. Требовалось иметь невозмутимость и гармоничное равновесие духа, чтобы соблюдению меры, срединности, воздержанности придавать характер высокой добродетели. Греческий дух знал невозмутимость, гармонию; и μεσότης [середина], *temperantia*, не вызывала сомнений. Хотя христианство во многом было склонно указывать именно на крайность как на идеал, далекий

от безопасной середины, *μηδὲν ἄγαν*, умеренности, тем не менее и христианское мышление отводило более чем достойное место понятию *temperantia* как одной из главных добродетелей. Не случайно, что именно там, где христианский идеал впервые приближается к миру и смешивается с мирским чувством, а именно в придворной поэзии миннезингеров, *temperantia* возвышается до степени высочайшего жизненного идеала: *mesura* провансальских поэтов, *mâze* немецкого миннезанга¹⁰³. Тот, кто хорошо знаком с Ренессансом и ищет его суть не только в семействе Борджа или у Бенвенуто Челлини, знает, что Ренессанс также, при всей чрезмерности Микеланджело, Рабле или Парацельса, восторженно почитал добродетель умеренности. Лишь с появлением романтизма во второй половине XVIII в. *temperantia* как главная добродетель встречает пренебрежение. Начиная с Байрона, Ницше и вплоть до сегодняшнего дня нам внушают со всех сторон, что умеренность — добродетель малодушных и идеал обывателей.

Ныне пренебрежение испытывает также и последняя из четверки — *prudentia*. Σωφροσίνη, здравомыслие, благоразумие, рассудительность, предусмотрительность — всё это было хорошо для XVIII в., вновь стало хорошо для либерализма XIX в., но ведь это банальная, буржуазная добродетель — выбросить ее вон!

10. Буржуа

Сделаем теперь несколько шагов в сторону, это понадобится нам для дальнейшего рассуждения. Обратим внимание на постепенное обесценение понятия *буржуазный*. Для греков *πολίτης*, для римлян *civis* [гражданин] всегда оставались почетными званиями. Как случилось, что продолжения этих понятий: *burgensis*, *бюргер*, *горожанин* в Средневековье, *bourgeois* во Франции — так рано приобрели уничижительный оттенок, а носитель этого имени стал предметом поношения для представителей других классов? Это произошло, в первую очередь, из-за того, что во времена Средневековья человек не обладал и не мог обладать тем полити-

ческим чувством, которое породило античные понятия *πολιτεία*, *civitas* и *civilitas*, бывшие исходным пунктом и ставшие завершением того, что мы теперь называем культурой. Люди Средневековья видели бюргера лишь в незначительности его городской замкнутости и непритязательности его ремесла или торговли. Кроме того, у человека Средневековья сословное презрение и сословная зависть проявлялись сильнее, чем подобные чувства в Античности. Прежде всего бюргер не принадлежал к людям благородного звания. И низшие, и высшие его ненавидели, презирали и завидовали ему, ибо презрение и зависть всегда идут рука об руку. Стоило бюргеру разбогатеть, как он сразу же начинал разыгрывать из себя дворянина и становился посмешищем. Тип *bourgeois-gentilhomme* [мещанина во дворянстве] на самом деле не так уж необходимо искать у Мольера — этот тип был известен с тех пор, как существовал сам буржуа. Для высших сословий буржуа предстает человеком неполноценным. Образ буржуа порожден завистью окружающих.

Затем, независимо от классического восхваления положения *гражданина*, где раньше, где позже, приходит время высокой оценки его общественной пользы и одновременно с этим — теоретически малой ценности сословных различий вообще. *Гражданин* начинает вызывать уважение, гражданское чувство приобретает оттенок гражданственности в самом лучшем смысле этого слова. *Bourgeois* на какое-то время исчезает в *citoyen* [гражданине].

И вот в XIX в. происходит новый поворот в эмоциональном восприятии этого слова. И социалистический, и романтический идеал возлагают проклятие века на буржуазность. Буржуа становится воплощением всех общественных зол. Вот кто из подлой корысти поддерживает несправедливость и неравенство во всем мире. Долой буржуа! Из этой новой химеры, продукта зависти прочих, вкупе с мудростью улицы, прежде всего Карл Маркс выковал то отравленное оружие, с помощью которого в России вырвавшийся на волю плебс, смешанный с элементами подхва-

ченной вихрем интеллигенции, вскоре уже смог выкорчевать высшие классы великого и талантливого народа под исторически нелепым именем *буржуазии*.

Не следовало ли бы, возвращаясь к нашим четырем главным добродетелям и взяв две последние из этого ряда, *temperantia* [умеренность] и *prudentia* [благоразумие], считать задачей предстоящего времени вернуть им обоим почитание, которым они пользовались с древности и до недавнего прошлого как благородные и необходимые качества жизни человека и общества?

Постепенно в нашем анализе мы приблизились к пункту, в котором следует попытаться дать более или менее позитивный ответ на вопрос о возрождении нашей культуры: что можем мы, живущие ныне, или те, которые будут жить непосредственно после нас, сделать для выздоровления культуры от опаснейшей из всех когда-либо поражавших ее болезней, грозящей ей полным уничтожением?

Уже более двадцати лет назад¹⁸, пока еще вскользь и расплывчато, я высказал убеждение, которое только укрепилось с годами, а именно что наша культура, чтобы быть здоровой настолько, насколько это вообще возможно для человеческой культуры, должна начать процесс опрощения, самоограничения, отрезвления, добровольного отказа от многих лишних деталей, от излишней утонченности и чрезмерного анализирования, которые грозят ее задушить. Доводы в очерке *In de Schaduwen van Morgen* [Тени завтрашнего дня], вышедшем в 1935 г., так или иначе опирались на эти мысли. Впоследствии я вернулся к ним в лекции, которая должна была быть прочитана по приглашению Австрийского союза культуры в мае 1938 г. Она была задумана в качестве заключительной в цикле на тему *Человек между вчера и завтра*; лекции должны были читать представители разных стран. Для завершения цикла мне была предложена тема *Der Mensch und die Kultur* [Человек и культура]. События апреля 1938 г.¹⁰⁴ сорвали все эти планы, и мой доклад, законченный в марте, появился, как

это и было предусмотрено ранее, в серии *Ausblicke* [Перспективы] в издательстве Bermann-Fischer в Стокгольме.

11. Выздоровление культуры через самоограничение и сдерживание?

Предварительный вывод из сказанного сводится к тому, что картина состояния культуры в ближайшем будущем являет мало просветов. Вновь мы вынуждены прийти к заключению, что почва для скорейшего возрождения культуры еще не готова. Она была столь же мало готова к этому накануне 1939 г., но сейчас мир кажется дальше, чем когда бы то ни было, от выполнения основных условий создания общежития, которое заслуживало бы право носить это имя. Более четырех лет войны затмили образ всеобщей человеческой культуры, который как идеал всё еще стоит перед нашим взором, и превратили его в уродливое пятно; и слова Данте о необходимости *humana civilitas* звучат горькой насмешкой. Война, провозглашенная своими яростными приспешниками как тотальная¹⁰⁵, ведется не только в невиданных доселе масштабах, не только средствами, более опустошительными, чем когда-либо ранее, но и с такой степенью духовного ожесточения, как никакие самые ужасные войны прошлого времени. Вот чем благословили нас чудеса развития техники! Еще и старая ненависть не угасла, как новая жгучая ненависть накапливается повсюду. И из подобного материала наш бедный мир, то есть люди, которые его заполняют, должен выстроить новую культуру — это бедное человечество, которое никогда не сможет отказаться от своего горячего желания мира, свободы и человечности!

Отдельный человек, носитель культуры, которую он впитывает и с которой срастается за время от колыбели и до могилы, чаще всего не так уж и плох. По своей сути он таков, каким был всегда: незначителен и тщеславен, но и весьма проницателен, с некоторой склонностью к добру и чудовищным самомнением, и вовсе не редко порядочен, смел, честен и верен. Но вот как член

некоей общности, коллектива он большей частью заметно хуже, ибо именно коллектив освобождает его от решений, подсказываемых собственной совестью. Ибо другие уже подумали за него, приняли решение и предписали ему его линию поведения. Чем более горячо почитает он свою общность, тем более неограниченно он ей служит и подчиняется, и тем легче он впадает в пороки, которые всем нам присущи: жестокость, нетерпимость, сентиментальность и наглость. Очень многое зависит от высоты и чистоты коллективного идеала, которым живет данная общность.

Мы уже обращались к культуре в ее нынешнем состоянии кризиса и вырождения, правда, не вдаваясь в подробности, и мы знаем: она богаче и мощнее, чем когда-либо ранее, но ей не хватает собственного, подлинного и благородного стиля, ей недостает целостности души и духа, ей не хватает стойкого доверия к ее собственной прочности, ей не хватает гармонии, достоинства и возвышенного покоя. Она сгибается под свинцовой тяжестью обманов и ложных посулов как никогда ранее.

Выше мы уже говорили, что наше сегодняшнее представление о культуре, в ее безмерном объеме, уже более не отвечает тому изящному понятию культуры, каким его представлял себе Буркхардт: в благородной триаде с государством и религией, как свободную функцию общества, как одно из трех светил, каждое из которых движется по своей собственной орбите на небесной тверди истории. Хотя мы всё еще склонны видеть сущность культуры главным образом в духовных, и особенно в эстетических, достижениях, собственное словоупотребление постоянно навязывает нам более широкое и более приземленное представление о культуре. К неопределенности и расплывчатости понятия культуры нет смысла возвращаться еще раз. Мы принимаем его таким, каким оно нам предоставлено, прекрасно сознавая вообще недостаточность наших средств выражения.

Попробуйте-ка ответить на вопрос, что именно вы считаете наиболее существенным для культуры. Представьте себе, что культура распалась на части, но вы лично можете, как на пожаре,

спасти что-то одно из сокровищ культуры. Что же вы выберете? Чудодейственный арсенал современной техники и нынешних средств сообщения? Прекрасно, но тогда вы совершеннейший варвар, даже если вы заодно возьмете науку — но забудете о философии и искусстве. Сокровища духа и сердца для нас всё-таки дороже всего. Это, по видимости, должно означать, что идея культуры непреодолимо увлекает наш дух вдаль, прочь от повседневных забот нашего существования, — и в то же время, что заметная часть всего воспринимаемого нами как повседневная реальность не представляет для нас никакой культурной ценности.

Следует ли отсюда, что лишь духовное развитие означает культуру? Ни в коей мере. Ведь тогда исключался бы нравственный фактор, обладающий высшей значимостью для культуры. Кроме того, мы понимаем под культурой не состояние мысли, пребывающей в полном покое, но переживание ее на собственном опыте, активную деятельность. Мы хотим не только воспринимать культуру и наслаждаться ею в тиши духовной работы, но постоянно вносить ее в живую действительность. Культура для нас и позиция, и состояние духовной настроенности. Полностью осознать обладание культурой возможно лишь возвышаясь над нашей повседневной работой. Для этого не нужно аристократически дистанцироваться от мира. Человек должен быть в состоянии занимать свою собственную позицию по отношению к миру.

Если воспринимать культуру как живую действительность, то из этого почти само собой следует, что культура рождается именно в личности, и соответственно именно в личности сохраняет свое здоровье. Отсюда требование, чтобы тип общественной жизни был благоприятен для раскрытия личности и ее роста.

12. Культура и личность

Едва ли можно отрицать, что причиной общепризнанных пороков нашей культуры является структура современной жизни, препятствующая росту и развитию личности. Продукт индуст-

риальной эпохи — полуобразованный человек. Всеобщее образование вкупе с внешним нивелированием классов и чрезмерной легкостью духовного и материального обмена привели к тому, что тип такого полуобразованного человека стал в обществе доминирующим. Но полуобразованный человек — отъявленный враг личности. Своей многочисленностью и своим однообразием он заглушает в почве культуры семена личного. Два громадных меркантильно-механических средства сообщений на сегодняшний день, кино и радио, приучают его к опасной односторонности восприятия. Он видит — предполагая условия, когда всё это опять будет возможно, — не намного больше, чем фотографическую карикатуру крайне ограниченной визуальной действительности, или слушает краем уха музыку, которую ему играют, или сообщения, которые лучше бы ему прочитать самому — или не читать вовсе.

Возникновение настоящей культуры на пригодной для этого почве, то есть в среде, благоприятной для развития личности, наводит на образ из жизни растений. Культура пускает ростки, расцветает, раскрывается и т. д. — это метафора, но она не лишена смысла. Полуобразованный же человек культуру, или скорее суррогат, который он глотает вместо культуры, получает в виде уже готового препарата.

Для замены спонтанного роста свободного духовного достоинства полумеханическим процессом распространения среди масс вовсе не обязательно, чтобы предложение препарата культуры исходило от авторитарной власти, предписывающей обществу именно это и ничто иное — с красной, черной или коричневой этикеткой. Современный экономический аппарат уже сам по себе формирует предложение, от которого нельзя уклониться. Культурная пища, которую потребляет любая страна, становится во всё большей доле товаром, выбрасываемым на рынок теми или иными производителями. Потребление этого товара массами исключает не только собственное творчество или поиск, но и свободу выбора. Механизм современной прессы непрерывно

наводняет рынок своей духовной продукцией. Высокоразвитое искусство рекламы распространило свою власть вплоть до высочайших областей и сделало неотразимым натиск предложения в сфере культуры. Страна, которая первой была полностью завоевана техникой, Соединенные Штаты Америки, дала наглядный пример процесса культурной гальванизации целого народа, и этому примеру в быстром темпе последовали все страны Европы.

Само собой разумеется, это ни в коей мере не означает, что в такой стране, как Америка, вовсе нет личностей. Добавим всё же, что у нас, европейцев, общение с американцами оставляет гораздо более сильное впечатление обезличенности, чем контакты с соседними народами Старого Света. Однако еще более несправедливым было бы часто высказываемое утверждение, что в Америке только направляемая экономикой воля и экономические интересы господствуют в деле распространения культуры. Благородный и здоровый идеализм, быть может, нигде столь явно не заявляет о своем присутствии, как в жизни американского общества.

13. Культура и государство

Когда Буркхардт предложил свою триаду религии, государства и культуры, он еще мог рассматривать отношения культуры и государства с точки зрения аполлонической ясности. Мы этого уже больше не можем.

С конца Первой мировой войны в мире, со всей очевидностью, протекает процесс, который я бы назвал соскальзыванием культуры в сферу политического, при том что культуру изначально и вполне сознательно оценивали по сравнению с политическим как наивысшее.

Мы едва ли можем теперь, по примеру Буркхардта, воспринимать культуру как идеальную величину, свободную от связи с определенным государством. Идея самой культуры смещается

для нас произвольно в направлении концепции культуры в том или ином государстве. Государство постоянно и всё более интенсивно расширяло территорию своей деятельности и при этом всё больше и больше охватывало своими щупальцами культуру. Оно усиленно привлекало культурные силы себе на службу и даже начало выдвигать требования полностью распоряжаться этими силами. Политическое всё сильнее перевешивало культурное, что означало утраты и опасность для человечества. У истоков культуры всегда могут стоять только самая высокая мудрость и самые благородные помыслы, до которых способны возвыситься лучшие из носителей культуры этого общества.

Если теперь государство стремится быть не только пространством и рамками, но также хранителем и донатором культуры, то возникает вопрос, не сумеют ли политические интересы в какой-то момент занять место наивысшей мудрости и благородных помыслов, которые являются и должны оставаться единственной путеводной нитью культуры.

Всякая политика по самой своей сути направлена на достижение ограниченных целей. Ее мудрость — это мудрость ближнего прицела. Ее интеллектуальная связность в большинстве случаев чрезвычайно слаба, ее средства редко соизмеримы с целью, и она всегда действует с неслыханной расточительностью своих сил. Ее действия чаще всего имеют тенденцию искать выход, прибегая к вынужденным мерам, и выглядят так, как если бы она руководствовалась слепыми иллюзиями. Ее успехи, или то, что принимают за таковые, весьма краткосрочны: столетие — и того уже слишком много! Ее ценности, если смотреть на них с отдаления в несколько столетий, неразличимы и иллюзорны. Что для нас сегодня противостояние гвельфов и гибеллинов¹⁰⁶? А ведь некогда оно было столь же острым, как еще вчера ненависть воздетой руки — к сжатому кулаку¹⁰⁷.

Между тем каждая терцина Данте жива до сих пор.

Всякий, кто окинет взглядом историю возникновения государств с того момента, когда политические интересы начинают

выступать как действенный фактор, увидит, что почти нигде достижение осознанных политических намерений не приводило к длительному успеху. В мире государств всегда от одного вынужденного решения переходят к другому. Продолжительность расцвета Афин едва ли превышала сроки человеческой жизни — вспышка метеора на ночном небосводе. Всемирная Римская держава уже была тронута гнилью, когда возникла Империя. Власть Испании в мире не продержалась и столетия. Политика Людовика XIV привела к истощению страны, которое лишь благодаря цепи непредвиденных случайностей не стало смертельным для Франции¹⁰⁸. Список можно продолжить.

Нужно еще помнить о том, что история в своем благодушном оптимизме зачастую готова приписывать достижение политического результата выдающемуся уму или даже государственному гению некоего властителя, в то время как в действительности его старания закончились неудачей. Сказанное не должно помешать нам испытывать удивление перед каждым, кто видит перед собой трудную политическую задачу и решает ее всеми доступными средствами. Но всё это означает также, что поддержание культуры можно в столь же малой степени доверить политической власти, как и капитану корабля только из-за того, что он проявил мужество и решительность.

14. Культура и национальная самобытность.

Следует ли опасаться культурного раскола?

Европе со времени падения Западной Римской империи выпала судьба столетиями создавать всё более явно выраженную систему наций, рассредоточенных в ряде государств и империй. Как уже отмечалось выше, нации, почти все, можно назвать старыми, но национальности — молоды, если понимать это слово так, как его понимают в духе современного развитого национального сознания. Национальное сознание в различных странах на протяжении прошлого века доросло до национализма — в нежела-

тельном значении чрезмерного и неоправданного стремления выпячивать национальные интересы; и национализм принес, уже в наше время, отвратительный плод гипернационализма, поистине проклятия этого века.

Некоторые из последствий гипернационализма необходимо еще раз рассмотреть более пристально. Его неотделимость от милитаризма мы все уже более чем достаточно испытали на собственной шкуре. Примерно в 1937 г. один из ведущих государственных деятелей Германии, выступая публично, высказался без обиняков: «Мир не должен думать, что мы создали нашу военную авиацию для того, чтобы ее не использовать». Дух этого режима яснее не выразишь. Вот ее и использовали.

Относительно будущего культуры нас более всего тревожит тот факт, что гипернационализм угрожал и, возможно, всё еще угрожает всему миру, и прежде всего Европе, прямым культурным расколом. На вопрос, имеет ли вообще смысл понятие *западная культура*, мы ответили отрицательно. Что же касается обоснованности понятия *современная европейская культура*, здесь дело обстоит несколько по-иному. Значение различий, от страны к стране меняющих облик культуры, здесь полностью сохраняется. И всё же вплоть до сравнительно недавнего времени вполне интернациональный характер обмена — всё равно, касалось ли это товаров, людей или идей, — и повсеместное распространение знания двух-трех европейских языков сообщали Западу видимость культурной общности, за которой несомненно скрывалось глубокое разнообразие отдельных частей.

Во всеобщей, хотя и далеко не достаточной, всесторонней понятности культуры заключался фактор порядка и безопасности для всего целого. Не бедой, но благословением для Европы было то, что она состояла из стольких частей и имела столько культурных различий. Хотя каждый из народов Европы ощущал себя в полной мере национальностью и был самостоятельным в своей сфере, это не подрывало мирную совместную жизнь всех. Ибо, как нам уже доводилось отмечать ранее, единообразие —

убийственно, различие же — плодотворно. Всё говорит за то, что нет никакой необходимости в религиозном или каком-либо прочем единодушии, чтобы обеспечить или хотя бы сохранить согласие в той или иной части мира. Уже малой доли человеческого понимания и всеобщей доброй воли хватило бы для достижения такого согласия. Людей, которые наделены этими качествами, вполне достаточно. Нетрудно представить себе *in abstracto* такую систему государств, при которой нации вполне осознают свое существенное различие и всё же в добром согласии обмениваются духовными и материальными богатствами, уважая самобытность друг друга.

Правда, сам язык постоянно ставит определенные границы возможностям правильного понимания чужого, которое от этого уклоняется. Языковые средства выражения во многих отношениях ограничены. Всегда существует недостаточность эквивалентности, которая не позволяет передать с абсолютной точностью какое-либо понятие или слово одним понятием и одним словом на другом языке. Примечательно, что такие речевые непреодолимости затрагивают как раз наиболее фундаментальные и, очевидно, универсально необходимые понятия. Так, и об этом уже говорилось ранее, словам *raison*, *reason*, *Vernunft* и *rede* нет полного соответствия в других языках. Например, английское *evil* у нас разделяется на *kwaad* [плохой] и *boos* [злой]; подобные же неразрешимые несоответствия отделяют французское *salut* [спасение; привет] от нидерландского *heil* [благо; счастье; спасение] и английское *salvation* [спасение; вечное блаженство] от немецкого *Erlösung* [избавление; искупление].

15. Национальное многоединство

Будучи правильно поняты, все эти легкие несоответствия в способах выражения мысли становятся столькими же обнадеживающими факторами плодотворного духовного общения на международном уровне. И именно из осознания обоюдной недостаточности

языковых средств и существования возможной инаковости в способе думания наш ум извлекает наибольшую пользу. К сожалению, общность, которая связывает народы, всё меньше и меньше отличали два неотъемлемых качества, которые мы только что назвали: понимание и добрая воля.

Растущий перевес политического, или так называемого политического, мышления привел к намеренному и чересчур рьяному росту национальной исключительности. Средства образования, пропаганды, прессы и цензуры включились в процесс намеренного национализирования культурных богатств. Национальное чувство стало отгораживаться от всего чужого, хотя бы и родственного. Этот процесс не обязательно нуждался в открытом военном противостоянии. Еще до 1939 г. мы слышали, как то здесь, то там провозглашались национальные системы идеологии, с неотделимым от них национальным жаргоном, который чем дальше, тем больше делался непонятен для тех, кто не входил в число соотечественников или товарищей по партии. Формы культуры продолжали отдаляться друг от друга настолько, что это надолго могло бы привести Европу и всё Западное полушарие к фактическому культурному расколу. Уже сейчас многое в важнейших областях жизни, то, что по одну сторону государственной границы считается неоспоримой и священной истиной, — по другую сторону границы, на расстоянии в каких-нибудь два километра, воспринимается как обман и бессмыслица.

Уменьшило ли внезапное харакири итальянского фашизма¹⁰⁹ опасность раскола культуры на ее национальные разновидности, из-за того что был устранен один из наиболее фанатичных zelотов¹¹⁰? Или раскол на самом деле существует уже давно? Или — третья возможность — мы всё же переоцениваем эту опасность, и за тенденциями к расколу стоит всего лишь политическая возня самого дурного пошиба, шумное влияние которой исчезнет, как внезапно прекратившийся град, и подспудный культурный процесс спокойно продолжит свой рост?

16. Крупнейшие нынешние типы культуры

На этом имеет смысл задержаться подольше. Не отказываясь от высказанного ранее мнения о фактической несостоятельности понятия *западная культура* вообще, мы тем не менее можем держаться схемы, включающей несколько основных типов культуры, ответственных за совместное прошлое, настоящее и, как мы надеемся, будущее Запада. Они заметно отличаются по виду и возрасту.

а. Латинский

Самый старый и долее всего продержавшийся на первом плане тип культуры, который мы с необходимой осторожностью называем латинским, в настоящий момент, возможно, переживает упадок, во всяком случае в Европе, где полное банкротство Франции и Италии, при пока что малозаметном возрождении Испании после гражданской войны, временно вынуждают его оставаться на заднем плане. Временно, ибо всякий, знающий историю этой части мира, не усомнится в его возрождении, да и Иберийская Америка¹¹¹ еще далеко не полностью внесла свой вклад в латинский культурный тип.

б. Англосаксонский

Второй основной тип культуры — англосаксонский; несмотря на огромное, давно и постоянно увеличивающееся различие между Англией и Америкой, он должен рассматриваться как единый и, возможно, в будущем, если вынудят обстоятельства, будет выступать как единый и даже чувствовать себя таковым.

Англосаксонский тип культуры — удивительное творение времени. Он ведет свое происхождение от двух или трех нижнегерманских племен, близко родственных нидерландцам. Эти племена завоевали оставленную римлянами Британию, владели

ею и частично ее заселили. Сначала Англия, которой правили саксонские короли, распространила христианство в немецких землях. Затем Англия, уже норманнская, под властью Вильгельма Завоевателя, проглотила немалый кусок французской культуры, от которого менее крепкому народному организму, вероятно, не поздоровилось бы. Норманнскую династию менее чем через сто лет сменила Анжуйская, уже чисто французская по происхождению. Французский язык стал официальным языком на добрых несколько столетий и насытил местный язык своими формами; тем не менее английский язык сохраняет принадлежность к германской группе языков, с ценным приобретением способности заимствовать и усваивать, по желанию, также и латинские элементы. В пуританстве XVI и XVII вв. (ибо оно начинается задолго до 1600 г.) усиливается германский элемент в языке и народном характере Англии. В тесной связи с пуританством возникает англосаксонская Америка.

Порой нельзя удержаться от мысли (разумеется, праздной и лишенной всякого основания), что всё земное счастье, политическое, культурное, экономическое, на Англию, как подарок судьбы, буквально свалилось с неба.

с. Славянский тип?

Остается ли, рядом с латинским и англосаксонским типом культуры, место и для германского типа? Строго говоря, нет, ибо сама Англия — в сущности, ответвление от германского корня. Но оставим на время этот вопрос без ответа и уделим сперва несколько слов четвертому члену в нашем ряду типов культуры. Назвать его славянским, или, скорее, русским, типом культуры? Здесь мы колеблемся. Наименование *славянский*, без сомнений, само по себе правильное, по крайней мере точнее. Однако сам носитель этого типа культуры более чем проблематичен. Носителем выступает лишь язык или, лучше сказать, языки, но язык, как провозглашал один устаревший лозунг сорокалетней давности, это

вовсе не то, что народ. В типе культуры и совокупности народов, охватывающей в широком и общем смысле поляков, чехов и словаков, южных славян, болгар и русских, русский элемент (80%) перевешивает настолько, что мы обычно склонны рассматривать *pars pro toto**.

Четвертый тип, как бы он ни именовался, продолжает оставаться загадкой. Мы слишком мало знаем, что собой представляет Россия и остальной славянский мир сейчас и чем он может стать в будущем. Русский народ, во всех его разновидностях — великих и малых, белых и красных (этнографически, не политически, заметим; вплоть до многих по языку и по сути других народов — киргизов, грузин и т. д., которые вместе с русскими живут в одном государстве) — в высшей степени неоднороден. Кто может предположить, какой процент от этих двухсот миллионов всё еще остается искренне преданным доктрине Карла Маркса и русских экзегетов, пришедших после него? Кто может представить, что именно означают в будущем для всего Советского Союза недавние выборы патриарха¹¹²? Одно ясно наверняка: славянские народы еще не сказали миру своего слова.

d. Германский культурный тип?

Итак, вернемся к вопросу, который мы отложили на время. Стоит ли нам, после латинского и англосаксонского, рассмотреть еще и отдельный тип германской культуры? Взяться за этот предмет не так просто, как может показаться сначала, прежде всего потому, что в настоящий момент он слишком усеян политическими шипами. Газеты изо дня в день кричат нам о вожде всех германцев, о германских военных формированиях и прочем в этом же роде. Если спросить себя, какая здесь связь с германцами, то складывается впечатление, что это понятие охватывает всех, кто верит в немецкий национал-социализм и в новую Европу, пере-

* Часть как целое (*лат.*).

кроенную по немецкой мерке. Если же, независимо от нынешней политической ситуации, серьезно спросить себя, что, применительно к условиям современного мира, может вообще означать слово *германцы*, то для ответа нужно будет обратиться к истории.

Германцами римляне, незадолго до начала нашего летоисчисления, называли группу малых народов, числом более пятидесяти, которые в те времена населяли территорию, примерно соответствующую Германии в границах 1871 г. Они сильно отличались друг от друга, однако их объединяли языковое единство, местные культурные связи и, безусловно, в большой степени также физическое единообразие, то есть расовое сходство. Римляне не очень ясно отличали германцев от их соседей, кельтских галлов, и не знали, что самые страшные их враги во времена Мария, кимвры и тевтоны, тоже были германскими племенами¹¹³. Эта большая группа германских племен, вне всяких сомнений, представляла собой этнос чрезвычайно сильный и одаренный, по своей культуре они почти не уступали галлам.

Их заметные миграции начинаются очень рано. Это не были просто яростные военные нападения; германцы всегда представляли собой нечто большее и иное, чем принятое их олицетворение в виде героя с мечом в руке. Один римский автор III в. (не Синесий Киренский?)¹¹⁴ сообщает, что уже тогда германскую прислугу можно было встретить почти в каждом хорошем домашнем хозяйстве по всей Империи.

При основании государств на территории Римской империи в эпоху Великого переселения народов осознание германского характера или германского чувства общности сказывается еще незначительно. Чем дальше в процессе миграции народ отдалялся от первоначальной, лучше сказать — исторической области германских племен, тем быстрее он дегерманизировался. Значительная часть франков, вестготов, бургундов, лангобардов стала составной частью романской Европы. Германскими по языку и типу, кроме Скандинавии, откуда происходили самые значитель-

ные германские племена еще до того, как они осели в Германии, а также кроме англов и саксов в Британии, оставались только жители древней Германии, пока их не вытеснили, придя им на смену, славяне, — то есть это культура Нижней Германии к западу от Эльбы, Верхней Германии и прибрежного Нижнеземелья. Эти народы больше не осознавали себя германцами, даже само слово *Германия* было забыто; оно сохранялось только в церковном словоупотреблении.

Всё то, что в этих странах еще сохранялось, главным образом в общем сознании, было выражено прежде всего в словах *theodisk*, *Deutsch*, *Dietsch*, что, собственно, едва ли можно считать обозначением народа. Скорее всего это было ставшее именем собственным местоимение в первом лице множественного числа: *мы и наши*, как это еще встречалось в нидерландской народной речи XVII в.

Возродили слово и понятие *германский* немецкие гуманисты около 1500 г. под сильным влиянием сочинения Тацита *Germania*, вновь ставшего широко известным незадолго до этого времени. В характерном для немецких гуманистов возвышенном культе отечества уже звучал тон нынешнего национализма, которому более не суждено было смолкнуть. В XVIII в., по мере того как понимание национального характера и языкового родства становится более живым и более ясным, возрожденное понятие *германский* воспринимают всё более страстно. Дух романтизма придает ему лирическое звучание и самое благородное содержание. Пока им занимается наука или поэзия — ученые, даже столь восторженные, как великий Якоб Гримм, или поэты, вроде погруженного в наивно-расплывчатые фантазии Карла Зимрока, — в нем нет ничего дурного, хотя демон политически-национального высокомерия уже с самого начала таился под покровом поэтического искусства. Пока не восторжествовал в оголтелом пруссачестве, в милитаризме духовных собратьев фон Трайчке¹¹⁵.

Короче говоря, какой разумный смысл имеет теперь, применительно к нынешним обстоятельствам, слово *германцы*? Во вся-

ком случае, смысла принадлежности к языковой группе, включающей скандинавов, немцев, нидерландцев и немецкоязычных швейцарцев. Но этим нациям должно быть предоставлено право самим решать, хотят ли они пользоваться этим обозначением и говорит ли оно им что-либо! И это означает, что англичане, хотя они и германцы по языку и происхождению, наверняка отпадают, потому что они не чувствуют себя таковыми; также и для большинства нидерландцев термин *германцы* ровно ничего не значит; его употребление, собственно, уже с XVI в. превратилось в педантизм и таковым остается, даже если за всем этим стоят миллионные армии, чтобы этим словом как следует наперчить Европу.

Итак, мы пошли бы по ложному пути, если бы к типам культуры, из которых латинский, англосаксонский и русский отмечены столь специфическими чертами, добавили, наравне с ними, германский тип — в духе понимания его национал-социалистами. Разумеется, есть все основания говорить о немецком типе культуры, вполне обозначенном и очень значительном, даже если не верить известному суждению: «Am deutschen Wesen wird die Welt genesen» [«Немецкого эликсира — для всего мира»]. Однако немецкий тип культуры остается особым, национальным типом, он стоит в одном ряду с датским, шведским, норвежским, нидерландским, швейцарским и пр., пусть даже несколько десятков миллионов немцев занимают большую территорию, чем все вышеназванные. Во всяком случае он не относится к той же категории, что и многонациональные типы культуры, подобные англосаксонскому или латинскому.

17. Полное структурное изменение общества?

Уже лет за десять до этой войны не только громогласные проповедники той или иной политики социального действия, но и немало людей рассудительных, прежде всего социологи и экономисты, жили в твердом убеждении, что мы вступили в период неслыханных и всеохватывающих структурных изменений всего

общества, изменений, которые происходят и должны происходить, потому что этого требовали цифры статистиков, — несмотря на всяческое сопротивление, которое хотели бы им оказать определенные группы людей. При расчетах грядущих больших общественных перемен на основании статистических данных за некий промежуток времени нередко делают чересчур скороспелые выводы. При этом часто забывают прежде всего обратиться к истории: не свидетельствовала ли она ранее о подобных далеко идущих изменениях. Порой забывают также, что люди сами не слишком меняются и что человеку вообще свойственно проявлять нетерпение в отношении своих мыслей и ожиданий. Определенные ожидания предстоящего обновления общества и всей жизни, несомненно, знал не один период истории. Во все времена были люди, которые не находили покоя или удовлетворения вне постоянной надежды и ожидания полного обновления общества, и при этом на совершенно иных основах. Такое состояние духа можно назвать революционным, если угодно.

Его нельзя выразить лучше, чем при помощи древнеримской формулы *rerum novarum cupidi*, жаждущие новых вещей. Ибо духовная суть этих жаждущих проявляется именно в желании нового, непрерывных изменений самих по себе — гораздо больше, нежели в догмах и формах, в которые облекается такое желание. В течение последних двухсот лет жажда всё новых и новых изменений была доминантой культурной жизни в западном мире. Но не будем всё-таки забывать, что стремление сохранять и ревностно почитать отеческое наследие уходит корнями в глубину веков и что дух сохранения прошлого наличествовал в самых высоких культурах.

Если мы спросим себя о степени осуществления ожидаемых изменений, то, как всегда оказывается в истории, увидим, что новшества далеко отстояли от желанного идеала и от всех ожиданий. Хотя мир 1815 г. отличался от мира 1788-го, а мир 1555 г. от мира 1520-го¹¹⁶, в обоих случаях куда меньший результат произошедших изменений был насмешкой над энтузиазмом моло-

дых революционеров или молодых реформаторов и гуманистов, начинателей свершавшихся перемен.

Вполне возможно, что конечный результат этой еще никогда по размерам или ожесточению не имевшей себе равных войны также создаст ситуацию в мире, которая даже в чисто политической области даст сдвиг много меньший, чем полагают те, кто грезят о новых жизненных пространствах, то есть о территориях, которые нужно завоевать для получения дополнительного снабжения, сбыта и колонизации. Нет ничего более близорукого, чем поспешный детерминизм, который всё предстоящее заранее интерпретирует как неотвратимый исход фатальной катастрофы. Ох, друзья, мы всегда и в самом глубоком смысле остаемся, как говорил Платон, игрушкой богов.

Разумеется, Западный мир не должен и не может удовлетвориться нынешним состоянием своей культуры. Мы все так хотели бы видеть ее излечившейся — от ущерба, нанесенного механизацией и технизацией жизни, от охватывающего ее со всех сторон страшного одичания. И мы знаем: если культуре суждено выздороветь, то принести ей выздоровление должны мы, люди. И чтобы суметь сделать это, мы должны прежде всего излечиться сами. Отношение человека к культуре сводится к вопросу: что может сделать человек, чтобы духовную среду, в которой он живет со всеми своими высшими функциями и способностями, уберечь от гибели и сохранить в чистоте?

Процесс выздоровления культуры нуждается в обновлении не обязательно в том смысле, как современное искусство врачевания обновляет наши носы или зубы. Иногда об обновлении говорят с такой уверенностью, потому что смешивают узкий — и широкий смысл этого слова. В широком смысле всякая вещь — новая в каждое следующее мгновение. В узком смысле не многие вещи в мире являются действительно новыми. Только близорукому взору, который видит не дальше поверхности, кажутся они таковыми. Так же точно и оздоровление культуры само по себе

вроде бы могло означать восстановление прежнего состояния. Практически же, в потоке событий и в постоянном расширении уже осуществленных возможностей, простое возобновление прежнего состояния культуры немыслимо даже в ничтожных деталях. Нынешний человек может, пожалуй, вообразить на мгновение, что в мире около 1750 г. он чувствовал бы себя вполне приятно: без скоростного транспорта и комфорта, в безмятежной иллюзии благосклонного, рационально действующего Провидения и в идиллической красоте еще не механизированного и меркантилизированного окружения. Но до серьезного желания вернуться назад он не пожелал бы довести эту грезу. Путь назад в истории возможен в столь же малой степени, как и в жизни отдельного человека.

Однако, наряду с полным обновлением — и восстановлением старого, можно помыслить еще и третий вид оздоровления культуры, который обладает столь же динамичной природой, как и два вышеназванных; он не призывает останавливаться и держаться за старое, но, так сказать, объединяя понятия обновления и восстановления, возводит их в нечто третье. Этот третий принцип представляет собой, как мы уже говорили, самоограничение, сокращение потребностей, отказ, опрощение. Многие указывают на то, что на деле в сознательном и добровольном отбрасывании излишнего и вредного в культуре заключается единственная возможность ее спасения и оздоровления.

По всей видимости, наша западная культура почти во всех отношениях подошла к пределам своего воплощения и раскрытия. Во всяком случае так нам кажется, даже если грядущие поколения откажутся придавать нашей эпохе характер предельного использования ресурсов и проникновения во все сферы возможного. Нам кажется, что наука уже достигла границ постижимого. Во всех ее дисциплинах основания для уверенности становятся всё более шаткими. Старая математика стала всего лишь одной из многих возможных. Классическая логика теряет свою действенность, причинность — престиж. В историю — под именем

мифа — нелепые фантазии вторгаются как непреложные истины. Техника каждый день производит всё новые чудеса, но никто больше не чувствует к ней доверия, потому что она уже показала, что в гораздо большей степени способна разрушить, чем уберечь. Поэзия позволяет себе сознательно отдаляться от мысли, искусство — от природы. За каждой достигнутой степенью духовного напряжения или сверхнапряжения зияют пустота или хаос, и Ничто превращается для многих в пароль доступа к мудрости. Некоторые вместе с моралью отбросили неизменные основы права и обязывающие требования человечности.

Возникает вопрос, возможно ли, чтобы человеческий дух в этом надменном мире научился стремиться к всеобщему и действительно ценному, захотел отказаться от излишнего, бесполезного, лишённого смысла и вкуса. Совершенно очевидно, что такая готовность добровольно отказаться от всех мнимых желаний означает нечто иное, нежели безрассудное стремление к восстановлению идеализированного прошлого.

Но можно ли всерьёз представить себе этот процесс, не говоря уже о том, вероятен ли он вообще? Прежде всего можно было бы подумать о том, что в некоем будущем определенные компоненты сегодняшней культурной жизни могли бы выйти из моды просто из-за того, что они всем надоели. Кажется почти неизбежным, что когда-нибудь человечество пресытится пустоопорожнёй поверхностностью нынешней машинерии публичности. В конце концов даже полуобразованные массы устанут от ежедневной перегруженности продукцией кино и радио. Чудовищное порождение нашего технического века — реклама, будь то коммерческая или политическая, должна будет, наконец, утратить свое воздействие из-за отвращения пресытившейся публики.

Но эти негативные эстетические реакции смогли бы лишь сдуть пену с поверхности культуры. Бесконечно труднее представить ее восстановление, основанное на добровольном ограничении в некоторых областях интеллектуальной жизни. Допустим на мгновение, что мыслящее человечество смогло бы отдать

себе отчет в необходимости упрощения сложившегося мира идей. Недостижимость глубинных основ познания и бесплодность проникновения до всё больших глубин осознана была бы тогда столь болезненно, что человечество, со всем своим мышлением, захотело бы вернуться на твердую почву. Было бы это возможно? Может ли дух отказаться от того, что он познал, даже если он познал лишь не-знание? Смогло бы наше столетие отступить за линию Кьеркегор — Достоевский — Ницше? Чтобы начать всё сначала? Разумеется, нет.

И всё же задача нашего времени по спасению культуры имеет некоторое сходство с тем радикальным методом, который мы описали. Речь определенно идет о том, чтобы научиться довольствоваться не-знанием, чтобы научиться воздерживаться от внедрения и копания в залежах по ту сторону разума. Что нам жизненно необходимо, так это аскеза мысли во имя жизненной мудрости.

Хотим ли мы реставрации рационализма или, быть может, напротив — принятия философии, которая требует признать примат жизни над знанием? Ни то, ни другое. Возврата к *clare et distincte* [ясно и отчетливо], как понимал это Декарт, нам не дано, хотя, несомненно, было бы достижением, если бы континентально-германский и славянский дух что-то усвоили от ясности латинского и практического реализма англосаксонского. Во всяком случае необходимо вновь достичь всеобщего признания интеллектуальных ценностей, ибо без такого признания мы не сможем жить в этом мире рядом друг с другом.

Здесь действительно таится опасность. Дурно понятый иррационализм в предвоенные годы уже угрожал стать в руках полуобразованных масс смертельным оружием против всех видов культуры. За отказом от господства интеллекта во имя жизни в биологическом смысле слова всегда стоит колоссальное недоразумение. Снова и снова разум сам себя хватает за горло, *reason reasoned away*. Иррациональный Мюнхгаузен опять за собственную косицу вытаскивает себя из болота. Polemika против разу-

ма может вестись лишь по правилам логики. Мы давно уже знаем, насколько он недостаточен, наш разум, но ведь это — все наши ресурсы. Разум нам дан как мера вещей и заслон от безумия и хаоса. В конце концов это самый надежный инструмент духа, которым мы обладаем.

Человек действительно образованный может даже среди шумного и обезображенного мира выгородить для себя гармоничную жизнь. Но так не спасти культуру. Проблема здесь — подтянуть массы. Это кажется возможным прежде всего в эстетической сфере: как результат их пресыщенности и скуки. В конце концов также и массы перестанут смотреть и слушать всё то, что коммерциализированное производство подсовывает им под видом культуры. В области мысли новое воспитание масс в духе культуры, очищенной от всего лишнего, возможно, оказалось бы более легким — именно потому, что благодаря современной технологии культуры массы вообще отучились думать.

Но с другой стороны, логическое строение культуры гораздо глубже обосновано и прочнее укоренено, чем эстетическое, и поэтому будет сильнее сопротивляться тенденции устранять лишнее. Предположим всё-таки, что в обеих областях эстетического и логического такое добровольное ограничение и опрощение, которое кажется нам единственным выходом из тупика упадка культуры, само по себе будет возможно, — спасет ли это культуру? Ни в коем случае. Ибо останется незатронутой важнейшая часть дела, а именно моральная позиция общества, которая как раз и решает, удастся ли обществу осуществить *civilitas humana*. Вопрос не только в том, живет ли там или здесь большинство людей благочестиво и благонаравно. Люди вообще живут, вероятно, в данное время и в данном уголке земли не более нравственно, чем везде и всегда. Речь идет о том, чтобы всеми признанное стремление к лучшему и высшему пронизывало и воодушевляло всё общество. Только нравственная опора на *summit bonum* [высшее благо] может сделать массы носителями культуры.

Мы опять возвращаемся к тому, что культура попала в сети политики. Во многих местах Государство формирует этос, который обуславливает культуру. Я, говорит Государство, — или, по сути, та группа, которая говорит от имени Государства, — я наделяю всех вас стремлением к высшему, и оно придает форму той культуре, которая вам нужна; я даю вам концентрацию сил для достижения цели, моральную опору, которая облагораживает всю вашу жизнь. Но Государство могло бы претендовать на это только в том случае, если бы оно указывало на нечто высшее, нечто большее, чем само Государство, на то высшее, где осуществляются все эти требования, и если бы само Государство следовало тому нравственному идеалу, служения которому оно требует от своих подданных. От последнего же отказываются самым решительным образом именно те государства, которые наиболее властно берут на себя роль хранителей всеобщей морали и выступают воспитателями своих народов. Ибо для себя они требуют нравственной — скорее безнравственной — автономии.

Это далеко не новое учение — о государстве, избавившем себя от морали. Макиавелли и Гоббс полагали, что заимствовали его из действительности и что большинство политиков поступали в согласии с ним, хотя и не признавали себя его сторонниками. Ему еще долго противостояли христианские представления, а также и то, что практически не было никакой необходимости полностью следовать ему во всех случаях. Однако чем сильнее становились средства принуждения в руках государства, тем опаснее делалась эта теория. Государство, возвышающее себя до меры всех вещей и одновременно прокламирующее свой аморальный характер, менее всего призвано быть нравственным руководителем своего народа. Претендуя быть выше морали, государство обращает область своей деятельности в пристанище зла и становится центром, притягивающим к себе извечную людскую злобу. Мое глубокое убеждение, что учение об аморальном государстве — гноящаяся рана на теле нашей культуры, отравляющая весь ее организм.

18. Восстановление правового порядка в межгосударственных отношениях

Если мы вынуждены признать, что в нынешнем мире отсутствует почва для скорого возрождения подлинной, чистой культуры, и при этом всё-таки не хотим ни отчаиваться, ни отказываться от улучшений, то не будет ли лучше всего занять позицию скромного новичка, который впервые пробует свои силы на самой простой задаче? Самое простое и самое очевидное тем не менее и важно, и вовсе непросто. Речь идет о развитии упорядоченных и надежных межгосударственных отношений, восстановлении экономики — и всё это лишь первые шаги в создании наделенной благородством культуры.

Предварительные условия восстановления международного правового порядка вырисовываются более или менее ясно. Прежде всего никогда не нужно выбрасывать старую обувь, пока не куплена новая. Нужно бережно сохранить и вновь пустить в дело, пусть с существенными изменениями, всё, что осталось от Лиги Наций, вместе с Международным судом и другими еще существующими органами, которые способны выдержать испытание на применимость в новых международных условиях. Структуру всемирного управления множеством отдельных государств, при их же участии, разработать не так уж сложно. Исходя из того, что управлять нашим миром должны не только закон или право, но также и власть, — прежде всего нынешние великие мировые державы должны прочно и неукоснительно придерживаться сотрудничества, к которому начиная с 1914 г. их вынуждала дикая и кровавая слепая судьба, то есть сохранять единство и предпринимать совместные действия, если необходимо, всеми имеющимися силами — три величайшие державы, которые когда-либо знала история: Британская империя, Соединенные Штаты Америки и Союз государств России.

Этот последний называет себя Союзом советских социалистических Республик, СССР. Такому наименованию, как и мно-

гим подобным, присущи изъяны, которые выходят далеко за пределы того, что наименование государства в разговорной речи приходится употреблять только в виде аббревиатуры. То же самое происходит с Соединенными Штатами Америки и Британским Содружеством наций, называемыми Америкой и Англией, со всеми вытекающими отсюда недоразумениями. Наименование столь специфического образования как государство не должно было бы звучать таким образом. Название государства ценно прежде всего тем, что хорошо звучит и удобно в употреблении. Полное название СССР звучит тяжело и неудобно в употреблении, поэтому для всех, за исключением германоориентированной прессы, это Россия. Наименование СССР говорит избыточно многое: оно сообщает, что речь идет о Союзе, который состоит из республик, что республики эти социалистические и к тому же советские. Похоже на катехизис. Примечательно, как воспринимается в речи почти повсюду русское слово *sowjet*, означающее просто-напросто *совет* в его разных значениях. Оставим в стороне вопрос, вправду ли советский принцип, — который, как сочли во всех странах, к 1919 г. одержал победу, — во-первых, был такой уж находкой и, во-вторых, действительно ли он является в России ключевым фактором государства и управления. В ходе истории мы, собственно, видим, что община, или *municipium*, повсюду представляла собой наиболее существенный и наиболее плодотворный принцип формирования государственности — в сравнении с советами или ячейками.

И разве многие не надеялись, что молодой СССР, достигнув зрелости и преодолев фазу так называемой «диктатуры», пересмотрит свое наименование, отказавшись от одностороннего предпочтения социалистического государственного учения, и изберет для себя старое и почетное имя: Союз всех Россий, *Все-российский Союз*?

Когда завершится эта отчаянная битва и захватчики будут изгнаны, великое сердце народа, подарившего миру Толстого, — Толстого *Войны и мира*, — вновь откроется духу простых слов,

которые помещены на памятной медали, посвященной пожару Москвы 1812 г: «Не нам, не нам, а Имени Твоему»¹¹⁷.

19. Соотношения и качественные отличия

Восстановление мирового правового порядка, мирного общения между государствами, ведущей роли крупнейших держав на основе совместных обсуждений и взаимного согласия — всё это лишь предварительные задачи, которые предстоит решить нашему миру, прежде чем он смог бы приступить к развитию настоящей культуры. Но какую громадную работу нужно будет проделать, чтобы расчистить накопившийся мусор! Убрать всё то, что пришло в запустение или подверглось порче в жизни стольких народов. Далеко не всё то, что было утрачено в культуре за последние сто лет или больше, может быть восстановлено. Последствий постоянно возрастающей механизации общественных отношений, с ее неизменно опошляющим воздействием на народную жизнь, при всем желании устранить не удастся. Всё, ставшее жертвой современных средств сообщения, коверкающей природу индустриализации, наплыва духовного суррогата, должно быть признано безвозвратно утраченным. Патриархальные отношения между людьми, идиллические или романтические ландшафты, ремесла и мелкие промыслы — они не вернутся. Навсегда утраченных сокровищ культуры так много! Быть может, кого-то успокоит мысль, что всё становящееся прекрасным и ценным при лунном свете наших воспоминаний, в грубой действительности никогда не было столь благородным и чистым, каким оно нам хочет казаться. В нашу ностальгию по прекрасному прошлому неизменно вторгается чарующая ложь блаженной памяти пасторали. Почти немыслимо, чтобы на нынешней изборожденной земле могли оставаться некие первозданные области — в Азии, в Африке, в Южной Америке; области, где культура продолжала бы произрастать на собственной древней почве. Ведь даже если бы эти области продолжали оставаться нетронутыми, окружающий

мир, одним своим неизбежным соседством, помешает процессу самостоятельного культурного роста.

В вопросе восполнения уже происшедших культурных потерь и устранения причиненного культурного ущерба нужно было бы сосредоточить свое внимание не на тех потерях, которые были обусловлены неостановимым прогрессом удовлетворения земных потребностей, но на тех, которые следует отнести за счет человеческой глупости или злобы, — на потерях, которых по-человечески же можно было бы избежать.

Далеко не все народы или страны были в равной степени затронуты этим последним типом порчи культуры. В особенности одно явление, как правило, пощадило малые государства, а именно тот пагубный милитаризм, который в событиях последних пятидесяти лет опять проявил себя как фундаментальное зло, не знающее себе равных. Но не только или не в первую очередь более высокие нравственные качества охраняют малые государства от появления собственной формы милитаризма. Чтобы сделать милитаризм своей практикой, требуется прежде всего немалая мощь, и эту мощь нужно постоянно наращивать, по мере того как средства насилия становятся всё более дорогими и всё более необходимыми и в связи с тем, что другие государства также участвуют в этой гонке.

Милитаристскими поэтому могут быть только очень большие державы. Но вовсе не все они таковы. Ибо государство, которое в развязанной другими войне вопреки своей воле вынуждено до предела использовать свою военную силу, никоим образом не причастно милитаризму, даже если военное состояние сохраняется там на какое-то время и после войны. Вопрос о том, склонна ли та или иная современная мировая держава к милитаризму, определяется не только качествами ее культуры, но в высокой степени ее политическим обликом. Убийственный принцип, всегда приводящий ко злу, это централизация власти. Власть, которая правит централизованно и авторитарно, в высшей степени подвержена инфицированию вирусом милитаризма и гиперна-

ционализма — прежде всего потому, что именно гиперационализм, вытесняя малейшее духовное сопротивление, легко внедряется в тело человечества, с его смехотворным тщеславием. Militarизм как ничто другое оказывается привлекательным для пуэрилизма. Он украшает себя героически звучными именами и лозунгами, он окружает себя отвратительной показной роскошью и морочит высокоодаренные народы самыми низменными иллюзиями власти и величия, вовлекая их в позорное рабство на десятки лет и заставляя впадать в морок безумия, пока не захлебнется собственной кровью.

20. Принцип федерализма

Спасительным решением, которое даже крупнейшую империю может уберечь от опасностей милитаризма, является система, противоположная централизму, а именно самостоятельность частей — при сохранении целого.

В федеративных связях — сила мировой Британской империи и Соединенных Штатов Америки. Номинально или фактически федеративного принципа придерживаются в государствах Латинской Америки и даже в Российской империи.

Федеративные связи отличаются гибкостью. Они в состоянии, если того требуют обстоятельства, выдерживать напряжение до пределов своей эластичности и вновь восстанавливают свою степень свободы, когда отступает необходимость в централизованной власти. Сколько раз на протяжении последних столетий Франция сетовала по поводу своего упрямого централизма! И случайно ли, что наиболее федеративное государство в Европе, Швейцария, смогла остаться в стороне от этой войны? Федеративный союз многих малых государственных единиц под определенной, строго ограниченной верховной властью консорциума крупнейших держав (из которых каждая в отдельности почти неизбежно должна быть организована по федеральному принципу) — такой представляется всемирная конфигурация на бли-

жайшее будущее. Роль малых государств еще далеко не сыграна, напротив, она в самой начальной стадии. Несмотря на безграничные возможности нынешних средств сообщения, продолжает оставаться истиной то, что хорошее государственное управление лучше всего осуществляется в сравнительно малом сообществе и в пределах не слишком большой территории. Хотя совместная деятельность многих малых государств пока что не может основываться на единодушии, как на то уповал св. Августин, — при наличии некоего твердо установленного правового порядка и взаимной ответственности будет достигнуто уже многое. Не будем забывать, что Европа еще не так давно, примерно с 1871-го по 1899 гг., являла пример действовавшей три десятка лет государственной системы, в которой — несмотря на кризисы, которые тогда возникали, — малые страны, в особенности страны северо-запада Европы, занимали почетное и признанное место среди больших государств. Самая возможность существования малых государств служит проверкой того, насколько здоровой является вся система межгосударственных отношений.

Упомянутый нами короткий период существования упорядоченной системы государственных отношений и безбедного существования малых государств стал возможен в условиях демократии, либерализма и парламентарной системы. Если этой возможности суждено будет вернуться, то одной вещью придется пожертвовать, а именно неограниченным и безусловным национальным суверенитетом больших и малых стран. В 1919 г. одна из самых больших ошибок мироустроителей состояла в том, что они не сумели воспользоваться возможностью обновить мир, не увидели, что притязания на абсолютный национальный суверенитет уже не соответствуют нашему времени. В обозримом будущем не должно быть такого, чтобы в военном отношении лилипут пыжился предстать бробдинггнцем или чтобы где-нибудь в мире йеху претендовали на положение гуинггнмов¹¹⁸. Малые государства смогут обрести надежность и безопасность, только если сознательно вступят в единый правовой союз с крупными странами.

21. Заключение

В завершение наших рассуждений мы подходим к проблеме, подобной той, с которой мы начали: к вопросу о терминологии. Нам предстоит вернуть честь и достоинство некоторым словам и понятиям, втоптаным в грязь лжепророками нашего времени.

В первую очередь это касается наименований *демократия* и *демократический*. Нет никакой необходимости возвращаться к подробностям относительно самих этих слов. Мы уже говорили о том, что слово *демократия* образовано, собственно говоря, не слишком удачно, ибо в своем буквальном значении — правление посредством народа — противоречит само себе, тогда как слово *изономия*, равенство перед законом, вошедшее в обиход уже в Афинах и встречающееся у Геродота и Фукидида, более точно выражало бы ту же идею. Но раз уж *демократия* стала общепринятым словом, будем почитать его в той мере, в какой заслуживает выражаемая этим словом идея. Здесь воплощается высший политический идеал, который выработали народы наиболее высокой культуры и в соответствии с которым старались жить, как бы они его ни нарушали время от времени. Мы не знаем никакой другой формы государственного правления, способной оказывать сопротивление деспотии.

Второе слово, которое вновь следует вознести на достойную высоту, это *свобода*. Слово *свобода* на протяжении истории имело столько значений, сколько было культурных эпох. В раннем Средневековье оно означало, с одной стороны, принадлежность к сословию свободных людей, правовое положение которых различалось по бесконечно варьируемой шкале уровня свободы и несвободы от одной местности к другой, от одного из племен к другому; с другой стороны, *свобода* была прежде всего церковным понятием и обозначала верховенство Церкви над светской властью. В государственном праве понятие *свобод* еще долго превалировало над *свободой* вообще.

В XVI в. в понятии *свобода* на первый план вновь выступают классические значения. Это понятие всё еще сохраняет различия от страны к стране, о чем свидетельствует примечательная антитеза *Germanica libertas* [германская свобода] — и *Gallica servitus* [галльское рабство]. В Республике Семи соединенных провинций *свобода* стала обозначать систему правления умеренной городской олигархии без принуждающей центральной власти. В дальнейшем XVIII в., понимая свободу как нечто весьма общее и абстрактное, возвысил ее до богини и окружил патетическим культом.

XIX в. сводит понятие свободы к достижению пользы и процветания. Свобода и демократия становятся понятиями-близнецами, и уже кажется, что в парламентском государстве многим надолго обеспечена политическая и экономическая свобода, — пока еще до конца этого века требования свободы не отступают на задний план. Причиной этого не было исключительно вырождение парламентаризма. Общественный организм и его механика вследствие собственного технического совершенства образовали сплетение слишком тонкое и слишком плотное, чтобы предоставить свободе пространство игры в областях, где она еще совсем недавно праздновала свой триумф. И всё же человек всегда будет стремиться к свободе. В самый разгар гражданской войны в Испании инженер Фернандо дель Пино прислал мне написанную им книгу (сейчас для меня недоступную), содержавшую основательное и страстное изложение духовных нужд своего времени, сопровождавшееся пламенным призывом в защиту католической веры как единственной надежды на спасение нашего мира. В ответ на мою благодарность за его подарок автор откликнулся письмом, в котором признавался в столь же пламенной приверженности красным. «Вы не знаете, — писал он, — какая жажда свободы живет в испанском народе!».

Делом ближайшего времени будет найти такие формы свободы, какие наш сверхмеханизированный мир еще сможет позволить для будущего.

Слова *либеральный* и *либерализм* уже для поколения 1900 г. казались столь сильно связанными с презренной химерой, именуемой *буржуа*, что во многих кругах их уже не решались употреблять. Многие были социал-демократами либо сочувствовали им, и со всем, что казалось либерализмом, для них было покончено; такое наследие оставил XIX в., и с тех пор мало что изменилось. Даже люди, серьезно размышлявшие над политическими проблемами, всё больше и больше поносили либерализм — еще до того как новоявленные виды фашизма различных деноминаций дополнили это пренебрежение своим вульгарным глумлением.

Слову *либеральный* и образованному от него слову *либерализм* также настоятельно требуется восстановление в их прежнем достоинстве. Для такого восстановления нужно, невзирая на политические убеждения, которые будут господствовать в это время, и вне сферы понятий тех или иных политических группировок в том или ином государстве, всего лишь вернуться к истории самого слова. *Liberalis* на классической латыни означало то, что полагается свободному человеку или достойно его; то, что соответствует статусу свободного человека. Отсюда *liberalis* получило также значение *отзывчивый, щедрый* и приблизилось к сфере таких слов, как *civilis, urbanus* и *humanus*, граничащих с современным нам понятием *культура*. Так, оно оказалось вовлеченным в схему *artes liberales*, свободных искусств¹¹⁹, — в противоположность *artes mechanicae*, знаниям, которые свободным римлянам требовались на форуме, при отправлении культа и в управлении своим поместьем. Будучи установлены как седмица, семь свободных искусств стали фундаментом, на котором в Средневековье была построена почти вся система наук и университетского образования. Между тем значение английского *liberal*, французского *libéral* и т. д. вплоть до XVIII в. оставалось примерно таким же, что и в классической латыни, то есть лишенным какого бы то ни было политического оттенка. До XIX в. это слово не применялось как специфическое обозначение для опреде-

ленных партий; кажется, как ни странно, впервые это произошло в Испании, где *liberales* в течение долгого времени было противоположно *serviles*. В функции наименования политической партии это слово, с сохранением всех своих прочих, более старых значений, пережило в прошлом веке свою наибольшую славу, быстро выйдя за пределы чисто политической области и став обозначением мировоззрения или жизненной позиции.

К 1880 г. его господство над умами подошло к концу, с одной стороны под противостоящим давлением империализма, протекционизма, национализма и главное — социализма, с другой стороны — из-за противотечения обновленного конфессионизма различного толка. Здесь не место вдаваться в подробности его *Decline and Fall* [заката и падения], и я завершу свои замечания по поводу слова *либеральный* небольшим эпизодом чисто личного свойства. В 1934 г. я позволил себе обратиться к Бенедетто Кроче, послав ему свою небольшую публикацию под названием *Lettre à Monsieur Julien Benda*¹⁹ [Письмо месье Жюльену Бенде] ¹²⁰. Прославленный философ отблагодарил меня почтовой открыткой, в которой заявил о полном согласии с моими взглядами. К этому он добавил: «Ваши записки подтверждают мои наблюдения, которыми я как раз сейчас занят, а именно, что те, кто всё еще высоко почитают культ научных исследований, почти всегда либералы и европейцы, и к тому же антинационалисты».

Я с удовольствием принял это суждение.

Не должны ли мы, подвергнув дезинфекции слова *демократия*, *свобода* и *либерализм*, в заключение проделать то же и со словами *гуманист* и *гуманизм*? Тот факт, что ими, во всяком случае в этой стране, многократно злоупотребляли, отрицать невозможно.

Появление понятия, которое обычно выражали эти два термина, относится к латинской древности, к той сфере, где принимают свои культурные значения *civilitas*, *urbanitas* и *liberalis*. *Humanitas* во многих отношениях находилось в одном ряду с этими

словами. Нет сомнения, что со времен Древнего Рима и вплоть до XIX столетия никто не оказывал такого постоянно возобновляющегося влияния на развитие всего комплекса идей, охватывающих вышеназванные слова, как Цицерон. Фигура Цицерона остается в высшей степени примечательной прежде всего потому, что его влияние бесконечно весомее оплодотворяло культуру, сохраняясь вплоть до самого недавнего времени, чем, казалось бы, когда-либо давали на то основания глубина его духа или значительность его личности.

В XVI в. из *humanitas* образуется *humaniste*, то есть вообще человек, предающийся небогословским занятиям исторического и литературного характера. Сам термин *гуманизм*, по всей видимости, не имел широкого употребления до середины XIX в. *Гуманисты* и *гуманизм* длительное время оставались специфическими наименованиями обновителей и обновления *словесности*, в том старом смысле *bonæ literæ*, как его понимали в XV и XVI вв. Наряду с этим *humaniora* и *humanisme* могли употребляться как обозначения изучения гуманитарных наук вообще — и, соответственно, тех, кто занимается такими науками. Пожалуй, лишь в нидерландском словоупотреблении уже лет тридцать слово *humanist* приобрело несколько неодобрительное побочное значение, обозначая «того, кто, занимаясь вещами духовными, при этом не живет в соответствии с конфессиональным христианством, в особенности с ортодоксальным протестантизмом». Если это и вправду именно то, что некоторые предпочитают сейчас понимать под словом *гуманист*, значит, пришло время как можно скорее пересмотреть наше словоупотребление и вернуть этому термину его истинное значение, чтобы он мог выражать всё то, что для человека — именно как человека — является наиболее ценным.

Говоря об этих простых и очевидных требованиях чистоты словоупотребления и ясности мысли, мы невольно освободились на какое-то время от мрачного настроения, с которым видели не

слишком много здорового в ближайшем будущем того безотрад-ного мира, который вскоре должен будет открыться нашему взору. Словно туманная пелена неожиданно отошла в сторону и больше не застит солнце. Не появится ли с укреплением между-народного правового и политического порядка и поначалу скромным улучшением в справедливом распределении благ и социальном возрождении общества возможность обнадеживающей перспективы относительно дальнейшего пути нашей культуры?

Миллионы людей повсюду испытывают потребность в праве, им присущи живое чувство порядка, честность, стремление к свободе, они разумны и добронравны. Не будем подразделять их на категории демократов, социалистов или какие-либо еще. Назовем их именем, звучащим более благородно, чем любое другое: людьми доброй воли, *homines bonæ voluntatis* (как их именует *Vulgata*), теми, кому «in terra рах»^{*} поют в ночь Рождества.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ А именно в своей работе *Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw* [Культура Нидерландов в XVII веке], Haarlem, 1941 (Verz. Werken, II, p. 412 vg.).

² Lavissee. *Histoire de France depuis les origines jusqu'à la Révolution* [История Франции от ее истоков до XVII в.], Т. VII, 1, p. 30. Речь идет о «noblesse de robe» [«судейском дворянстве»]¹²¹ в XVII в.

³ Влияние фактора расы, то есть наследственной физической однородности всего народа, можно предполагать, но нельзя доказать и тем более проанализировать, — разве что удовлетвориться грубой констатацией факта об отличии, например, фриза¹²² от сицилийца.

⁴ Я всегда сохраняю *th* в термине (Gothiek), относящемся к зодчеству, чтобы со всей ясностью подчеркнуть, что это не имеет никакого отношения к готам (Goten).

⁵ В 1940 г. я наткнулся в одном немецком журнале на тираду некоего Ханса Йоста (или Йобста) победителя конкурса молодых литераторов: «Ког-

^{*} Et in terra рах hominibus bonæ voluntatis [И на земле мир людям доброй воли] — «И на земли мир, и в человецех благоволение», *Лк* 2, 14.

да я слышу слово *культура*, я хватаюсь за револьвер». Слова настоящего мужчины, не правда ли?

⁶ *Monarcha qui minister omnium procul dubio habendus est.* — Монарх, который, без сомнения, должен считаться слугою всех (*лат.*). *De Monarchia*, lib. I, cap. 12.

⁷ *Historische Fragmente*. Basel, 1942, p. 27.

⁸ *In de Schaduwen van Morgen* [Тени завтрашнего дня], Haarlem, 1935 (Verz. Werken, VII, p. 313 vg.).

⁹ См., например: Kurt Wais. *Das antiphilosophische Weltbild des französischen Sturm und Drang, 1760–1789* [Антифилософские взгляды французского периода Бури и Намиска, 1760–1789]. Berlin, 1934, passim.

¹⁰ Lemontey. *Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV*, in: Lavis, *Histoire de France*, VII, 2, p. 264.

¹¹ Хотелось бы рискнуть воспользоваться здесь термином *аутогенные*.

¹² Вначале в очерке *Nederland's Geestesmerk* [О духовном облике Нидерландов], Leiden, 1934–1935 (Verz. Werken, VII, p. 279 vg.), а затем в несколько измененном виде в книге *Homo ludens*, 2 ed., Haarlem, 1941 (Verz. Werken, V, p. 26 vg.).

¹³ *Verhandelingen Ned. Akademie van Wetenschappen*, afd. Natuurkunde, 1943, 1^e sectie, deel XVIII, no. 3, p. 39.

¹⁴ *The Fortnightly*, IV, 1940, p. 394 (Verz. Werken, VII, p. 470).

¹⁵ *Пс.* 84, 11.

¹⁶ Āryaśūra, Jātakamālā, Kulmāṣapindikājātakam.

¹⁷ Менее всего это, конечно, буддистский Авалокитешвара¹²³, который даже не принадлежит к самому высокому рангу. Я помню, что профессор Й. Х. Керн, сорок пять лет тому назад, переводил это имя как «господин видимого мира», но Ж. Ф. Фогел, тогдашний мой соученик, сообщил мне, что это объяснение наукой не принято.

¹⁸ В рецензии на: René Gillouin. *Une nouvelle philosophie de l'histoire moderne et française* (О философии Эрне Сейера): *Les bases historiques et critiques d'une éducation nationale*, Paris, B. Grasset, 1921, in: De Gids, 1921, IV, p. 158 (Verz. Werken, IV, p. 376).

¹⁹ В вышедшем тогда сборнике *Correspondence*, Institut de Coopération internationale intellectuelle (Verz. Werken, VII, p. 269 vg.).

¹ Перечисленные слова все означают *судьба, рок* (нидерл., англ., фр., нем.). Греческое слово *мойра* означало одновременно *судьбу* как долю, как участь человеческую, удел человека, и богиню этой судьбы. Греческие мифы повествуют о трех мойрах. Их имена: Лахесис (*дающая жребий*), Клото (*прядущая*) и Атропос (*неотвратимая*). Первая назначает жребий человеку еще до его рождения, вторая прядет нить его жизни, третья неотвратимо приближает будущее и, в конечном итоге, обрезает эту нить. Слово *ананке* также значит *судьба*, но в смысле *рок, фатум*, нечто неотвратимое (буквальное значение слова — *необходимость*), а также является именем богини Ананки, божества необходимости и неизбежности; по одной из версий мифа она — мать мойр. Ананка вращает веретено, ось которого — ось мира, а мойры помогают ей.

² *Humaniora, bonæ literæ* — весьма важные, ключевые понятия для ренессансных гуманистов. Первое означает совокупность знаний, полученных при *изучении человеческого* (*studia humana*), то есть всего корпуса античных текстов. Второе значит дословно *добрая словесность*, куда включались не только собственно литература, но и философские, исторические и даже естественно-научные сочинения. При этом овладевший *humaniora* являлся не просто образованным человеком, но *uomo virtuoso* (см. коммент. 33* к очерку *Тени завтрашнего дня*), то есть носителем наивысших достоинств.

³ Французская академия была создана в 1635 г. по инициативе кардинала Ришелье как объединение видных представителей науки, культуры и политических деятелей. Основные задачи Академии — совершенствование французского языка и издание словарей французского языка. Ныне входит в созданный в 1795 г. Институт Франции, аналог Российской АН, включающий 5 академий (аналоги отделений РАН): Французская академия, Академия надписей и изящной словесности (филология, кроме современной французской, история),

Академия наук (естественные науки и математика), Академия изящных искусств, Академия моральных и политических наук (философия, этика, социология, политология).

^{4*} Словарь французского языка в 4-х томах. (1863–1872), составленный философом и филологом Эмилем Литтре.

^{5*} До наших дней немецкий язык делится на множество диалектов, соединяемых в две ветви — верхненемецкую и нижненемецкую; многие филологи считают, что верхне- и нижненемецкий — не просто группы диалектов, но разные, хотя и родственные, языки. В Средние века на нижненемецком существовала богатая литература; сегодняшний литературный (и государственный) немецкий язык существует на основе верхненемецкого (Hochdeutsch). Нижненемецкий используется в быту, в церковной проповеди, на нем издается литература, но в целом он значительно уступает по распространенности верхненемецкому даже в качестве разговорного.

^{6*} См. коммент. 3* к очерку *Тени завтрашнего дня*.

^{7*} Греческая колония *Массилия* была основана ок. 600 г. до н. э. на северном побережье Средиземного моря, где находится современный Марсель.

^{8*} Рим вел длительные войны за гегемонию над Италией. Самниты — племена, принадлежавшие к другой, нежели латинская, ветви италийских языков, создали мощный союз в Центральной Италии, но в результате длившихся более полувека трех Самнитских войн (343–341, 327–304, 298–290 гг. до н. э.) самниты были покорены, их союз распущен. Кельтоязычные племена галлов населяли на Апеннинском полуострове территорию между Альпами и бассейном реки По (Цизальпийская, то есть лежащая по *эту* относительно Рима, сторону Альп). Войны цизальпийских галлов с Римом также были весьма тяжелыми — то ли в 390, то ли в 387 г. до н. э. галлы даже захватили Рим. Только к 220 г. до н. э. Цизальпийская Галлия была покорена и превращена в римскую провинцию. Племена этрусков по меньшей мере с начала I тысячелетия до н. э. населяли Среднюю Италию (современная Тоскана). Происхождение этрусков доныне неизвестно, язык не расшифрован. В конце VII в. до н. э. они создали союз 12 городов-государств, ведший войны с Римом и с иными народами Италии, в середине VI в. до н. э. даже завладели

Кампаньей на юге полуострова. В течение V–III вв. до н. э. Этрурия была покорена Римом. Все перечисленные народы были ассимилированы римлянами, утратили родные языки и перешли на латынь. Однако многие исследователи утверждают, что имело место и сильное культурное влияние этрусков на римлян, в частности, в области строительства, политического устройства и даже в сфере религии.

^{9*} От Гадеса до Пальмиры: от атлантического побережья Пиренейского полуострова до Сирии. Гадес (римское название города Гадир, основанного на берегу нынешнего Кадисского залива финикийцами то ли в IX, то ли даже в XI в. до н. э.) в VI в. до н. э. вошел во владения Карфагена, в 206 г. до н. э. захвачен римлянами; современный Кадис. Пальмира — город в Сирии, расцвет ее приходится на I–III вв. н. э.; в 272 г. Пальмирское царство было завоевано римлянами; ныне — городище близ г. Тидмор в Сирии.

^{10*} В течение V в. на территории западной части Римской империи образовались королевство вестготов в Южной Галлии и Испании; бургундов — в Юго-Восточной Галлии; вандалов — сначала в Испании, но затем они были вытеснены вестготами в Северо-Западную Африку; остготов — в Италии (в самом конце V в.); франков — сначала в Северной Галлии, а затем они вытеснили вестготов из земель к югу от Луары за Пиренеи, а Бургундское королевство завоевали полностью в начале VI в. Римское правительство (точнее, правительства в Риме и в Новом Риме — будущем Константинополе) поддерживало фикцию единства Империи и завоевателей считало «друзьями и союзниками», пользовавшимися правом постоя. Но и варварские вожди считали, что они имеют власть лишь над своими соплеменниками, а над населением Империи — только от имени имперской власти. Захватив ту или иную территорию, они обращались к имперскому правительству за утверждением, и власти в Риме или Новом Риме назначали варварских царьков имперскими наместниками на завоеванных ими землях. До так называемого «падения Западной Римской империи» в 476 г., то есть до прекращения существования отдельного императора Запада, они обращались за этим в Рим, но затем — к единственному императору в Константинополе. Эти связи существенно ослабли лишь в конце VI в. и прекратились в эпоху исламских завоеваний в VII в.

- ^{11*} Радегунда (ок. 520–587), дочь короля тюрингов Бертахара (впрочем, ее отца убил, когда она была еще маленькой, его родной брат Германафрид), после завоевания Тюрингии франками в 531 г. попала в плен к королю Нейстрии (западная часть Франкского королевства) Хлотарю I. Через три года он женился на ней, но жизнь их была нелегкой. Королева отличалась смиренным характером и глубоким благочестием, терпела дикие выходки мужа, основала больницу для прокаженных, за которыми сама ухаживала. Около 550 г. Хлотарь убил брата Радегунды, жившего при дворе франков. Тогда Радегунда оставила мужа, приняла постриг и основала монастырь Св. Креста в Пуатье (согласно житию, благодаря ей в этот монастырь попала частица Креста Господня). Хлотарь пытался вернуть супругу, но ее защитником выступил ее духовник, епископ Пуатье, известный поэт Венанций Фортунат. Сама Радегунда также была известной поэтессой, в своих стихах оплакивавшая потерю отечества и близких. Правда, некоторые современные филологи настаивают, что ее поэтические произведения на деле принадлежат перу ее духовника. Вскоре после своей кончины Радегунда была причислена к лику святых. — Д. Х.

Гимн *Pange lingua* [Воспой, язык; лат.] лег в основу литургического гимна, написанного Фомой Аквинским (1225–1274) для праздника *Corpus Christi* [Тела Христова]. *Vexilla regis prodeunt* [Взвились королевские стяги] — знаменитый латинский гимн Св. Кресту, впервые исполненный 19 ноября 569 г. во время процессии в честь реликвии *Честнаго Креста*, посланной византийским императором Юстином II по просьбе Радегунды и торжественно доставленной из Тура в монастырь Св. Креста в Пуатье. *Коммент. пер.*

- ^{12*} Арианство — разновидность раннего христианства, учение, выдвинутое александрийским священником Арием ок. 318 г. Согласно этому учению, Христос есть не единосущное Богу Отцу лицо Троицы, а лишь высшее, но все же творение; Он не единосущен, но лишь подобен Отцу. В 325 и 381 гг. было осуждено как ересь, но временами пользовалось определенной поддержкой при константинопольском дворе, и именно оттуда миссионеры распространяли арианство среди ряда варварских племен. Арианами были и вестготы, завладевшие Испанией, и германское племя лангобардов, в 568 г.

занявшее Италию. Большинство местного населения принадлежало к ортодоксальной вере (католичество и православие еще не разошлись), и давление населения, а также его элиты — католического духовенства, привело к тому, что как раз при жизни Венанция Фортуната (он умер в 609 г.) вестготы (церковный собор в Толедо в 589 г.) и лангобарды (эдикты 598 и 603 гг.) перешли в католичество.

^{13'} Движение за реформу монашества и Церкви в целом началось в середине X в. в монастыре Ключни в Восточной Бургундии. Там был принят чрезвычайно жесткий устав, подчеркивавший аскетические начала монашества. Еще с VIII в. стали раздаваться, особенно из кругов римской курии, голоса о том, что миром должна править Церковь. При этом евангельское «Царство Мое не от мира сего» (*Ин* 18, 36) истолковывалось в пользу такого мнения: земные власти заинтересованы в этом мире, посему не могут быть беспристрастными и справедливыми, но лишь Церковь, которая есть отражение Царства Божьего, может править, ибо ей от мира ничего не нужно. Но эту отстраненность от мира нужно было доказать путем подчеркивания аскетических начал. Потому новый ключнийский устав получил серьезную поддержку со стороны папства, но также и в массах, ибо там было распространено мнение, не совпадающее, кстати, с официальным учением, что чем ближе духовное лицо к аскетическому идеалу, тем действеннее свершаемые им таинства, в первую очередь, отпущение грехов. Ключнийский устав распространялся на другие монастыри, возникла целая конгрегация их, возглавляемая монастырем Ключни и получившая название Ключнийского ордена. Эта конгрегация подчинялась только папе и была выведена из-под юрисдикции не только светских, но и местных духовных (епископских) властей. Дальнейшее развитие ключнийской реформы (ключнийцами стали именовать не только членов указанного ордена, но и вообще разделяющих идеалы реформы) шло в двух направлениях. Во-первых, распространение аскетических идеалов на все духовенство, не только монашество, и, отсюда, борьба за безбрачие не только черного (монашествующего), но и белого (на Западе называвшегося секулярным) духовенства. Во-вторых, утверждение так называемой «свободы Церкви», то есть устранение всякого влияния мирских властей на Церковь, запрет принимать духовные должности и, в пер-

вую очередь, папский сан, из рук светских лиц. Окончательно все указанные нововведения, включая новые правила избрания епископов и пап, были приняты на Латеранском соборе 1059 г., но императоры еще долго пытались бороться с этими нововведениями.

- ^{14*} Термин *романский стиль*, означающий стиль западноевропейского средневекового искусства в X–XII вв. (в отдельных регионах сохранялся до XIII в.), появился в XIX в. и получил свое название потому, что искусствоведы считали, что творцы этого стиля вдохновлялись то ли римским искусством Поздней империи, то ли (более позднее мнение, разделяемое и рядом современных ученых) новым церковным строительством в Вечном Городе, который дал стилевые приемы, широко употреблявшиеся в строительстве монастырей. Термин *готика* в значении стиля западноевропейского искусства в XII–XV вв. также появился в XIX в., но само слово — много раньше, на рубеже XV–XVI вв. в кругах итальянских гуманистов, и им обозначалось средневековое искусство вообще. Слово это было ругательным и в него вкладывался такой смысл: некогда существовало прекрасное античное искусство, но потом пришли дикие варвары-готы, сломали великолепные древние храмы, а на их месте построили нечто невообразимо уродливое. Ср. также примеч. 4 Й. Хейзинги.

- ^{15*} *Лирика голиардов* — название стиля латиноязычной поэзии конца XI–середины XIII вв., создававшейся так называемыми «вагантами» (от средневеков. лат. *vaganti*, *бродячие*), как именовали сначала безместных клириков, бродячих монахов, а в указанное время — студентов, ходивших от одной монастырской или епископской школы (предшественницы появившихся в конце XII–начале XIII вв. университетов) в поисках знаний (кстати, студенты и преподаватели также считались клириками низшего ранга). В противовес широко распространенному мнению о неких народных корнях этой поэзии, перед нами — ученая лирика, базировавшаяся на Овидии и *Песни Песней*. В ней действительно весьма силен мирской дух, представлены любовные, кабацкие, игрецкие песни (но встречается и религиозная лирика, и призывы к крестовым походам). Вагантам приписывалась любовь к кабацкому разгулу, плотской любви и т. п., хотя среди авторов этой лирики были и вполне почтенные духовные лица (так что во многом вагантский дух есть литературная условность,

наподобие возвышенной любви трубадуров). Но нравы учащейся молодежи давали основание для критики со стороны церковных моралистов, и именно в церковных постановлениях в XII в. появляется слово *голиард*. Видимо, оно образовано от лат. *gula* — *глотка* и *чревоугодие*, и зафиксированное в том же веке прозвище *guliart*, *обжора* могло породить и указанное *голиард*. Но кроме того, оно ассоциировалось с именем библейского Голиафа, убитого Давидом (1 Цар 17, 12–58). В Средние века слово *Голиаф* было ругательством, ибо сражение Давида с Голиафом рассматривалось как символ борьбы Христа и Сатаны. Потому прозвище вагантов *голиафовы дети*, *голиафова свита* означало *сатанинское отродье*, *чертовы слуги*. Но в начале XIII в. появляется легенда о некоем Голиафе — гуляке, пьянице, обжоре и стихотворце, словом, первом ваганте, — от которого и пошло прозвище голиардов.

^{16*} С 1066 г. в Англии правила нормандская, то есть французская по этническим корням династия, в 1135–1154 гг. королем был граф Блуаский, тоже француз; с 1154 г. царствовала династия Плантагенетов, графов Анжуйских, один из которых, Генрих, еще с 1152 г. стал, по браку, герцогом Аквитанским. Французский язык до XIV в. был языком правящей элиты Англии, а почти две трети Франции — герцогства Нормандское и Аквитанское, графства Анжуйское и Бретонское и другие земли — принадлежали английским монархам. Начиная с восхождения на престол короля Франции Филиппа II Августа в 1180 г. французская корона стремилась отобрать земли английской короны на континенте, и к началу Столетней войны в 1337 г. во владениях Англии остались лишь приморские части Гие-ни и Гаскони и небольшое графство в Нормандии. Во время Столетней войны многие части Французского королевства переходили из рук в руки, но к окончанию ее в 1453 г. только г. Кале остался за англичанами, да и тот в 1558 г. перешел во владение Франции.

^{17*} Исторически Франция весьма четко делилась по Луаре на две части. Юг был более романизирован, на Севере германское влияние было значительно сильнее. В Средневековье отличались системы обработки земли (на Севере пахали на лошадях, на Юге — на быках), правовые нормы (на Севере господствовало обычное право, на Юге — римское) и языки (впрочем, некоторые филологи считают их груп-

пами диалектов). Общераспространенные названия языков произведены от звучания слова *да* на Севере (*oil, ойль*) и на Юге (*ос, ок*). Отсюда *langue d'oil* (лангедойль, язык *ойль*), он же северофранцузский, или старофранцузский, и *langue d'oc* (лангедок, язык *ок*), он же южнофранцузский, или старопровансальский (хотя на нем говорили не только в Провансе), или окситанский. Язык *ок* имел развитые литературные формы, на нем была создана поэзия трубадуров. Присоединение Юга к Северу, притом насильственным путем, произошло в первой половине XIII в., но ассимиляция растянулась до XVI–XVII вв. Особые, от названий языков образованные названия Севера и Юга — Лангедойль и Лангедок — оставались как официальные, а административная и правовая обособленность их сохранялась до административной реформы 1790 г. Язык *ок* превращался в сельский говор, но в XIX в. (первое упоминание — 1854 г.) деятели так называемого *провансальского возрождения* ввели для Юга термин *Окситания* (от того же слова *ок*). Впрочем, еще в документах французской королевской администрации XIV в. встречается выражение *lingua occitana*. Деятели указанного *провансальского возрождения* усиленно пытались и пытаются ныне возродить великую культуру средневекового Лангедока и язык *ок*; на этом языке издаются газеты, существуют каналы на радио, использующие этот язык (впрочем, это довольно искусственный, созданный теми же деятелями еще в позапрошлом веке так называемый *новопровансальский язык*), но в реальности жители Юга ныне предпочитают французский и лишь из приверженности к малой родине вместо *oui* (фр. *да*) говорят *ос*.

- ¹⁸ В Бургундии, в местечке Сито (лат. Cistertium) было в 1098 г. основано аббатство, принявшее первоначально устав ордена бенедиктинцев. В середине XII в. устав был реформирован известным религиозным деятелем св. Бернардом Клервоским, и монашеская конгрегация превратилась в особый орден цистерцианцев. В 1120 г. Ксантенский каноник св. Норберт основал в местечке Премонстрé, неподалеку от пикардийского города Лан, аббатство, которое дало имя новому ордену премонстрантов. Оба ордена имели очень суровый устав, пользовались большим влиянием, при этом премонстранты вели отшельническую жизнь, а цистерцианцы активно вмешивались в большую политику и играли в ней немалую роль.

- ^{19*} В начале XI в. на Юге Италии появились люди, которых не совсем точно именуют италийскими норманнами, ибо это были не викинги, а французы из Нормандии, у которых могли быть какие-то дальние скандинавские корни (Нормандия в 911 г. была захвачена выходцами из Скандинавии, передавшими ей свое имя: норманны, то есть *люди Севера*). Они нанимались на службу к местным лангобардским князьям для борьбы с арабами, опустошавшими берега Южной Италии и еще в 831–888 гг. захватившими принадлежавшую до того Византии Сицилию. В 1030 г. наемники из Нормандии, бывшие на службе у князей Капуи, и группа норманнских паломников, возвращавшихся из Иерусалима, захватили лангобардский город Аверсу. В 1037 г. туда из Нормандии прибыл некий рыцарь Танкред Отвильский с одиннадцатью сыновьями. Один из них, Роберт по прозвищу Гвискар (ст.-фр. *Хитрец*), в 1057 г. провозгласил себя графом (в 1059 г. — герцогом) Апулии (она принадлежала норманнам еще с 1043 г.) и вместе с младшим братом Рожером в 1061 г. начал завоевание Сицилии (завоевание завершилось к 1074 г., Рожер еще в 1061 г. провозгласил себя графом Сицилийским). К 1071 г. Роберт Гвискар захватил всю Апулию и Калабрию, включая византийские владения на юге Апеннинского полуострова. В 1130 г. сын Рожера, Рожер II, единственный оставшийся из Отвильей, объединил все норманнские владения и короновался как король Обеих Сицилий (*другая* Сицилия — норманнские владения на юге Италии с центром в Неаполе).
- ^{20*} Суть развитой вассально-ленной системы состояла в том, что связь между сеньором и его вассалом была сугубо личной, при этом непосредственно верховному сюзерену, то есть монарху, подчинялись лишь те, кто принес именно ему ленную присягу, она же клятва верности. Те же, кто приносил присягу вассалам короля, не делали этого по отношению к государю, то есть господствовал (особенно в Северной Франции) принцип: «вассал моего вассала не мой вассал», что весьма связывало руки королям в делах управления. После завоевания Англии норманнами завоеватели оказались во враждебном иноэтническом окружении, что побуждало их сплотиться вокруг монарха. В самой Англии, до завоевания, вассально-ленные отношения были развиты слабо, отсутствовала иерархическая система (герцоги и графы — непосредственные вассалы короля, у них

их собственные вассалы — владельцы замков, у тех — простые рыцари), существовала значительная прослойка свободных крестьян (йоменов). Короли из норманнской династии и их преемники во многом использовали традиции англо-саксонской Англии. Вассальную присягу государю должны были приносить все свободные люди, включая йоменов; земли, раздаваемые королем соратникам по завоеванию, представляли собой разбросанные по всей стране поместья, а не компактные княжества, как на континенте; носившие графский титул пользовались доходами с графства, но управляли этими графствами королевские чиновники, носившие старое англо-саксонское название шерифов. Так что власть королей на острове была много больше, нежели на континенте, а аристократия представляла собой корпорацию крупных землевладельцев, а не рыхлый союз полунезависимых князей.

^{21*} *Magna Charta* — Великая хартия [вольностей; лат.]. Этот документ, утвержденный 15 июня 1215 г. королем Англии Иоанном Безземельным под давлением восставших против него мятежников, в состав которых входили чуть ли не все сословия общества — от лордов до свободных крестьян, — вызывает споры доныне. Одни исследователи заявляют, что это первая в мире конституция, другие утверждают, что это перечень феодальных привилегий, выгодных только высшей аристократии. В определенном смысле правы и те, и другие. Великая хартия — первый в мировой истории документ, ограничивающий власть государя не традицией, моральными нормами или религиозными запретами, а юридическими положениями. Основная масса статей Хартии защищает интересы крупных феодалов, но некоторые статьи охраняют права рыцарей и горожан, даже имущество крестьян. Особое значение современные историки придают 39 статье, где говорится о том, что ни один свободный человек (зависимые крестьяне в расчет не принимаются) не может подвергаться наказанию по королевской воле, без суда равных ему (правда, это не означает современного равенства перед законом; это значит лишь, что лорда должны судить лорды, рыцаря — рыцари, горожанина — горожане и т. п.). Хартия то принималась королями (Иоанном и его сыном Генрихом III), то отвергалась; последнее вызывало сопротивление значительной части общества, и в 1265 г. в результате граж-

данской войны был создан особый орган, долженствующий следить за выполнением Хартии. Этот орган, получивший название парламента (от фр. *parler, говорить*), никак не являлся законодательным органом в современном смысле (таковым он станет в процессе потрясений и революций в Англии в XVII в.), но, в первую очередь, высшим судом. Кроме того (и это со временем станет главной его функцией), только парламент давал согласие на сбор налогов, а поскольку постоянных налогов Средневековье не знало, были лишь единовременные сборы, то каждый раз, нуждаясь в средствах, король вынужден был обращаться к парламенту, который выставляла свои требования к королю. В парламенте заседали по праву рождения (титулованная знать), по должности (высшее духовенство, члены высших судов) — именно они в XIV в. составят палату лордов, и по избранию (это будущая палата общин). Избирали и избирались лица, платившие налоги и обладавшие собственностью по два рыцаря от каждого графства (в число этих *рыцарей графств* могли входить и зажиточные свободные крестьяне) и по два горожанина (тоже состоятельных) от каждого *добророго королевского города*, в число которых включались далеко не все города Англии и которые получали свой статус по воле короля.

^{22'} Еще в середине VIII в. в недрах папской курии возник некий документ, получивший название *Константинов дар* (он многими подвергался сомнению, но его подложность была доказана лишь в XV в.). Согласно ему, император Константин Великий, исцеленный от проказы по молитве папы Сильвестра I, в знак благодарности подарил папе всю западную часть Римской империи, а сам удалился на Восток, где и основал Новый Рим, он же Константинополь. Посему на Западе папы оказываются как бы императорами-соправителями и обладают правом распоряжаться императорской короной. 25 декабря 800 г. папа Лев III во время рождественского богослужения в соборе Святого Петра возложил императорскую корону на пребывавшего в тот момент в Риме короля франков, бывшего также королем Италии, Карла Великого. Доныне неясно, было ли это неожиданностью для Карла, как утверждал он сам, или все это было сделано по предварительной договоренности короля и папы или даже по просьбе короля. Императорский венец до 903 г. носили потомки

Карла, потом он переходил от одного итальянского князя к другому, а в 924 г. императорский сан вообще исчез. В 951 г. король Германии Оттон I вмешался в итальянские дела, выступив в поддержку прав наследницы Итальянского королевства Аделаиды (в Германии ее называли Адельгейдой). Он не только утвердил ее в правах, но и женился на ней в 962 г., получив по браку итальянскую корону. В 961 г. он явился в Италию, дабы поддержать папу Иоанна XII в его конфликтах с итальянской (в том числе римской) знатю, и в 962 г. папа короновал его императором. Именно с этого времени корона Германии считалась неотделимой от короны Италии и императорской короны.

^{23*} Венды (венеды) — впервые употребленное Тацитом название славянских народов; этимология неясна. Впоследствии, в Средние века, это название перешло либо на славян вообще, либо на западных славян. Здесь имеются в виду так называемые «полабские славяне», жившие в регионе Эльбы. Ныне в исторической области Шпреевальд и в районе г. Бауцен в Германии живет сохранившаяся ветвь «полабских славян» — лужичане, они же лужицкие сорбы, западнославянский этнос (есть гипотеза, что два близкородственных этноса). В Средние века славянские народы были расселены гораздо далее на Запад, вплоть до нынешнего Шлезвиг-Гольштейна. Под германизацией нужно понимать истребление, покорение и ассимиляцию славянских народов между Одером и Эльбой в X–XIII вв. Выражение *регерманизация* употреблено здесь по следующей причине: по мнению ряда исследователей (другие, в особенности отечественные, отрицают это) территории между Одером и Эльбой были заселены германскими племенами (возможно, восточногерманскими, к которым относились готы и вандалы, но никак не предки нынешних немцев), которые еще в I в. н. э. начали переселяться на юг и запад, а в IV–VI вв., во время Великого переселения народов, покинули места своего первоначального обитания, и эти свободные земли были заняты славянами. Позднее же, уже в упомянутые выше X–XIII вв., германцы вернулись на эти территории.

^{24*} В 1199 г. на Святой Земле был создан военно-монашеский Тевтонский орден, вытесненный из Палестины другими орденами и с 1230 г. обосновавшийся в Пруссии (см. след. коммент.). В 1202 г. был со-

здан (утвержден папством в 1204 г.) орден Меченосцев, он же Ливонский орден, в 1237 г. вошедший на правах автономии в Тевтонский орден.

^{25*} *Прусы* — родственный литовцам балтийский этнос, истребленный, вытесненный и ассимилированный немцами к XIII в.; именно они дали название исторической области (а потом и государству) Пруссия.

^{26*} В результате Первой мировой войны ряд прибалтийских территорий Германии был передан Польше (так называемый «Данцигский коридор»), Литве (Мемель, он же Клайпеда) и поставлен под управление Лиги Наций (*вольный город* Данциг, он же Гданьск).

^{27*} Салической династией германских королей и императоров Священной Римской империи именуют династию выходцев из рода герцогов Франконских. Франкония — историческая область Германии, родина племен франков, одна из ветвей которых — салические франки (в результате Великого переселения народов они первоначально поселились на берегу Северного моря, в районе нынешних Нидерландов) захватили римскую Галлию. Название *Салическая династия* — сугубо ученое. Герцоги Франконские восседали на императорском престоле в 1024–1125 гг., герцоги Швабские Штауфены (Гогенштауфены; название дано по родовому замку Штауфен, или Гогенштауфен, то есть Высокий Штауфен, Штауфен-на-горе) царствовали в Германии и Империи в 1138–1254 гг.

^{28*} Вся деятельность Барбароссы была подчинена одной цели — утверждению своего императорского авторитета и в своей империи, и в мире. Для него Священная Римская империя — государство над государствами, более того, это весь мир, во всяком случае, весь христианский мир, а не только Германия, Италия и ряд иных земель. Другие государства есть в сущности всего лишь провинции империи, пусть и самоуправляющиеся (*reges provinciae, цари провинций* — говорил он о могущественных королях Англии и Франции). Главными противниками императора выступали папы, сами претендовавшие на роль глав христианского мира, итальянские (в первую очередь из Северной Италии, Ломбардии) города-коммуны (особенно Милан), стремившиеся к полной независимости и видевшие в императоре в лучшем случае удобного союзника в борьбе с сопер-

начающими коммунами, и немецкие феодалы, считавшие своего монарха лишь первым среди равных. Главным противником императора Фридриха Рыжебородого в Германии был его кузен и друг молодости герцог Саксонский и Баварский Генрих из рода Вельфов по прозвищу Лев. Во время одного из походов Барбароссы в Италию Генрих Лев отказался предоставить императору войско своих вассалов, которое он был обязан поставлять в соответствии с вассальной присягой. Император не достиг своих целей ни по отношению к папам (он вынужден был признать папское верховенство), ни по отношению к городам-коммунам (он признал их право на самоуправление), но Генриха Фридрих привел к покорности, отобрав у него и Саксонию, и Баварию, оставив лишь графство Брауншвейгское.

²⁹ Фридрих II, будучи не только императором, но и, по наследственному праву, королем Неаполитанским и Сицилийским, установил на Сицилии государственный строй, резко отличавшийся от современных ему в Западной Европе. На Сицилии существовало единое королевское правосудие, развитая налоговая и финансовая система, централизованная администрация, полицейские структуры, постоянная армия и т. п. Вся власть практически была сосредоточена в руках монарха (на Сицилии — совершенно невероятный для феодального Средневековья факт — было запрещено ношение оружия лицам, не состоящим на королевской службе). Историки XIX–начала XX в. объявили Фридриха II правителем, значительно опередившим свой век и более напоминающим не средневековых монархов, а тиранов времен Ренессанса или даже государей эпохи абсолютизма. Многие современные исследователи относятся к такой оценке с сомнением и утверждают, что Фридрих — явный маргинал по отношению к западноевропейской средневековой цивилизации, что, управляя Сицилией, он использовал традиции власти, утвердившейся на острове со времен византийского и арабского владычества. В любом случае, созданная Фридрихом система не пережила ее основателя. Короля же Франции Людовика IX Святого многие историки, особенно французские, считают подлинным создателем французской монархии и вообще государства современного типа.

³⁰ Буллой (буквально: *шарик*; лат.) называлась печать (свинцовая и даже золотая) в форме шарика, подвешиваемая к папским и император-

ским декретам, а также сами эти декреты. Золотая булла была обнаружена в 1356 г. императором Карлом IV. Основным содержанием этой буллы было определение прав курфюрстов (*Kurfürsten* ~ верхненем. *küren*, *выбирать* и нем. *Fürst*, *первый* ~ князь), то есть князей-избирателей. Императорский трон в Священной Римской империи был выборным (с X в. — фактически, с конца XV—начала XVI вв. по 1806 г. — формально). Первоначально список тех светских и духовных князей, которые могли избирать государя, был весьма неопределенным, но с XIII в. установился следующий: три духовных курфюрста — архиепископы Кёльнский, Майнцский и Трирский, и четыре светских — король Богемский (то есть Чешский), герцог Саксонский, маркграф Бранденбургский и пфальцграф Рейнский. В Золотой булле подтверждалось положение о том, что избранник курфюрстов есть законный император и ничего не говорилось о папах. Главным в булле была передача значительных прав курфюрстам. Их коллегия становилась постоянно действующим ежегодно собирающимся органом имперского управления (это, правда, не привилось). Они получали право чеканить монету, собирать таможенные пошлины, обретали высшую юрисдикцию над подданными. Земли их объявлялись неделимыми, наследуемыми по старшей линии и передаваемыми по завещанию в случае пресечения династии. Словом, курфюрсты превращались в фактически независимых государей.

^{31'} *Вестфальский мир* — принятое в исторической науке название двух мирных договоров, заключенных в гг. Мюнстер и Оснабрюк в исторической области Германии Вестфалии. Этот мир завершил Тридцатилетнюю войну (1618–1648). Начавшись как внутригерманский конфликт между коалициями протестантских и католических княжеств, война переросла в общеевропейскую, притом все более и более лишающуюся религиозной подоплеки. Католические епископы сражались на стороне протестантов, протестантские князья — на стороне императора-католика, сам император боролся против собственного главнокомандующего католика Валленштейна, протестантов поддерживали протестантские Дания и Швеция, но на их же стороне выступала Франция, во главе правительства которой стояли князь Церкви, кардиналы Ришелье и Мазарини, искоренявшие у себя в стране протестантов-гугенотов. Эта война стоила Гер-

мании потери почти трети населения от военных столкновений, голода, эпидемий и падения рождаемости. В соответствии с Вестфальскими договорами Швеция и Франция получали ряд территориальный приобретений в Германии, происходил определенный передел земель между германскими государями, а территориальные князья стали практически независимыми монархами; сан императора окончательно превратился в почетный титул и власть императора распространялась только на его родовые владения.

^{32'} Людовик XIV.

^{33'} Черная смерть — первая эпидемия чумы в Центральной и Западной Европе в конце 1347—середине 1350 гг. Эпидемия унесла, по разным подсчетам, от четверти до трети населения этих регионов, а в городах — от половины до двух третей.

^{34'} Авиньонское пленение — период 1308–1378 гг., когда резиденция папского престола под давлением французского короля Филиппа IV Красивого была перенесена из Рима в Авиньон в Южной Франции, и верховный первосвященник превратился, по сути, в придворного французского епископа. Это вызвало протесты в христианском мире, само название намекает на так называемое «вавилонское пленение» евреев — насильственное выселение евреев из Иерусалима в Вавилонию в 586–539 гг. до н. э., после взятия Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором II и до возвращения их в Палестину после завоевания Вавилонии персидским царем Киром II. Таким образом король Филипп как бы приравнивался к языческому царю Навуходоносору, гонителю избранного народа, а Авиньон — к Вавилону, символу нечестия и разврата.

Великая схизма — раскол в Католической церкви, проявившийся в том, что во главе ее одновременно стояло несколько пап. Влиятельная группировка в церковном руководстве стремилась ликвидировать зависимость от французской короны. Пользуясь затруднениями Франции в Столетней войне, эта группировка намеревалась вернуть папский престол в Рим. В конечном итоге в 1378 г. одна часть кардиналов избрала своего папу в Риме, а другая — антипапу в Авиньоне. Франция и ее союзники поддерживали авиньонского главу Церкви, противники ее — римского первосвященника. Созванный в 1409 г. Пизанский собор попытался прекратить раскол и, отре-

шив обоих пап от власти, избрал нового. Низложенные папы не подчинились решению, и на верховенство в Церкви претендовали уже трое. Конец схизме положил Констанцкий собор в 1417 г.

³⁵ Начало *Divina Commedia* [Божественной комедии]: «Nel mezzo del cammin di nostra vita» [«Земную жизнь пройдя до половины», *Ад*, 1, 1. Пер. М. Лозинского]. Данте, по его собственным словам (*Пир*, IV, 23), считал серединой человеческой жизни, вершиной ее тридцатипятилетний возраст. Именно к этому возрасту, какового он достиг в 1300 г., он приурочил свое путешествие в загробный мир. Умер Данте в 1321 г., в возрасте 56 лет.

³⁶ Поэму *The vision of Piers Plowman* [Видение о Петре Пахаре] написал английский поэт Уильям Ленгленд; поэму-прение *Der Ackerman aus Böhmen* [Пахарь из Богемии], диалог между человеком и смертью — немецкий гуманист Иоханнес фон Тепль, он же (ввиду того, что жил в чешском городе Жатец) Ян из Жатца.

³⁷ Теофраст Ауреол Бомбаст фон Гугенхайм (1493–1541) вошел в историю под самопрозванием Парацельс, то есть Равный Цельсу (Авл Корнелий Цельс — древнеримский медик). Прекрасный врач и фармацевт, он блестяще доказал, что классические античные медицинские теории, воззрения Гиппократ и Галена, неверны. Он критиковал алхимию и требовал, чтобы высшей целью ее было не златоделание, но получение лекарств. Но собственные теории Парацельса совершенно фантастичны — более, нежели учения греков и римлян.

Джироламо Кардано (1501 или 1506–1576) прославился как человек энциклопедических познаний — врач, математик, механик (карданный вал) и многое другое, но одновременно ярый приверженец магии и астрологии.

³⁸ Священная лига, союз государств в эпоху Итальянских войн 1454–1559 гг. между итальянскими и другими европейскими государствами за господство в Италии, в первую очередь, Южной. В 1508 г. папа Юлий II, император Максимилиан I, короли Испании Фердинанд V и Франции Людовик XII организовали по инициативе папы Камбрейскую лигу, направленную против Венецианской республики. Вначале действия против Венеции были успешны для союзников, но затем в их стане начались раздоры, вызванные опасениями чрез-

мерного усиления Франции. Папа быстро и решительно распустил Камбрейскую лигу и создал (договор подписан 4 октября 1511 г.) новую Священную лигу, направленную против «варваров», как стали называть французов. В эту Лигу вошли не только все, кроме Франции, члены Камбрейской лиги, но и их недавняя противница — Венеция, а также король Англии Генрих VIII. Особо активным противостояние Лиги и Франции началось в 1520-е гг., когда на французском престоле с 1515 г. оказался племянник и наследник Людовика XII — Франциск I, а королем Испании (с 1516 г.) и императором (с 1519 г.) внук Фердинанда и Максимилиана — Карл V. Фактически Священная лига распалась в 1520 г., когда папа Лев X, опасаясь уже более Испании и Империи, заключил тайный союз с Францией и добился определенной поддержки этого союза со стороны английского короля. Вершина конфликта пришлась на 1525 г., когда в битве при Павии 24 февраля французская армия была разбита, а король Франциск I оказался в плену в Испании. В Италии полновластным владыкой оказался Карл V. Заподозрив нового папу Климента VII в том, что он, первоначально поддерживавший Карла, перешел на сторону его врагов, католический император бросил свое войско на Рим, занятый в мае 1527 г. Имперская солдатня подвергла Вечный Город полному разгрому и разграблению, а жителей его — избиению и насилиям. О Священной лиге уже никто не вспоминал. Завершением Итальянских войн стал подписанный в г. Като-Камбрези 3 апреля 1559 г. мир между сыном и преемником Франциска I — Генрихом II и сыном и преемником Карла V — Филиппом II (он стал королем Испании, тогда как Империя отошла к брату Карла, Фердинанду). По этому миру Испания получала Сицилию, Неаполь и Сардинию.

^{39*} Эвдемонизм (греч. εὐδαιμονία, *счастье, благосостояние*) — философско-этическая традиция и жизненная установка, согласно которым единственным или высшим человеческим благом является счастье. Приверженцы эвдемонизма (Сократ, Эпикур, Спиноза, Лейбниц, Шефтсбери, Фейербах) считали счастливым и добродетельным человека, духовные и телесные способности которого могут беспрепятственно развиваться, так что он доставляет удовольствие себе и другим. *Коммент. пер.*

- ^{40*} Маркиз Себастьян Ле Претр де Вобан (1633–1707), маршал Франции, заложил основы научной фортификации, причем его новаторские идеи подвергались критике. Франсуа де Салиньяк де Ла Мотт де Фенслон (1651–1715), французский религиозный деятель (он был епископом Камбре), видный педагог (он был воспитателем внука Людовика XIV, а также автором трактатов по воспитанию женщин) и писатель, вызывал недовольство официальных церковных и правительственных кругов религиозными и, главное, политическими, антиабсолютистскими взглядами; был удален от двора и жил в своей епархии.
- ^{41*} Версальский двор, с его пышным церемониалом, призванным демонстрировать величие короны, ложился тяжким бременем, в том числе финансовым (величие требует денег), на страну. Пребывание короля в Версале, постоянной резиденции монарха в 1682–1789 гг., разрывало его связи с народом, во всяком случае, населением столицы. Во многом политика французских королей определялась версальским придворным окружением, в котором немалую роль играли фавориты и фаворитки, менее всего озабоченные интересами государства.
- ^{42*} Перечисляется ряд войн Людовика XIV, притом не все, а те, в которых участвовало отечество Й. Хёйзинги — Республика Соединенных провинций, в его времена именовавшееся Королевством Нидерланды.

Деволуционная война — между Францией и Испанией в 1667–1668 гг. из-за Испанских Нидерландов (в результате Нидерландской революции часть Нидерландов — будущая Бельгия — осталась во власти Испании). По обычаям провинций этой части Нижнеземелья, дети от второго брака не имели права наследования (деволуционное право). Людовик XIV был женат на Марии-Терезии, дочери от первого брака короля Испании Филиппа IV; наследник же престола, будущий Карл II Испанский, был сыном Филиппа от второго брака. На основании этого после смерти Филиппа в 1665 г. Людовик потребовал Испанские Нидерланды себе. Началась война, в результате которой Франция заняла часть Фландрии (это так называемая «французская Фландрия» и ныне находящаяся в пределах Французской республики) и Франш-Конте (франкоязычная

область с центром в Безансоне, в Средние века входившая в состав Священной Римской империи и отошедшая при разделе своих владений Карлом V Испании). Но обеспокоенная усилением мощи Франции Республика Соединенных провинций вступила в союз с Англией и Швецией (Тройственный союз 1668 г.), и этот союз, явно недружественный по отношению к Людовику, предложил свое посредничество. Людовик, опасаясь войны на два фронта, предложение принял. По заключенному в Аахене миру Франция сохраняла завоевания во Фландрии, но возвращала Франш-Конте. После этого Людовик возненавидел Республику Соединенных провинций и всячески стремился к ее уничтожению. (Й. Хёйзинга, как можно понять, одной из главных причин этого считает демократическое — насколько этот термин применим к той эпохе — устройство Республики, высшим органом которой были Генеральные Штаты, сословно-представительный орган, члены которого избирались по сословию представителями органами провинций — провинциальными штатами; правда, иногда Людовик пытался вмешиваться во внутренние дела Республики во время конфликтов между правителями — статхаудерами — Республики и Штатами на стороне последних.)

В 1672 г. началась Голландская война, в которой союзниками Республики выступили Англия (до 1674 г.), Швеция, Дания, а с 1673–1674 гг. Империя и бывшая метрополия Соединенных провинций — Испания. По завершившему войну Нимвегенскому миру 1678–1679 гг. Франция окончательно присоединила Франш-Конте, но завоевать Республику Соединенных провинций Людовику не удалось. В 1686 г. Республика, руководимая статхаудером Голландии Виллемом (Вильгельмом) Оранским, выступила инициатором Аугсбургской лиги в составе Республики, Империи, Испании, Швеции и ряда немецких княжеств. В октябре 1687 г. Людовик начал новую войну (ее Й. Хёйзинга не упоминает). В 1688 г. в войну вмешалась Англия, в которой в результате Славной революции (см. коммент. 5* к очерку *Тени завтрашнего дня*) сменилась царствующая династия, и королем под именем Вильгельм III стал Виллем Оранский. В конечном итоге Франция, одерживавшая военные победы, оказалась с пустой казной. По Рисвикскому мирному догово-

ру 1697 г. Людовик признал Вильгельма III законным королем Англии и отказался от поддержки свергнутой династии Стюартов.

Вершиной войн Людовика XIV, Короля-Солнца, как его именовали, стала Война за Испанское наследство. В 1700 г. умер бездетный король Испании Карл II Габсбург. Претензии на трон выдвинули представитель другой, австрийской ветви дома Габсбургов, император Леопольд I и племянник по матери последнего испанского короля и внук Людовика XIV герцог Филипп Анжуйский. Карл завещал корону Филиппу, который короновался как король Испании Филипп V. Но противники Франции не признали этого. Война началась в 1701 г. Против Франции и союзной Испании выступили Англия, Республика Соединенных провинций, Империя (фактически — Австрия), Пруссия и ряд иных государств, в частности, герцогство Савойское. После ярких побед и сокрушительных поражений и той, и другой стороны в г. Утрехт в 1713 г. был заключен мир. По условиям этого мира Филипп признавался королем Испании, но лишался прав на французский престол, Австрия получала Испанские Нидерланды и испанские владения в Италии, Англия — Гибралтар и некоторые французские владения в Северной Америке. Считать все эти войны «неудавшимися предприятиями» вряд ли имеются серьезные основания. Франция обрела гегемонию в Европе, но действительно подорвала свою экономику, что, в конечном счете, через несколько десятилетий (тогда процессы развивались медленнее, чем теперь) привело к государственному банкротству, а это, в свою очередь, стало одной из причин Французской революции (1789–1795 гг.).

⁴³ Нантский эдикт — дарованный в 1598 г. королем Франции Генрихом IV своим прежним единоверцам — гугенотам; гарантировал им свободу вероисповедания и богослужения (кроме Парижа и нескольких других городов), а также определенные политические права и привилегии. Эти права и привилегии были отменены правительством герцога Ришелье в 1629 г., но свобода вероисповедания сохранялась. Давление на гугенотов активно осуществлял Людовик XIV. Историки доныне спорят о причинах этого. Одни утверждают, что это объясняется влиянием иезуитов при дворе и, особенно, мадам де Ментенон, любовницы (а с 1684 г. и тайной жены) короля, отличавшейся хан-

жеским благочестием и заразившей им Людовика. Другие заявляют, что Король-Солнце просто не мог позволить существовать во Французском королевстве какой-либо иной религии, нежели та, которую исповедует он сам. Еще до полной отмены Нантского эдикта в 1685 г. гугеноты подвергались различным запретам и преследованиям. Так, гугеноты могли собираться на молитвенные собрания только по ночам. Одним из средств давления стали так называемые «драгонады» — размещение драгун на постой в дома протестантов.

^{44*} Договоры *locatio-conductio* — разделы римского права, посвященные регулированию аренды и найма.

^{45*} Девятилетняя война между Англией и Францией 1688–1697 гг. (Республика Соединенных провинций подверглась нападению в 1687 г.) в ряде западных исторических традиций, особенно в Великобритании, называется Войной за Британское наследство, ибо это был спор в том числе между Оранской династией и поддерживаемыми Францией Стюартами.

^{46*} Король Пруссии Фридрих II Великий был весьма противоречивой личностью: неудержимый завоеватель (он увеличил размеры Пруссии в 1,5 раза, а население в 2,5 раза) и талантливый администратор (он заботился о строгом соблюдении законов, о крестьянах, в частности, требовал охранения крестьянской собственности), ценитель наук (он основал Прусскую Академию наук и сам возглавил ее) и искусств (не только сам с молодых лет играл на флейте, но и основал оперу в Берлине), поклонник французской культуры (в Академии рабочим языком был французский), деятель Просвещения (покровитель Вольтера, сторонник широкой веротерпимости) и грубый солдафон — и все это одновременно. Начавшаяся в 1740 г. Первая Силезская война с Австрией оправдывалась Фридрихом на основании того, что некогда, в Средние века, отдельные части Силезии входили в состав курфюршества Бранденбургского, которое стало впоследствии основой Прусского государства (дед Фридриха II, Фридрих I, в 1701 г. принял прусскую корону). Фридриху Великому приписываются в связи с этим слова: «Когда я хочу захватить какую-то провинцию, я ввожу в нее мои войска, а потом уже мои историки докажут, что провинция эта должна была нам принадлежать с незапамятных времен». В 1742 г. Фридрих закрепил за со-

бой Силезию и, надо отдать ему справедливость, установил там гораздо лучшее правление, нежели при австрийцах, заботился о крестьянах этой провинции: простил им долги перед казной, выдавал безвозмездно зерно для посева, предоставил полные права католикам (Пруссия — протестантское государство), которых было немало как среди поляков, издревле населявших Силезию (истинный пруссак, Фридрих, тем не менее, был лишен даже капли расизма), так и среди силезских немцев.

^{47*} *Ancien Régime* (буквально: *Старый режим*; фр.) — в западной, особенно французской, исторической науке название периода, предшествовавшего Великой Французской революции. Не совсем ясно, что считать началом этого периода. Иные отсчитывают его с конца Средневековья, иные (видимо, так считал и Й. Хёйзинга) относят к нему несколько десятилетий XVIII в. до 1789 г., время правлений Людовика XV и Людовика XVI.

^{48*} Й. Хёйзинга имеет в виду тех государственных деятелей предреволюционной Франции, чьи взгляды и политика расходились с установившимися представлениями и обычаями. Анн Робер Жак Тюрго, видный просветитель, человек впервые заявивший, что прогресс есть закон истории, был крупным экономистом, занимавшим пост генерального контролера (министра) финансов; на этом посту он пытался провести радикальную реформу экономики, сделать ее по-настоящему рыночной, отменить давно устаревшие, но еще действовавшие феодальные привилегии, в частности, освобождение дворянства и духовенства от налогов, но потерпел неудачу и был вынужден подать в отставку. Граф Шарль Гравье Верженн был министром иностранных дел во времена Войны за независимость британских колоний в Северной Америке и, в противовес поборникам «священного права монархов», ратовал за союз с новообразованными США, за экономическую и даже военную помощь им. Сыграли свою роль как сочувствие восставшим со стороны либерального общественного мнения Франции, просвещенной части публики (видный аристократ маркиз Мари Жозеф Лафайет возглавил группу добровольцев, которые в 1776 г. отправились за океан, чтобы вступить в армию Джорджа Вашингтона), но равно и стремление вернуть, по словам Верженна, Франции ее прежние «престиж и преобладающее влия-

ние», утерянные в Семилетней войне (1756–1763), стоившей Франции, среди прочего, ее колоний в Канаде, отошедших Великобритании. Вержени доказывал, что Англия представляет большую угрозу, нежели «новое американское государство, которое навеки обречено быть конгломератом слабо связанных между собой и раздираемых взаимными противоречиями штатов». 8 февраля 1778 г. был заключен союз между Францией и США, в силу которого Франция оказала США помощь деньгами, оружием и регулярными войсками. Иные историки, в основном европейские, полагают, что без этой помощи США бы не победили. Некоторые американские историки полагают, что французские расходы на помощь Америке (исследователи подсчитали, что, исходя из сегодняшней стоимости денег, Франция потратила около 2 млрд долларов, а США — 1 млрд) помешали провести необходимые реформы во Франции, что привело к дефициту бюджета, каковой стал одной из причин революции.

⁴⁹ Санкюлоты — название революционеров в эпоху Великой Французской революции, вошедшее в обиход в 1792 г. и применявшееся к бедным и беднейшим слоям населения, являвшимся боевой силой революционных организаций и массовых выступлений. Слово произведено от фр. *sans*, *без* и *culottes*, как назывались короткие штаны до колен, носившиеся с чулками и являвшиеся признаками дворянской или, как минимум, состоятельной части населения. Санкюлоты носили длинные штаны до пят, и именно эта мода, вместе с модой на революцию, завоевала Европу.

⁵⁰ Аватара — в буквальном значении: в индуистской мифологии нисхождение божества на землю, его воплощение в смертное существо ради спасения мира, восстановления закона и справедливости или защиты своих приверженцев. При этом божество отчасти сохраняет божественную природу, отчасти приобретает земную. Наиболее известны аватары бога Вишну, а среди них — великие герои Рама и Кришна. В переносном смысле, как здесь — воплощение некоего феномена (например, милитаризма) в различных формах при сохранении сущности.

⁵¹ Парафраз известного выражения прусского военного теоретика генерала Карла фон Клаузевица: «Война есть не что иное, как продолжение политики с привлечением иных средств».

- ^{52'} Итальянское слово *fascismo* происходит от итальянского же *fascio*, *пучок, связка*, в переносном смысле — *объединение*, так что здесь намек на национальное единство. Кроме того, итальянский фашизм всячески эксплуатировал древнеримские воспоминания и древнеримскую символику. В Древнем Риме символом власти магистратов, причем даже высших — консулов, диктаторов — были фасции (лат. *fascis*, *связка, пучок, вязанка*), пучки прутьев с воткнутыми в середине двулезвийными топориками, которые перед должностным лицом несли особые служители — ликторы (в зависимости от сана их число могло быть различно); на эмблеме фашистской партии в Италии помещалось изображение фасций.
- ^{53'} *Contradictio in terminis* — букв. лат. *противоречие в определении конечной цели*; парафраз выражения *contradictio in adjecto*, являющегося пример логической ошибки, когда наличествует противоречие между определением и определяемым понятием.
- ^{54'} Итальянский фашизм и германский национал-социализм заимствовали немало от символики, фразеологии и идеологии левых благодаря популярности их идей среди трудящихся. Одним из официальных лозунгов фашистов был: «Пролетарская и фашистская Италия, вперед!». Красное знамя нацистов должно было знаменовать их приверженность рабочему делу, да и само название — Национальная социалистическая немецкая рабочая партия (нем. NSDAP) — свидетельствует о том же. Одним из пунктов программы партии была борьба с *плутократами* (то есть обладающими властью благодаря богатству; кстати, если те или иные капиталисты поддерживали нацистскую партию, то они уже вежливо именовались «капитанами индустрии»). В Германии после прихода нацистов к власти резко спала безработица за счет общественных работ, действовала система социальных пособий неимущим, в первую очередь, многодетным. В 1935 г. 32% членов нацистской партии составляли рабочие, 11% — крестьяне (так что представления о национал-социалистах как о партии лавочников не вполне точно), мелких городских собственников в партии было тогда 20%, представители интеллигентских профессий — ученые, инженеры, художники, врачи, особенно учителя — составляли 20% (причем среди учителей членов NSDAP было около 30%), чиновники 13%. Но выражение *национал-социа-*

лизм было не только и, может быть, не столько противоречием в определении: его приверженцы противопоставляли «ложным» видам социалистических учений — марксистскому социализму, социал-демократии, христианскому социализму, каковые со своим интернационализмом никак не подходят истинным немцам — свой, «подлинный», национальный социализм.

^{55*} Строка из гимна, сочиненного поэтом Каллистратом и воспевающего подвиг двух юношей-тираноубийц, Гармодия и Аристогитона, прославленных в греческой и позднейшей европейской традиции. Гимн приобрел широкую известность в Афинах. Из множества европейских переводов наиболее известен *Hymn to Aristogeiton and Harmodius* Эдгара По (1827).

В 560 г. до н. э. власть в Афинах захватил тиран Писистрат. Тиранами в Античности называли тех, кто взял единоличную власть нелегитимным путем, причем не обязательно насильственным. Тот же Писистрат, воспользовавшись смутами в Афинском государстве и опираясь на беднейшие слои населения, захватил власть первый раз по решению народного собрания. Несколько раз его изгоняли, он возвращался, в том числе с помощью отряда наемников, но умер, будучи при власти, и передал ее своим сыновьям Гиппию и Гиппарху. Если Писистрат, обладая харизмой, немалым красноречием, а также осуществляя реформы, направленные на улучшение положения бедноты, пользовался значительной популярностью в Афинах, то сыновья его завели пышный двор, что немало раздражало афинян, да и вообще не обращали внимания на народ. Составился заговор, который возглавили Гармодий и Аристогитон. Они предприняли в 514 г. до н. э. попытку убить тиранов, причем приблизились к ним во время празднества, спрятав мечи в ветвях мирта, бывшего атрибутом праздника. Гиппарха удалось убить, причем при покушении погиб Гармодий, но Гиппий спасся, удержался у власти, повелел схватить заговорщиков, казнить Аристогитона и изгнать других участников заговора. Однако изгнанники, опираясь на недовольных в самих Афинах и на помощь Спарты, смогли изгнать в 510 г. до н. э. Гиппия, который бежал в Персию.

^{56*} *Буланжизм* — политический феномен, связанный с именем генерала Жоржа Эрнеста Буланже. Этот вояка (*le brav' général* — *бравый*

генерал) выступил в 1886–1889 гг. во главе разношерстного движения, выдвигавшего требования пересмотра конституции (впоследствии выяснилось, что Буланже был связан с монархистами, но официальным лозунгом его сторонников была «плебисцитарная республика», то есть такое государственное устройство, где основные законы должен принимать не парламент, а народ на плебисцитах), проведения социальных реформ (не ясно, каких) и реванша по отношению к Германии. Чувство национального унижения после несчастной для Франции франко-прусской войны 1870–1871 гг. было весьма велико, что прибавляло популярности генералу. Именно это привело в лагерь буланжистов яркого поэта и страстного националиста, добровольца времен франко-прусской войны и участника подавления восстания Парижской Коммуны, постоянного организатора разнообразных антиправительственных манифестаций и шествий, депутата и учредителя *Лиги патриотов* Поля Деруледа. Именно благодаря ему Буланже был избран в парламент в 1889 г. Но власти обвинили, достаточно основательно, Буланже в попытке государственного переворота, тот бежал в Бельгию, агитация Деруледа в его пользу не удалась, и в конечном итоге генерал, в духе лучших романтических традиций, застрелился в Бельгии на могиле своей возлюбленной. Буланжизмом в широком смысле в конце XIX – первой половине XX вв. называли политические движения, ставившие целью привести к власти харизматического лидера законным путем, через народное волеизъявление, с помощью шовинистических лозунгов и социальной демагогии.

^{57*} *Дело Дрейфуса* — скандальное судебное дело против капитана французского Генштаба Альфреда Дрейфуса, еврея по национальности. Он был в 1894 г. на основе ложных показаний и поддельных документов (в подделках участвовали высшие чины военного ведомства) обвинен в продаже Германии секретных документов и приговорен к пожизненной каторге. Расправа над Дрейфусом привела не только к взрыву антисемитизма во Франции и продолжению нападок на республиканский режим и парламентскую систему (ср. след. коммент.), но и к движению так называемых *дрейфусаров*, сторонников демократии и противников национализма, причем в этом движении участвовали такие известные люди как А. Франс и Э. Золя (последний был обвинен в «неуважении к правосудию и клевете на ар-

мию» и вынужден бежать, чтобы не попасть в тюрьму). В 1896 г. было установлено, что продажа военных секретов действительно имела место, но повинен в этом другой французский офицер — потомок выходцев из Венгрии, аристократ с длинной родословной граф Мари Шарль Фердинанд Вальсен Эстергази. Однако военный суд, несмотря на неопровержимые свидетельства, оправдал его. В конечном итоге, борьба вокруг дела Дрейфуса закончилась его помилованием в 1899 г. и окончательным оправданием в 1906 г.

^{58*} В 1887 г. выяснилось, что зять президента Жюль Гревь за деньги включал желающих получить орден Почетного Легиона в список, который затем его тесть подписывал. Доныне неясно, участвовал ли в этом мошенничестве сам президент, или просто ставил свою подпись на наградном листе не глядя, но разгорелся скандал, во время которого множились обвинения в адрес «прогнившего режима» Республики, при котором, по мнению обвинителей, только и возможны подобные акты мошенничества. Президент Гревь вынужден был в том же году подать в отставку.

^{59*} В 1879 г. строитель Суэцкого канала Ф. Лессепс (см. коммент. 48* к очерку *Тени завтрашнего дня*) основал акционерное общество для сооружения Панамского канала. Общество это пустилось во всякие жульнические махинации, члены правления занимались хищениями и разбазариванием средств, а для сокрытия нарушений и злоупотреблений, слухи о которых просачивались в печать, подкупали министров, сенаторов, депутатов, редакторов газет. В конечном итоге компания в 1888 г. разорилась, пустив по миру множество — десятки тысяч — мелких держателей акций. Различные антиреспубликанские силы воспользовались Панамским скандалом (именно тогда слово *Панама* стало нарицательным для обозначения грандиозной аферы) для нападок на республиканское и парламентское устройство (см. коммент. 58*). В 1889 г. состоялся суд над руководством компании, Лессепс был приговорен к 5 годам тюрьмы, но вскоре приговор был пересмотрен (по формальным основаниям), и Лессепса освободили. Доныне неясно, был ли он напрямую замешан в мошенничестве или повинен лишь в преступной халатности.

^{60*} Словосочетание *fin de siècle*, популярное в Европе с конца 1880-х гг., помимо буквального значения «конец века» (*фр.*), выражало также

и эсхатологические страхи, связанные с ожиданиями конца XIX в. и грядущих потрясений: то ли войны, то ли революции, то ли каких-то последствий технического прогресса (фотография убьет живопись, кинематограф — театр и т. д. и т. п.). Считается, что это выражение появилось в связи с постановкой 17 апреля 1888 г. пьесы французских драматургов Ф. де Жувено и А. Микара *Конец века*.

⁶¹ В 1892 г. французская полиция арестовала известного анархиста Равашоля по обвинению во взрывах дома судьи, ведшего одно из дел анархистов, а также казарм муниципальной гвардии. Кроме того, он убил богатого парижанина и похищенные деньги передал для помощи семьям арестованных анархистов. Равашоль ранее разыскивался также за нападение на 93-летнего старика, которого он задушил при ограблении (деньги они присвоил), и взлом склепа богатой аристократки, где он надеялся найти драгоценности. В том же 1892 г. Равашоль был приговорен к смертной казни; последними его словами были: «Да здравствует революция!».

В следующем, 1893 г. анархист Огюст Вайян бросил с мест для публики бомбу в Палате депутатов, причем никто из депутатов не был убит, но несколько ранено. На суде Вайян заявил, что он никого не собирался убивать, но хотел ранить как можно больше в качестве мести за Равашоля. В 1894 г. он был казнен; последними его словами были: «Смерть буржуазии! Да здравствует анархия!».

Итальянский анархист, натурализовавшийся во Франции, Санте Казерио в 1894 г. столовым ножом зарезал президента Французской Республики Мари Франсуа Сади Карно (имя Сади означает французское произношение имени великого персидского поэта XIII в. Саади). Он объявил, что действует как мститель за Вайяна, а также желает убить тирана.

Короля Италии Умберто I застрелил анархист Анджело Бреши, заявлявший, что Умберто был «символом репрессивного общества».

В 1898 г. в Женеве выходец из Италии анархист Луиджи Луккени убил жену императора Франца Иосифа I, императрицу Елизавету, ударом остро отточенного напильника. Его приговорили к пожизненному заключению (в Швейцарии нет смертной казни); в последнем слове он прокричал: «Да здравствует анархия! Смерть

аристократам!». Впоследствии (через 12 лет) Луккени повесился в тюрьме.

Об убийстве президента США Мак-Кинли см. коммент. 1* к очерку *Тени завтрашнего дня*.

Й. Хёйзинга имеет в виду, что преступления анархистов были бессмысленными. Если президент США был реальным руководителем государства, король Италии все же пытался — и временами достаточно активно — вмешиваться в дела управления, то в соответствии с тогдашней конституцией Французской Республики президент был чисто ритуальной фигурой, а императрица Австро-Венгрии никакого влияния на политику страны оказывать не могла. Идея анархистского «прямого действия», как это называлось, заключалась в том, чтобы путем террора напугать правящие классы и удерживать путем страха людей от участия во власти; тогда любые формы государственного управления распадутся и наступит вожаденная анархия, а люди создадут правильные формы общежития — коммуны, ассоциации, федерации, — в которых будет господствовать естественный порядок, не стесненный искусственными государственными ограничениями (отсюда и лозунг: «Анархия — мать порядка!»). Й. Хёйзинга указывает здесь на бессмысленность анархистского террора и сравнивает его с действиями тираноубийц XVI в., считавшими себя вправе (и это была целая теория, поддерживаемая некоторыми деятелями Церкви) убить государя, если тот уклоняется от путей истинной веры.

Жак Клеман, монах-доминиканец, убил короля Франции Генриха III за то, что тот приказал убить вождя радикальных католиков герцога Генриха Гиза, а после восстания, вызванного этим убийством, бежал к врагу католической веры, вождю гугенотов, королю Генриху Наваррскому, будущему королю Франции Генриху IV. Клеман был схвачен и убит на месте преступления. Многие католики считали, что он свершил свое дело во имя спасения Франции от короля-антихриста.

Генрих IV, принявший католичество, дабы достичь трона, был убит Франсуа Равайяком. Равайяк, школьный учитель, бедный, озлобленный на весь мир неудачник, был примерным католиком, много молился, постился, собирался поступить в монастырь, но после

полуторамесячного послушничества был отослан монастырским начальством, которому показались странными и подозрительными его взрывы благочестия и видения; вину за свою неудавшуюся жизнь он возложил на короля Генриха IV, более чем сомнительного христианина с точки зрения правоверного католика. С 1609 г. его охватывает желание явиться к королю и то ли убедить его на деле, а не на словах обратиться в истинную веру, то ли убить его; к этому, по его собственным словам, его призывали «некие голоса». 14 мая 1610 г. он убил короля, схавшего в карете, ударом кинжала и мог бы, воспользовавшись суматохой, скрыться, но остался на месте, был схвачен, судим и четвертован. Историки доньше спорят, был ли Равайак фанатиком-одиночкой, возможно, психически больным, либо Генрих IV пал жертвой заговора, организатором которого являлись ультракатолики-иезуиты. Й. Хёйзинга полагает, что действия этих тираноубийц были, при всей их неприемлемости, все же осмысленнее, чем террор анархистов. Потому он, пользуясь сравнениями из поэмы Данте, считает фанатиков менее виновными, нежели террористов и помещает их не в самые глубокие места в аду (по Данте, чем более тяжкое преступление совершил грешник, тем ниже тот круг ада, в котором он подвергается мучениям и, соответственно, тем тяжелее муки).

⁶² *Арийцы* – термин, имеющий весьма долгую историю. Первоначально, с середины XIX в., этим европеизированным индийским словом, относившимся к населению Северной Индии, называли всех, относящихся к индоевропейской (тогда ее называли еще индо-германской) языковой семье, ибо прародиной индоевропейцев считалась Индия (споры о прародине индоевропейцев идут доньше). В настоящее время арийскими языками называют языки индо-иранской группы (Северная Индия была завоевана во II тысячелетии до н. э. выходцами с Иранского нагорья) или собственно северо-индийские (индо-арийские) языки. В XIX в. различные языки четко закреплялись за определенными расовыми группами, откуда и появилось выражение «арийская раса». Правда, этим словом называли не жителей Ирана и Северной Индии, относящихся, по современной классификации, к индо-афганской малой расе южных европеоидов, принадлежащих к большой европеоидной расе; это длинноголовые темноволосые кареглазые люди. Тогда слово «арийцы» прилагалось к

тем, кого сегодня относят к атланто-балтийской (в позапрошлом и начале прошлого века ее еще называли нордической) малой расе северных европеоидов — длинноголовых, светловолосых, светлоглазых. В то же время французский социолог и писатель Жозеф Артюр де Гобино выдвинул первую чисто расистскую теорию. Арийская (она же нордическая) раса, высшей формой которой являются германцы (франки, которых граф Гобино считал предками французской аристократии, тоже относились к древним германцам), есть в силу биологических особенностей (в том числе формы черепа) высшая раса, раса господ, ибо только арийцы, опять-таки исходя из их расовых особенностей, обладают способностями повелевать. Впоследствии эта теория была развита другими антропологами (в основном, немецкими) и стала, в позднем варианте, официальным учением в Третьем рейхе.

^{63*} В 1911 г. Италия начала с Турцией Триполитанскую войну с целью захвата североафриканских провинций Османской империи Триполитании и Киренаики. Через год эта цель была достигнута, но эти итальянские владения испытали еще множество перипетий. Восстание 1918 г. привело к провозглашению независимой Республики Триполитания, в основном завоеванной итальянцами к 1921 г. (военные действия шли до 1928 г.). В 1939 г. Триполитания и Киренаика были объединены в единую колонию, получившую название Ливия. В 1943 г. Ливия была занята английскими войсками, после Второй мировой войны передана под мандат ООН (осуществляли мандат Великобритания и Франция). В 1951 г. провозглашено независимое королевство Ливия, в 1969 г. — Ливийская Арабская республика, с 1977 г. и доныне именуемая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. В 1935 г. Италия попыталась захватить Эфиопию (первая попытка в 1890–1896 гг. не удалась), но в 1936 г., несмотря на довольно робкие попытки западных демократических правительств протестовать, завоевала ее. В 1941 г. независимость Эфиопии была восстановлена. В 1974 г. монархия в Эфиопии была свергнута коммунистами и началось «строительство социализма» (в 1984 г. республика получила название Социалистическая Эфиопия), в 1991 г. коммунистическая диктатура свергнута, диктатор Менгисту бежал и укрылся в Зимбабве.

⁶⁴ Предыстория Англо-бурской войны 1899–1902 гг. такова. В 1652 г. на мысе Доброй Надежды голландцами была организована Капская колония. Эта колония, в условиях малоземелья в Республике Соединенных провинций, стала переселенческой, то есть там выходцы из Нидерландов вели своими силами сельское хозяйство: отсюда и название этих переселенцев и их потомков — буры (нид. *boer*, *крестьянин*); сейчас, впрочем, они обычно именуются африканерами (африкандерами). В результате наполеоновских войн Капская колония отошла англичанам. Недовольные новыми властями, особенно после того, как те запретили рабство, буры-фермеры предприняли так называемый «великий трек» — массовое переселение на север, на еще не занятые европейцами земли. В 1836 г. была образована первая бурская республика — Натал, но в 1843 г. ее аннексировала Великобритания. Еще в том же 1836 г. буры стали создавать свои поселения севернее, в бассейнах рек Оранжевая (название дано в честь Оранской династии в Нидерландах) и Вааль. В 1842 г. было создано Свободное государство Оранжевой реки (обычно называемое Оранжевой республикой), в 1848 г. оно разгромлено англичанами, но в 1854 г. восстановлено. Еще до этого, в 1852 г., возникла бурская Республика Трансвааль (в 1856–1877 и 1884–1900 гг. — Южно-Африканская Республика, обычно всё равно называемая Трансваалем), и Великобритания признала ее, хотя никогда не отказывалась от аннексионистских планов. В 1877 г. правительство консерваторов во главе с Бенджамином Дизраэли заставило бурские республики признать протекторат Великобритании. Но вскоре, в 1881 г., буры восстали. Это вызвало прилив ненависти к ним в самой Англии, именно тогда крайние националисты, призывавшие отомстить бурам, получили от их противников кличку «джинго» (отсюда и «джингоизм» как синоним крайнего национализма). После поражения в том же году при Маюба-Хилл профессиональной британской армии от горстки буров новое, либеральное правительство Уильяма Юарта Гладстона заключило с бурскими республиками соглашение, по которому эти государства признавали некий верховный сюзеренитет Великобритании, но фактически были независимыми (Гладстон и либералы были вообще противниками колониальных завоеваний, хотя именно правительство Гладстона вве-

ло в 1882 г. войска в Египет, под предлогом получения долгов от его правителя, и фактически оккупировало эту страну). Однако алмазные копи Оранжевой республики и открытые в 1886 г. богатейшие золотые россыпи в Трансваале снова и снова подогревали аппетиты англичан. Во главе сторонников расширения империи стоял известный колониальный деятель Сесил Родс. Он громогласно требовал, чтобы бурские республики даровали все гражданские и политические права так называемым «уитлендерам», мигрантам из Европы (в основном, из Великобритании), хлынувшим на алмазные копи и золотые прииски. Буры, боясь быть вытесненными этими новыми пришельцами, не только не предоставили им избирательные права, но и устанавливали для них особые повышенные налоги. Родс, в тайном сговоре с британским правительством, возглавляемым консервативным маркизом Робертом Артуром Толботом Солсбери, готовил государственный переворот в Южно-Африканской Республике, который должен был быть совершен уитлендерами, снабженными британским оружием. В то же самое время из южноафриканских колоний Великобритании в Трансвааль должен был вторгнуться вооруженный отряд под началом приверженца Родса — Линдера Старра Джеймсона. Последний совершил лихой налет в 1896 г., но поход этот провалился, уитлендеры не восстали, войско Джеймсона было разбито, а сам он попал в плен. Это вызвало взрыв неприязни к бурам в самой Англии, рост популярности трансваальского президента Пауля Крюгера, попытки министра по делам колоний Джозефа Чемберлена предъявить ультиматум бурам, требуя подтвердить верховные права Великобритании, отказ Крюгера и, в конечном итоге, Англо-бурскую, называемую в Британии Южноафриканской, войну. Неожиданно для всех, дела англичан пошли не очень гладко. Армии бурских республик, все мужское население которых было меньше числа британских войск в Южной Африке, оказали упорное сопротивление захватчикам, тем более, что им активно помогала Германия, снабжая их оружием. Не только император Вильгельм II, буквально одержимый идеей всемирного господства Германии, но и германские правящие круги желали расширения германского присутствия в Африке (еще в 1884 г. Германия захватила Юго-Западную Африку — нынешнюю Намибию), чего безумно боялись в Лондоне. Император в 1899 г. не толь-

ко послал приветственную телеграмму Крюгеру, но и вынашивал планы военной поддержки, которую бурам должна была оказать Германская империя. Общественное мнение континентальной Европы было безусловно на стороне буров (вспомним невероятно популярную в России песню: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне», роман французского писателя Луи Буссенара *Капитан Сорви-Голова*, где группа молодых французов-добровольцев помогает бурам). В самой Британии оно разделилось: консерваторы и их приверженцы были за победу над бурами, либералы и их сторонники — против этой войны вообще (существовали и исключения: вполне либерально, а потом и социалистически ориентированный знаменитый писатель Дж. Б. Шоу поддерживал правительство, ибо буры сохраняли в своих республиках рабовладение). В 1900 г. наконец была взята столица Южно-Африканской Республики — Претория, и это государство перестало существовать; Оранжевая республика еще сопротивлялась, да и в Трансваале развертывалась партизанская война. Тем не менее, в 1902 г. буры капитулировали. В 1907 г. новые колонии — Трансвааль и Оранжевая — получили самоуправление, а в 1910 г. они, Натал и Капская колония объединились в Южно-Африканский Союз, получивший статус английского доминиона. Дальнейшие события — введение официальной системы апартеида, то есть исключения цветного населения из политической и даже гражданской жизни в 1948 г., провозглашение «белой» Южно-Африканской Республики в 1961 г., упразднение системы апартеида в 1990 г. и приход к власти правительства черного большинства в 1994 г. — уже, естественно, выпадают из поля зрения Й. Хейзинги.

⁶⁵ Когда в марте 1939 г. Гитлер захватил Чехословакию, это вызвало в Британии взрыв возмущения — не только немецкой агрессией, но и примиренческой политикой британского правительства. Премьер-министр Невилл Чемберлен заявил, что Великобритания будет защищать Польшу в случае германского нападения. Когда 1 сентября 1939 г. Гитлер вторгся в Польшу, Чемберлен, после нескольких отчаянных попыток добиться хоть какого-нибудь компромисса, 3 сентября выступил по радио и заявил, что Британия объявляет войну Германии. В тот же день это сделала Франция. Началась Вторая мировая война.

^{66*} 23 апреля 1898 г. США объявили войну Испании. Предлогом была поддержка восстания жителей испанских колоний Кубы и Филиппин против метрополии и взрыв (доныне идет спор, не провокация ли была это) американского броненосца, посланного для поддержки повстанцев и стоявшего на рейде Гаваны. В результате военных действий американская армия захватила Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины и о. Гуам в Тихом океане. По Парижскому мирному договору Испания передавала эти территории США, правда, Филиппины — за 20 млн долларов. Кубу США объявили независимой республикой (20 мая 1902 г.; Куба следовала в фарватере американской политики до 1959 г.), Пуэрто-Рико — *присоединившимся штатом* (этот статус сохраняется доныне, и жители острова на референдумах отказываются как от независимости, так и от перехода в состояние полноправного *союзного* штата), Гуам сделался (и остается) *неинкорпорированной территорией* США, Филиппинам была обещана независимость, но получили они ее лишь в 1946 г.

^{67*} Финляндия принадлежала Швеции по меньшей мере с XII в. (в полной мере — с XIV в.) и обладала определенной автономией, например, избранным от представителей сословий сеймом. В 1809 г. в результате очередного этапа наполеоновских войн Финляндия в качестве особого Великого княжества вошла в состав Российской империи при условии сохранения местных прав и вольностей, в частности, сейма. Высшим органом власти был объявлен Императорский Финляндский сенат, состоявшийся из местных уроженцев, но подчиненный императорской власти. В 1899 г. была уничтожена отдельная финляндская армия, введен в качестве обязательного русский язык в сенате и государственных учреждениях и, главное, по императорскому манифесту 1901 г. (то есть уже после 1899 г.) все дела, «имеющие общее государственное значение», были изъяты из ведения сейма и сената. Эта попытка полного поглощения Финляндии Российской империей не имела особого продолжения, более того, в результате революции 1905 г. все указанные меры были отменены, кроме упразднения финляндской армии; сейм из сословного органа преобразован в однопалатный парламент, избиравшийся на основе всеобщего избирательного права, как для мужчин, так и (большая редкость даже для Европы) женщин. В декабре 1917 г. Фин-

ландия провозгласила независимость, незамедлительно признанную правительством большевиков.

^{68*} Недовольство китайцев иностранным вмешательством и захватами со стороны Японии (неудачная для Китая Японо-китайская война 1894–1895 гг. стоила Китаю Тайваня и ряда островов) вылилось в создание, среди прочего, тайного общества Ихэтуань («Кулак во имя мира и справедливости»), поэтому Ихэтуаньское восстание (1899–1901), начатое этим обществом, получило в Европе название «боксерское». Общество Ихэтуань ставило целью борьбу с христианскими миссионерами, вообще с европейцами. Не очень популярная в Китае правящая маньчжурская (то есть не китайская по происхождению) династия то выражала симпатии обществу, то заверяла европейские державы в своей лояльности. Восстание вспыхнуло в провинциях Центрального Китая Шаньси и Шаньдун. Восставшие создали свои войска – *Отряды справедливости и согласия* (Ихэтуань — отсюда и китайское название восстания). Повстанцы захватили Пекин. Тогда европейские державы (Россия, Великобритания, Франция, Германия, Австро-Венгрия и Италия) и Япония начали военные действия, формально против итэхуаней, а не императорского правительства. Главнокомандующим соединенными силами был назначен немецкий фельдмаршал (Й. Хёйзинга приводит распространённую тогда игру слов: *Feldmarschall* и *Weltmarschall*, то есть *маршал всего мира*, как командующий войсками главных европейских держав) граф Альфред фон Вальдерзее. Он принимал мало участия в этой экспедиции и прибыл в Пекин уже после того, как союзные войска 13 августа 1900 г. взяли этот город. Император бежал, Пекин был поделен на сектора (они назывались *зоны влияния*) и жестоко разграблен, причем грабежу подвергались не только императорские дворцы, но и музеи и даже частные дома. Восстание еще некоторое время продолжалось, но к 1901 г. было подавлено. Был заключен договор между победителями и Китаем, по которому все прежние приобретения держав сохранялись, европейцы и японцы получали ряд привилегий в экономике и особую юрисдикцию, а сверх всего Китай выплачивал союзникам контрибуцию в 67 млн фунтов стерлингов.

^{69*} О Филиппинах см. коммент. 66*. Гавайские острова были объединены в единое Гавайское королевство (архипелаг не имел собствен-

ного туземного названия и государство получило это свое наименование потому, что объединителями выступила династия правителей острова Гавайи) около 1795 г. (отдельные мелкие острова были присоединены лишь около 1820 г.). Короли широко привлекали помощь европейцев и американцев, пускали в страну и предоставляли все права выходцам из США, организовавшим на островах плантации сахарного тростника. В 1894 г. белые плантаторы свергли последнюю гавайскую королеву, провозгласили Республику Гавайи и попросили Соединенные Штаты о принятии ее в Союз. Американское правительство колебалось, но после начала войны с Испанией (см. коммент. 66*) с целью облегчения нападения на Гуам и Филиппины согласилось, и Гавайи в 1898 г. стали территорией США; с 1959 г. — полноправный штат.

^{70*} *Лафкадио Хёрн* — сын британского военного врача и гречанки, натурализовавшийся в США, в 1889 г. прибыл в Японию, женился на японке, натурализовался там, принял японское имя Коидзуми Якумо и в лучших романтических традициях писал рассказы, эссе и очерки, в которых знакомил Европу и Америку со своей новой родиной. Он был страстным противником модернизации, европеизации Японии (за это его в 1903 г. уволили из Токийского императорского университета, где он с 1896 г. преподавал зарубежную литературу) и пылким приверженцем истинно японской культуры и религии — синтоизма. Он упрекал западных ученых за то, что они сосредоточили все свое внимание на античной культуре и обошли стороной Японию.

^{71*} В нидерландской Ост-Индии, то есть Индонезии, овладение которой Нидерландами началось еще в 1641 г. (последние территориальные приобретения произошли в 1904–1920 гг.), экспансионистские устремления Японии были достаточно заметны.

^{72*} Й. Хейзинга называет событие, получившее в прессе того времени и в последующей исторической литературе название Агадирский кризис. В середине XIX — начале XX вв. Франция пыталась так или иначе подчинить себе Марокко, и в этом ей всячески способствовала Испания, а против этого резко возражала Германия. Германский император Вильгельм II еще в 1898 г. объявил себя покровителем всех мусульман в мире. 1 июля 1911 г. германская канонерская лодка

«Пантера» вошла в Агадирский залив (Агадир — город на атлантическом побережье Марокко) в качестве вооруженной демонстрации Германии против претензий Франции на особые права в Марокко. Это было воспринято в Европе как прелюдия к войне. Однако вмешательство Великобритании, заявившей, что любой конфликт с Францией будет воспринят как нападение и на Британию, способствовало разрешению кризиса. 4 декабря 1911 г. между Германией и Францией было заключено соглашение, по которому Германия признавала французские претензии в обмен на уступку ей некоторых территорий во Французском Конго, а также признание ее экономических интересов в Марокко. В марте 1912 г. королевство Марокко перешло под французский протекторат, в ноябре Франция передала Испании около 20% марокканских земель, а г. Танжер был объявлен Международной зоной (в 1956 г. Марокко получило независимость, в 1957 г. к этому королевству был присоединен Танжер).

В 1912–1913 гг. произошло две войны на Балканах. Первая Балканская война между Балканским союзом (Болгария, Сербия, Черногория, Греция; заключен в начале 1912 г.) и Турцией началась 9 октября 1912 г. с вторжения войск Балканского союза в европейские владения Турции и закончилась Лондонским мирным договором от 30 мая 1913 г. По этому договору Османская империя теряла все свои европейские владения, кроме европейской части Стамбула и небольшой части Восточной Фракии. Но союзники мгновенно перессорились из-за новоприобретенных территорий, и уже 29 июня 1913 г. началась Вторая Балканская война между Болгарией с одной стороны и Сербией, Черногорией и Грецией, к которым присоединились Румыния, в Первой войне не участвовавшая, и вчерашний враг Турция, — с другой. Война эта завершилась очень скоро, 10 августа того же года, разгромом Болгарии. По Бухарестскому мирному договору Болгария оставила за собой Западную Фракию, но уступала Румынии Южную Добруджу, Греции — Южную Македонию и часть Западной Фракии, Сербии — почти всю Северную Македонию, Албания объявлялась независимым княжеством, а Турция вернула некоторые территории в европейской части. Впрочем, границы на Балканах менялись после Первой и Второй мировых войн, а также распада Югославии, начавшегося в 1991 г. и продолжающегося по

сей день (Косовский конфликт). О Триполитанской войне см. коммент. 63*.

В Китае в 1911 г. началась проходившая под лозунгами свержения маньчжурской династии и установления республики Синьхайская революция (*синьхай* — по китайскому календарю 12 апреля 1912 г., когда после отречения императора Пу И провозглашение республики было оформлено конституционно). Но беды Китая на этом не кончились, а только начинались. В 1915 г. президент Китая Юань Шикай, «не в силах противиться воле народа», как было официально сообщено, объявил себя императором, но уже в 1916 г. отрекся и бежал. Началась гражданская война. Китай распадался на отдельные области, где обычно правили военные, снова соединялся; в 1931 г. в местные смуты в Китае вмешалась Япония, захватившая Маньчжурию и создавшая там марионеточное государство Маньчжоу-Го; императором этого государства стал бывший владыка Китая Генри (он был крещен американскими миссионерами) Пу И. После окончания Второй мировой войны гражданская завершилась не сразу, а лишь в 1949 г. (1 октября провозглашена Китайская Народная Республика). В 1945 г. император Пу И был арестован советскими войсками, воевавшими с Японией в Маньчжурии, в 1950 г. передан властям КНР, до 1959 г. содержался в тюрьме, но затем публично признал новую власть, был освобожден, проживал под надзором, писал мемуары и умер в Пекине в 1967 г.

^{73*} В 6-й главе *Апокалипсиса* (*Откровение* Иоанна Богослова) говорится о четырех конях и четырех всадниках, предвестниках Страшного суда, знаменующих болезни, войну, голод и смерть. Еще один конь — угрожающий миру «дух лжи», безудержный национализм, несущий всем нам неисчислимые бедствия. *Коммент. пер.*

^{74*} Настоящий, реальный ад, а не поэтическое создание Данте (*Inferno*). *Коммент. пер.*

^{75*} Королевство Нидерландов в самом начале Второй мировой войны, 3 сентября 1939 г., объявившее о нейтралитете, подверглось, без объявления войны, нападению Германии 10 мая 1940 г. После того как 14 мая в результате варварской бомбардировки был практически уничтожен Роттердам и Германия угрожала бомбить другие города, начиная с Утрехта, нидерландская армия капитулировала.

Освобождение Нидерландов началось в сентябре 1944 г. и завершилось лишь в мае 1945 г.

^{76*} Легендарный греческий атлет VI в. до н. э. Милон Кротонский, многократный победитель на Олимпийских играх, по преданию, однажды на этих играх поднял четырехлетнего быка на плечи и с ним четыре раза обошел арену ристалища, после чего в течение дня съел этого быка целиком. В битвах родного города с врагами он шел впереди ополчения без доспехов, с львиной шкурой на плечах и с дубиной в руках. Кончина его была весьма печальна: будучи уже стариком, он захотел помочь дровосекам, которые никак не могли разбить клиньями пень, и попытался разорвать этот пень руками, но части пня так сильно стиснули руки ослабевшего с возрастом Милона, что он не смог высвободиться и стал добычей диких зверей.

^{77*} В римской терминологии противопоставлялись *imperium*, Римская держава — и *regna*, окружающие империю «низшие» царства варварских народов.

^{78*} Наименование *Священная Римская империя германской нации* появилось в конце XV в., но употреблялось только на латыни, а по-немецки появилось в XVII в.; в Средние века выражение *Германская империя* вообще не употреблялось, Германское королевство было частью Священной Римской империи. В 1804 г. Наполеон принял корону французского императора, а император Священной Римской империи Франц II одновременно объявил себя императором Австрийским Францем I. Но вслед за разгромом австрийцев при Аустерлице 2 декабря 1805 г. Наполеон предложил Францу сложить «римскую корону», что и было им покорно исполнено в 1806 г. Следует отметить, что во внутреннем церемониале (в частности, при исполнении погребального обряда) венского двора титул *римский император* сохранялся до распада Австро-Венгрии и уничтожения монархии в Австрии в 1918 г.

^{79*} Греция к 1460 г. окончательно (процесс начался еще в середине XIV в.) перешла под власть Османской империи. В начале XIX в., в обстановке подъема национальных чувств, стремления к свободе (понимаемой разными силами по-разному), вызванных событиями Французской революции и наполеоновских войн, стало активно развиваться греческое национальное движение. Греческая революция, она же

Греческое восстание, оно же Греческая война за независимость, началась в 1821 г. сразу в двух местах. Из России на территорию принадлежавшей Турции Молдавии вторгся вооруженный отряд этнического грека, участника войны 1812 г., генерал-майора русской армии Александра Ипсиланти, что вызвало там антиосманское восстание и должно было облегчить продвижение армии Ипсиланти на юг, в Грецию. В самой Греции, на юге Пелопонесского полуострова, 25 марта того же года (эта дата отмечается как День независимости Греции) вспыхнуло еще одно восстание, и спешно избранное Национальное собрание Греции 22 января 1822 г. провозгласило независимость ее и республиканское государственное устройство. Вторгшаяся в Грецию 30-тысячная турецкая армия была разгромлена. Впрочем, победители тут же разделились на умеренных и радикалов и в 1823–1825 гг. дважды начинали гражданскую войну между собой. В Европе Греческое восстание пользовалось колоссальной симпатией (вспомним судьбу Байрона и устремления Пушкина), но также и поддержкой тогдашних великих держав: России, Франции и Великобритании (последняя не сразу встала на сторону восставших и сделала это, боясь чрезмерного усиления российского влияния в Греции). Указанные три страны выступили в пользу автономии Греции (Лондонская конвенция 1827 г.) и были готовы добиться этого силой. 10 октября 1827 г. в морском сражении в Наваринской бухте (Южная Греция) российско-англо-французский флот разбил турецкую эскадру. По Адрианопольскому мирному договору 1829 г. Турция признала автономию Греции под верховным сюзеренитетом турецкого султана. Обычно это считается победой революции. Однако полную независимость, а заодно и монархическое устройство, Греция получила по результатам Лондонской конференции великих держав и Турции в 1830 г.

В испанских колониях в Америке национальное движение было инициировано событиями в Европе — оккупацией метрополии, Испании, французскими войсками в 1808–1810 гг. В 1810 году практически одновременно начались восстания на территориях тогдашних вице-королевств: Мексики, Новой Гранады, Перу, Ла-Платы. Освободившись от французского господства в 1814 г., Испания попыталась восстановить свое господство в колониях и к концу 1815 г.

ей это удалось. Но в 1816 г. война возобновилась. Войска восставших под командованием С. Боливара освободили в 1819 г. западную часть вице-королевства Новая Гранада (провинция Богота, примерно территория нынешней Колумбии) и провозгласили создание федеративной республики Великая Колумбия, в 1821 г. — провинцию этого вице-королевства Венесуэлу, в 1822 г. — провинцию Кито (нынешний Эквадор), и эти провинции вошли в Великую Колумбию. Другая повстанческая армия под руководством генерала Х. Сан-Мартина в 1816 г. освободила основную часть вице-королевства Ла-Плата (нынешние Аргентина и Уругвай; провозглашена республика Ла-Плата), в 1818 г. Чили (входила в вице-королевство Перу, но после освобождения объявлена независимой республикой), в 1819 г. — Верхнее Перу (остальная часть вице-королевства Перу; провозглашена республикой Перу). В 1824–1826 гг. генерал А. Сукре со своими войсками изгнал испанцев из Нижнего Перу, при испанцах входившего в состав вице-королевства Ла-Плата (территории нынешних Боливии — тогда же получившей свое название в честь С. Боливара — и Парагвая, объявившего себя отдельной республикой еще в 1811 г.; тогда же республика Ла-Плата взяла название Аргентина). На этом в Южной Америке война с Испанией закончилась, но не завершились внутренние смуты: в 1830 г. Великая Колумбия разделилась на Новую Гренаду (с 1863 г. — Колумбия), Венесуэлу и Эквадор. Еще в 1816 г. португальцы, которым тогда принадлежала Бразилия, захватили ряд земель Ла-Платы на восточном берегу р. Уругвай; в 1826 г. Аргентина отвоевала эти земли, но в 1828 г. признала независимость Уругвая. Последний передел границ произошел в 1903 г., когда из Колумбии выделилась республика Панама. В Центральной Америке в 1821 г. было свергнуто испанское господство и провозглашены республика Гватемала (входила в состав вице-королевства Мексика на правах особого генерал-капитанства) и (официально в 1822 г.) Мексиканская империя во главе с императором Августином I (генерал Аугустино Итурбиде). Начавшаяся тут же гражданская война привела к свержению и казни незадачливого «мексиканского Наполеона», как его называли, и провозглашению республики. Гватемала в 1823 г. преобразовалась в Соединенные Штаты Центральной Америки, которые распались в 1838–1839 гг., образовав нынешние

государства: Гватемала, Никарагуа, Гондурас, Сальвадор и Коста-Рика.

Рисорджименто (букв. итал. *возрождение, обновление*) — движение за освобождение Италии от иноземного владычества и за объединение страны. Идея единой Италии воодушевляла еще Данте и Петрарку, но оживилась только во время Французской революции и наполеоновских войн. Под лозунгом объединенной Италии проходила революция 1848–1849 гг. В движении переплетались два течения: радикалы, в том числе знаменитый Дж. Гарибальди, выступавшие за демократическую республику с социалистическим оттенком, и более умеренные, стоявшие за объединение Италии вокруг северо-итальянского княжества Пьемонт, правители которого, из Савойской династии, в 1720 г. получили корону Сардинии, принадлежавшей до Утрехтского мира (см. коммент. 42*) Испании, а затем Австрии. Главным противником объединения Италии выступала Австрия, в состав которой входило образованное после наполеоновских войн Ломбардо-Венецианское королевство, Королевство Обеих Сицилий (то есть Неаполитано-Сицилийское), которым правила ветвь рода Бурбонов, и Римский Папа, не желавший расставаться со светской властью в Папском государстве в Средней Италии со столицей в Ватикане. После поражения Австрии в Итальянской войне 1859 г. между ней и союзными Францией и Сардинией (Пьемонтом) Ломбардия (без Венецианской области) была передана Пьемонту; в 1860 г. к нему присоединились Тоскана, Парма и Модена, где были свергнуты местные династии. Тогда же, в 1860 г., Гарибальди со своей «тысячей» революционеров-добровольцев занял Неаполь и Сицилию и вознамерился идти на Рим. Этому поспешил помешать король Пьемонта и Сардинии Виктор-Эммануил III, заняв значительную часть Папского государства (кроме Римской области). Референдумы на этих территориях дали огромное большинство тем, кто желал присоединения к Пьемонту, и это признал Гарибальди, мечтавший о республике. В 1861 г. в столице Пьемонта Турине собрался первый общетальянский парламент, провозгласивший создание Итальянского королевства во главе с Виктором-Эммануилом III, принявшим имя Виктор-Эммануил I, и объявивший Флоренцию временной столицей Италии, а Рим — будущей. В 1866 г.

после поражения Австрии в войне с Пруссией была занята и Венецианская область. Власть Папы в Риме держалась на французском экспедиционном корпусе, который направил туда союзник Папы, император Наполеон III. Однако начавшаяся в 1870 г. Франко-прусская война привела к тому, что французские войска вынуждены были уйти, а итальянские вступили в Рим. Референдум 3 октября 1870 г. дал и здесь огромное большинство сторонникам присоединения к Итальянскому королевству. Рисорджименто завершилось. Оставался только входивший в Австрию Южный Тироль, населенный в большинстве итальянцами, где также было сильно движение за воссоединение с Италией, но это произошло только в результате Первой мировой войны (1914–1918 гг.).

Во всех этих движениях, войнах, революциях была велика роль всевозможных радикальных политических группировок, не являвшихся в полной мере политическими партиями в современном смысле. В большинстве эти группировки формировались по образцу масонов: с тайными знаками, жесткой дисциплинированной организацией, конспирацией. Масонство это было организовано по французскому образцу, с идеями свободы, равенства и братства, но без увлечения каббалой, алхимией и пр., чему были столь преданы немецкие масоны. Во время Войны за независимость испанских колоний многие вожди ее были масонами: Симон Боливар, лидер революционеров в Венесуэле генерал Франсиско Миранда. Греческая революция во многом была подготовлена созданным по масонскому образцу в Одессе в 1814 г. (в 1820 г. его возглавил А. Ипсиланти) обществом *Филики Этерия* (греч. *Дружеское общество*). В Рисорджименто очень большую роль играли карбонарии, выступавшие за национальное освобождение, объединение Италии и конституционный строй. Для них была характерна сложная иерархия и символика, во многом заимствованная у масонов. Само название *карбонарии* (*угольщики*) означало первоначально углежогов, по ночам в лесах пережигавших древесину в уголь. Предания карбонариев утверждали, что, дабы скрыться от австрийской, неаполитанской или папской полиции, революционеры выдавали свои тайные встречи по ночам в глуши за собрания угольщиков, но, как правило, собирались по тавернам, а выжигание угля объявлялось символом духовного очищения человека.

- ^{80*} Джузеппе Мадзини был ярчайшим представителем радикального крыла Рисорджименто, участником всех попыток объединения Италии и установления в ней демократической республики революционным путем, личностью романтического склада, привлекавшего сердца всех (особенно дам) отвагой, благородством, красотой и игрой на гитаре. Он считал, что борьба за единство Италии — религиозный долг каждого итальянца. Его мечтой была единая демократическая республиканская Италия, не желающая внешних завоеваний, но являющаяся культурным и духовным лидером всей Европы.
- ^{81*} Об этапах Рисорджименто см. коммент. 79*. Граф Камилло Бенсо Кавур был одной из ключевых фигур Рисорджименто. Умный политик, блестящий дипломат, он с 1852 г. был премьер-министром Пьемонтского королевства, провел целый ряд реформ, направленных на демократизацию его общественного строя и либерализацию экономики. На первых порах он был сторонником не объединения Италии, но лишь расширения своего королевства; в 1859 г. вышел в отставку, протестуя против того, что Венецианская область по-прежнему остается за Австрией. Но вернувшись на свой пост в 1860 г., Кавур выступил за объединение Италии во главе с королем из Савойской династии; такая форма объединения должна была, по его мысли, отсесть крайние силы в Италии — от противящихся объединению сторонников светской власти папы и приверженцев неаполитанских Бурбонов до крайних революционеров-радикалов. До полного объединения страны Кавур не дожил, хотя успел в год своей кончины (1861) стать первым премьер-министром Итальянского королевства, однако дальнейшее воссоединение Италии произошло в основном по его плану.
- ^{82*} Выражение *железо и кровь* встречается впервые у римского оратора I в. н. э. Квинтилиана: «*caedes videtur significare sanguinem et ferrum*» [«убийство должно означать кровь и железо»; лат.], Quintilianus, *Declamatio* 350, и представляет, в свою очередь, парафраз высказываний Цицерона и других римских авторов, а у них восходит к словам Гиппократов: «Если лекарства не излечат, железо излечит, если железо не излечит, огонь излечит» (у великого греческого медика в этих словах нет никакого военно-политического оттенка, но у римлян это выражение приобретает нынешний переносный смысл). Зна-

менитыми эти слова (нем. *Eisen und Blut*) сделал Отто фон Бисмарк, проводник политики объединения Германии вокруг Пруссии. Вскоре после вступления на пост министра-президента (премьер-министра) Пруссии в 1862 г. он заявил в прусской палате депутатов: «Не речами и постановлениями большинства решаются великие современные вопросы — это была ошибка 1848 и 1849 годов, — а железом и кровью». В тот момент это был призыв к борьбе с внешней силой, в данном случае, с Австрией, которая полагала возможным объединение Германии вокруг нее, а не Пруссии. Позднее, однако, эти слова стали символом прусского и вообще германского империализма и милитаризма, в чем вина и самого Бисмарка. Уже став первым рейхсканцлером (главой правительства) Германской империи (пост министра-президента Пруссии он сохранил), он говорил в той же прусской палате депутатов: «Дайте в руки прусскому королю (германский император оставался королем Пруссии. — Д. Х.) возможно большую военную силу, иными словами — возможно больше крови и железа, тогда он сможет проводить желательную вам политику; политика не делается речами, стрелковыми праздниками (празднества охотничьих обществ, любимое развлечение многих немцев и поныне; тогда носили демонстративно патриотический характер. — Д. Х.) и песнями, она делается только железом и кровью».

^{83*} Внешнюю политику Британии с 1830 г. во многом определял многолетний министр иностранных дел (1830–1851 гг., с перерывами) и премьер-министр (1855–1865) Генри Джон Темпл, виконт Палмерстон, лидер Либеральной партии. Современный британский историк так характеризует его: «Палмерстон был настоящим воплощением напыщенной самоуверенности Британии, единственной мировой державы того времени, умудряясь соединять в одном лице аристократа, реформатора, фритредера (сторонника невмешательства государства в рыночные отношения, отказа от регулирования внешней торговли. — Д. Х.), интернационалиста и шовиниста». Он постоянно выступал за вмешательство Британии в дела во всем мире, в 1831 г. поддержал отделение Бельгии от единого Нидерландского королевства (это было удачно); в 1831–1841 гг. — турецкого султана против мятежного наместника Египта Мухаммеда Али (не совсем удачно, ибо, хотя Египет формально остался в составе Османской

империи, фактически он обрел независимость); выступал против Китая в так называемых «опиумных войнах» 1840–1842 и 1856–1860 гг. (Британия в 1842 г. получила Гонконг, да и вообще особые привилегии в Китае), поддерживал Турцию в конфликте с Российской империей, что в конечном итоге вылилось в Крымскую (в Англии называемую Восточной) войну Великобритании, Франции, Турции и Пьемонта против России в 1853–1856 гг. (она началась, когда Палмерстон был в отставке, но именно неудачи Британии в начале этой войны заставили англичан призвать его к власти); активно действовал при разгроме Сипайского восстания (сипаи — туземные войска, бывшие ударной силой повстанцев) 1857–1859 гг. в Британской Индии (после весьма жестокого подавления его управление Индией было все же реформировано) и Тайпинского восстания (от *Тайпин тянь-го*, кит. *Небесное государство великого благоденствия*, созданное повстанцами в долине р. Янцзы) 1850–1864 гг. против маньчжурской династии и начавшегося проникновения европейцев (английские и французские войска помогли императору разгромить восставших и удержаться на троне). Во время Гражданской войны в США (Война Севера и Юга 1861–1865 гг.) Палмерстон пытался поддерживать мятежников-южан, ввиду чего отношения Великобритании и США были испорчены.

⁸⁴ J. Bull Ltd. — буквально: *Компания Джона Булля с ограниченной ответственностью* (англ.), говоря современным языком — ООО «Джон Буль». Й. Хейзинга иронически называет так Великобританию тех времен, намекая на коммерческий, торгашеский дух британского империализма, стремившегося к максимальной экономической выгоде для своей страны, и «строителей империи», мужественно сражавшихся за финансовое благополучие своей державы. В начале XIX в. в континентальной Европе имя Джона Булля стало нарицательным как для обозначения среднего англичанина — глуповатого и меркантильного («Нация торгашей», как называл британцев Наполеон), при том весьма патриотичного (это символизировал на карикатурах красный фрак, намекающий на красные генеральские мундиры британцев), так и для самой Англии, в которой воплощались эти черты. Способствовало этому то, что фамилия Буль понималась буквально: от англ. *bull* — *бык*. Любопытно, что сам этот образ пришел

из самой Англии, из политических памфлетов английского писателя и врача Джона Арбетнота, направленных против участия Британии в Войне за испанское наследство; они были переизданы в 1727 г. в виде книги под названием *Тяжба без конца, или История Джона Булля*. Самое забавное то, что человек по имени Джон Булль (Булл) был реальным историческим лицом, придворным органистом и композитором, написавшим музыку к британскому гимну *Боже, храни короля*.

- ^{85*} Российская империя еще в XVIII в. начала продвижение в Среднюю Азию (неудачный поход А. Бековича-Черкесского в 1717 г.), но с середины XIX в. это продвижение усилилось (походы В. А. Перовского в 1832–1842 и 1853 гг., походы К. П. Кауфмана в 1867–1882 гг., приведшие к установлению российского протектората над Бухарским, Кокандским и Хивинским ханствами в 1868–1873 гг.), что привело к соперничеству между Россией и Великобританией, продвигавшейся к северу от своих индийских владений. Для более активного освоения среднеазиатских территорий российское правительство предприняло строительство Закаспийской железной дороги от Красноводска по направлению к оазисам Мерв и Пенде, которые еще предстояло покорить (первый вошел в состав Российской империи в 1884 г., второй — в 1886 г., и именно эта дата считается завершением российских завоеваний в Туркестане). Это вызвало беспокойство в Англии, где опасались, что в намерения российского правительства входит довести дорогу до Гератского оазиса, подчиненного Афганистану с 1862 г. и, таким образом, установить связи с правителем Герата, который проявлял склонность к сепаратизму. По мнению Британии, это являлось нарушением русско-английского соглашения 1873 г., в соответствии с которым Афганистан должен находиться в сфере британского влияния. В 1885 г. в оазисе Пенде близ Кушки произошло столкновение русских и афганских войск, причем последние потерпели поражение. Это вызвало резкую реакцию Великобритании и привело к дипломатическому конфликту, разрешившемуся ввиду объявления о завершении строительства Закаспийской железной дороги в 1886 г. и принятием русско-английского протокола о русско-афганских границах (этот протокол был подтвержден русско-английским соглашением 1907 г.). Россия

вообще активно искала союзников в Европе и не только ввиду конфликтов с Великобританией. Взгляды российской дипломатии все чаще обращались к Франции, где были довольно сильны антибританские настроения, особенно после Франко-прусской войны 1870–1871 гг. и падения Наполеона III, которого в России считали верным союзником Британии и одним из виновников Крымской войны 1853–1855 гг. В 1891 г. был заключен русско-французский военный союз, подкрепленный секретной военной конвенцией 1892 г. и военно-морской конвенцией 1912 г. Этот союз был направлен против Тройственного союза 1882 г. в составе Германии, Австро-Венгрии и Италии. Англия начала переговоры о вступлении в русско-французский союз в 1904 г., и все завершилось созданием Антанты в 1907 г.

^{86*} О Гаагских мирных конференциях и принятых на них решениях см. коммент. 2* к очерку *Тени завтрашнего дня*.

^{87*} В 1919–1920 гг. державами-победительницами (кроме России, ибо на тот момент вместо Российской империи уже существовала Советская Россия, которую остальные не признавали, да и сама она не выражала желания) была созвана Парижская мирная конференция для устройства мира после Первой мировой войны; главными лицами, определявшими ход конференции, были руководители Великобритании — премьер-министр Д. Ллойд-Джордж, Франции — Ж. Клемансо, США — президент В. Уилсон. Завершением этой конференции стали договоры с государствами-наследниками побежденных государств, в первую очередь, Австро-Венгрии. Обычно все эти договоры именуются Версальскими (Й. Хейзинга именно в этом смысле говорит о Версале), хотя Версальским был договор только с Германией, с Австрией — Сен-Жерменский, с Венгрией — Трианонский. (Австро-Венгрию не только Й. Хейзинга именовал Дунайской монархией; официально государство называлось Австрийская империя и Венгерское королевство.) В результате Парижской мирной конференции произошли серьезные изменения границ, но — главное — возникло несколько новых государств на обломках Австро-Венгрии или после присоединения к ее противникам части владений Австро-Венгрии или Германии. Это Австрия, Венгрия, Польша (из части Германии, Российской империи и Австро-Венгрии — Королевства Галиции и Лодомерии с главными городами Краков и

Львов), Чехо-Словакия (так тогда писалось название государства, составленного из Австрийской Чехии, она же Богемия, венгерских Словакии и Закарпатской Украины) и Югославия (в 1918 г. — Королевство сербов, хорватов и словенцев, с 1929 г. — Королевство Югославия, состоящее из некогда независимых Сербии и Черногории и принадлежавших Австро-Венгрии, точнее — Венгерскому королевству в составе Австро-Венгрии, Хорватии и Словении). Многими демократически ориентированными политиками, учеными и мыслителями в Западной Европе, особенно в Великобритании, это считалось бессмысленным расчленением вполне жизнеспособного государства во имя принципа национального очага — *один народ, одно государство*.

^{88*} Из Лиги Наций в 1935 г. ушли нацистская Германия, заявившая о том, что любая попытка международного арбитража есть ущемление германского суверенитета со стороны «инструмента международного еврейского владычества», как писала тогда немецкая пресса, а также Япония, не желавшая попыток со стороны Лиги Наций пресечь японо-китайскую войну. В 1937 г. была исключена Италия за агрессию против Эфиопии, а в 1939 г. — СССР (вступил в 1934 г.) за советско-финляндскую войну 1939–1940 гг.

^{89*} Пакт Бриана-Келлогга, названный по именам государственного секретаря США Ф. Б. Келлогга и министра иностранных дел Франции А. Бриана, сформулированный в результате длительных американо-французских переговоров и заключенный 27 августа 1928 г. представителями 14 государств (США, Франции, Великобритании, Германии и др.), объявлял о «запрещении войны как орудия национальной политики», но содержал ряд оговорок — о тех случаях, когда можно прибегать к войне, и о тех территориях, из-за которых вооруженные конфликты не будут «внезаконными». СССР присоединился к пакту 8 сентября того же года и ратифицировал его в июле 1929 г. Пакт, к которому впоследствии присоединилось еще 48 государств, не смог помешать ни региональным агрессиям 1930-х гг., ни началу Второй мировой войны.

^{90*} Нионское соглашение (так оно обычно именуется в отечественной литературе) было заключено в г. Нион в Швейцарии 14 сентября 1937 г. между представителями Великобритании и СССР (к нему

присоединились вскоре и другие государства) для борьбы с фактически пиратскими действиями подводных лодок военно-морских сил Германии и Италии в Средиземном море против судов, которые перевозили военные и гуманитарные грузы правительству Испанской Республики, противников которого во время гражданской войны 1936–1939 гг. поддерживали фашистская Италия и нацистская Германия.

^{91*} *Pacta servanda sunt* — основное положение международного права, его краеугольный камень, было впервые сформулировано (сходные мысли высказывались много ранее, но мы имеем в виду именно вышеприведенную формулировку) не политиками и/или мыслителями, а на Карфагенском поместном церковном Соборе 438 г.

^{92*} Латинское слово *religio* этимологически происходит от глагола *re-ligare* – *связывать сзади, обвязывать, обвивать, привязывать*.

^{93*} *Веды* (санскр. *веда*, *знание*, слово произведено от того же общиндоевропейского корня, что и русское *ведать*) — священные книги древнеиндийской религии, созданные в конце II – начале I тыс. до н. э. и представляющие собой сборники гимнов, молитв, заклинаний, жертвенных формул и т. п. Всего существует четыре *Веды*: *Ригведа* (*Веда гимнов*), *Самаведа* (*Веда мелодий*), *Яджурведа* (*Веда жертвоприношений*) и *Атхарваведа* (*Веда заклинаний*).

^{94*} *Вáруна* — в древнеиндийской мифологии бог, повелитель вод (ему подвластны дожди, воды рек и сам Мировой Океан), охранитель истины и справедливости. Согласно *Ригведе* он создал мир и поддерживает его существование (в более поздних формах индийской религии эти функции переходят к другим богам); он обладает чудесной колдовской силой и вообще связан с дальним, тайным, магией.

^{95*} *Брахма́ны* — здесь: составленные в VIII–VI вв. до н. э. священные книги древнеиндийской религии, дополняющие и разъясняющие *Веды* и содержащие описания различных ритуалов. Кроме того, тем же словом с тем же ударением обозначаются представители высшей, жреческой касты в Индии. Но это слово как имя собственное, в единственном числе и с иным ударением — *Бра́хман* — означает некую высшую силу, космическое духовное начало, безличный абсолю́т, лежащий в основе всего сущего.

^{96*} Слово *будда*, буквально: *пробужденный* (санскр.), со смыслом *просветленный*, как имя нарицательное, означает человека, достигшего наивысшего предела духовного развития и могущего перейти в нирвану — трудноопределимое высшее состояние, характеризующееся ощущением свободы, покоя и блаженства, угасанием всех чувств (*нирвана* и значит *угасание*) и прекращением цепи перерождений. Первоначально Будда, как имя собственное, прилагалось только к одному человеку, основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме, известному также под именем Шакьямуни (мудрец из рода шакья). Но довольно рано появились представления о том, что ему предшествовали и другие будды (здесь это имя нарицательное), а он лишь последний из них. Достаточно рано появляются и представления о *бодхисаттвах* (буквально: *существах, стремящихся к просветлению*; санскр.), людях, принявших решение стать буддой. Число этих бодхисаттв в разных течениях буддизма варьируется, в одних — последним бодхисаттвой является Сиддхартха Гаутама, а следующий явится в будущем, в других — и после Шакьямуни были бодхисаттвы, причем наивысшие из них (*махасаттвы*), имея возможность перейти в нирвану, остаются в мире, после смерти не прекращают цепь перерождений, воплощаются снова и снова, и всё это для того, чтобы указывать людям путь спасения и помогать им на этом пути. Воплощениями таких бодхисаттв являются высшие ламы в тибетской разновидности буддизма. Впрочем, все течения буддизма сходятся на том, что в будущем явится еще один бодхисаттва и будда — Майтрея (видимо, именно он имеется здесь в виду). Он родится, когда продолжительность жизни людей достигнет 84000 лет, и весь мир будет находиться под управлением одного справедливого буддийского правителя.

^{97*} Менно тер Браак (1902–1940), внучатый племянник Йохана Хёйзинги, влиятельный нидерландский публицист, литературный критик, сторонник персонализма, демократ, разоблачавший тоталитарную природу коммунизма и национал-социализма. Он поддерживал немецких писателей, бежавших из Германии после прихода Гитлера к власти, был дружен с Томасом Манном. Менно тер Браак был одним из организаторов нидерландского антинацистского Комитета, автором страстных критических работ, направленных против

идеологии нацизма. После оккупации нацистами Нидерландов и неудавшейся попытки бежать в Англию покончил с собой в ночь на 15 мая 1940 г. *Коммент. пер.*

^{98*} *Бхагаватгита* (*Божественная песнь*) — шестая книга знаменитого древнеиндийского эпоса *Махабхарата* (*Великое <сказание о потомках> Бхараты*), складывавшегося между IV в. до н. э. и IV в. н. э. *Бхагаватгита* — самая философичная часть *Махабхараты*, священная книга индуизма — повествует о том, что один из героев *Великого сказания*, Арджуна выслушивает поучения своего возничего Кришны, который является аватарой (см. коммент. 50*) бога Вишну. Кришна поясняет, что для того чтобы достичь *освобождения, мокши*, надо исполнять свой долг в соответствии со своей кастой (Арджуна — воин, значит, он обязан сражаться), причем человек должен руководствоваться не заботой, пусть даже самой возвышенной, о плодах своего дела, но исполнением своего долга ради самого долга. *Мокша* возможна лишь на пути непривязанности, отрешенности, но это не бездействие (не действовать человек не может), но бескорыстное действие, безразличное к последствиям этого действия, хорошим или дурным.

^{99*} «*Spiritus spirat ubi vult*» [«Дух дышит, где хочет»; лат.] *Ин* 3, 8. В латинской *Библии* (*Вульгате*): «*spiritus ubi vult spirat*».

^{100*} Вершиной творчества великого португальского поэта XVI в. Луиса Камоэнса (Луиша Камоинша) стала эпопея *Лузиады* (то есть *Дети Португалии*, от древнеримского названия этой страны — Лузитания). Это восторженный гимн его родине, описание истории Португалии как непрерывной цепи подвигов, причем подается это через повествование о плавании Васко да Гамы в Индию, беспрецедентном достижении человеческого мужества, упорства и силы духа. Другой великий поэт XVI в., итальянец Торквато Тассо прославлен своей поэмой *Освобожденный Иерусалим* (название дано публикатором, авторское название — *Гоффредо*), посвященной событиям Первого крестового похода, весьма и весьма преобразованным гением автора, соединяющего исторические реалии, вымысел и фантастику. Главное в поэме — проблема любви и долга, притом, долга христианина.

^{101*} В конце XVII в. во Франции разгорелся литературный спор между так называемыми *Anciens* (*Древними*) и *Modernes* (*Новыми*); назва-

ние пошло от вышедшего в свет в 1688–1697 гг. четырехтомного труда известного литератора Шарля Перро *Параллель между древними и новыми*, где он, бывший главой литературной партии *новых*, весьма запальчиво доказывал, что новая французская литература намного превзошла античную и нечего уделять внимание всякому старью. Его противники, *древние*, в частности Никола Буало, утверждали, что античная литература есть высшая и непревзойденная норма. При этом, что обе стороны апеллировали к великой литературе XVII в. — Корнелию, Расину. Но если первые заявляли, что высочайший уровень этой литературы сам по себе уже говорит в пользу *новых*, то вторые настаивали на том, что сей уровень достигнут лишь благодаря неукоснительному следованию правилам античной поэтики.

^{102*} *Virtus* — чрезвычайно многозначное латинское слово. Его корень *vir* означает *муж, мужчина*, и первоначальное значение — *мужественность, мужество, храбрость, стойкость*, причем всё это воинские добродетели, что весьма важно для древнеримского милитаризованного (во всяком случае, на раннем этапе) общества. Но достаточно рано слово *virtus* получило смысл *энергия, сила*, а далее спектр значений все более расширяется: *превосходные качества, талант, дарование* и даже *добродетель, нравственное совершенство*.

^{103*} Кодекс куртуазного (что означает совершенно не обязательно только любовного, но вообще *правильного, приличного* для благородного человека) поведения был сформулирован поэтами Окситании (Прованс лишь часть ее, но трубадуров принято называть провансальскими поэтами) и оттуда заимствован северофранцузскими труверами и немецкими миннезингерами, в том числе и в части терминологии. Окситанское слово *mesura* (равно как и средневерхненемецкое *māze*) буквально означает *мера*. Это качество воспитанного, *куртуазного* человека, который никогда не позволит бурно выражать свои чувства в словах и делах, который *всему знает меру*.

^{104*} Речь идет об аншлюссе (нем. *Anschluß, присоединение*) — насильственном, хотя и бескровном, присоединении Австрии к Германии (кстати сказать, это вызвало в Австрии пусть и не столь всеобщий, как утверждала нацистская пропаганда, но все же достаточно мощный взрыв энтузиазма, ибо не только в Германии, но и в Австрии были

широко распространены идеи *единства немецкой нации*). Аншлюсс произошел 11–12 марта 1938 г.

^{105*} Теория *тотальной войны*, то есть доктрина, признающая допустимым нанесение любого ущерба противнику, в том числе массовое уничтожение мирного населения, была выдвинута в 1935 г. генералом Эрихом Людендорфом, одним из ведущих военачальников Первой мировой войны, основателем и первым руководителем (в 1919–1921 гг.) Национал-социалистической немецкой рабочей (нацистской) партии.

^{106*} *Гибеллины* — название одной из возникших в XII в. политических группировок в Италии; другая именовалась — *гвельфы*. Гибеллины являлись сторонниками императорской власти (в первую очередь это было связано с именем Фридриха Барбароссы), гвельфы — противниками и потому в той или иной мере приверженцами пап. Названия группировок достаточно случайные. Гибеллины приняли свое имя как итальянизированную форму названия Вайблинген, родового замка Гогенштауфнов (Штауфенов), к которым принадлежали Барбаросса, Генрих VI, Филипп Швабский и Фридрих II. Гвельфы — опять же итальянизированная форма имени рода Вельфов, к которым принадлежал главный противник Барбароссы в Германии, герцог Саксонский и Баварский, граф Брауншвейгский Генрих Лев. Эти *партии* (слово уже употреблялось тогда и появилось именно в связи с борьбой гвельфов и гибеллинов) боролись до конца XVI в., хотя нередко это противостояние не имело отношения к приверженности к Империи либо к папству, а названия использовались во внутренней борьбе в итальянских городских республиках (например, во Флоренции, пока там окончательно не победили в конце XIII в. гвельфы, тут же расколовшиеся на две группировки; в этой борьбе активно участвовал Данте) или конфликтах между ними (Флоренция была гвельфской, а ее постоянная противница Сьена — гибеллинской).

^{107*} См. коммент. 39* к очерку *Тени завтрашнего дня*.

^{108*} *Золотым веком* Афинского государства считается V в. до н. э., так называемый *век Перикла*, по имени известного государственного деятеля Афин (ок. 490 г.—429 г. до н. э.). Так называемое «установление Империи» (*так называемое* — потому, что Римское государ-

ство и после установления единоличной власти императоров продолжало называться республикой, а слово *imperium* означало: 1) область римского господства, 2) власть командующего — *императора*) произошло в 31 г. до н. э. *Золотым веком* римской культуры считается середина I в. до н. э. — I-я половина I в. н. э., эпоха Цицерона, Цезаря, Ливия, Вергилия, Горация, Овидия. Правда, еще римские моралисты отсчитывали начало упадка Рима со Второй Пунической войны (218–201 гг. до н. э.), когда в результате победы над Карфагеном в Рим хлынули богатства, породившие алчность, забвение добрых *нравов предков* и т. п. Эпоху мировой (западноевропейской) гегемонии Испании отсчитывают обычно от 1492 г., года изгнания с Иберийского полуострова мавров и открытия Америки, а завершают 1588 г., когда Англия разгромила испанский флот (так называемую *Непобедимую армаду*) и тем разрушила монополию Испании на власть над морями. *Великим веком* историки, более всего французские, называют время от начала самостоятельного правления Людовика XIV в 1661 г. до его смерти в 1715 г. Царствование его правнука и преемника Людовика XV (как правление регента при малолетнем Людовике, герцога Филиппа Орлеанского, так и самостоятельное руководство страной) считается временем нравственного, да и финансового упадка Франции. Попытки вылезти из финансовой дыры, предпринятые внуком и преемником Людовика XV, Людовиком XVI, привели страну к революции. Цепью непредвиденных случайностей Й. Хейзинга, видимо, считает участие Франции в удачной для нее Войне за австрийское наследство (1740–1748) и то, что поражение в Семилетней войне (1756–1763) не привело к окончательному краху, ибо главный враг, Британия, оказался втянутым в конфликт со своими мятежными колониями в Северной Америке.

¹⁰⁹ В 1943 г. произошло стремительное падение режима Муссолини. После высадки англо-американских войск на Сицилии в ночь с 9 на 10 июля стало ясно, что защищаться Италия не может, а единственным препятствием для достижения мира с союзниками является сам Муссолини. 25 июля он был уволен в отставку королем Виктором Эммануилом III и посажен под домашний арест. После этого неожиданно выяснилось, что всемогущий дуче (то есть *вождь*), правивший Италией с 1922 г. и, казалось бы, обожаемый всей стра-

ной, почти, за исключением небольшой группы членов фашистской партии, не пользуется в стране поддержкой. Большинство итальянцев восприняло свержение диктатора как праздник. В начале сентября немецкие войска вторглись в Северную Италию и учредили там марионеточную Итальянскую социальную республику (известную также под названием «Республика Салб») во главе с Муссолини. После поражения немцев в Италии Муссолини пытался бежать вместе с отступающими германскими войсками, но был выдан ими итальянским партизанам (те обещали в этом случае беспрепятственно пропустить немцев), расстрелян, а труп его повесили вниз головой на площади Лорето в Милане.

^{110*} Слово *зелот* (греч. *ζηλωτής*, *ревнитель*) в буквальном смысле означает члена радикального течения в иудаизме на рубеже н. э., ставившего целью свержение римской власти в Иудее и установление теократического государства. В переносном смысле — как здесь применительно к Муссолини — ярый приверженец.

^{111*} Иберийская Америка — совокупность стран, населенных выходцами с Иберийского полуострова (Испании и Португалии), Латинская Америка. *Коммент. пер.*

^{112*} Русская Православная Церковь, автокефальная (то есть имеющая право сама избирать своего главу) с 1448 г., с 1589 г. возглавлялась Патриархом Московским и всея Руси. В 1700 г., после смерти патриарха Адриана, Петр I не дал провести выборы нового патриарха, а в 1721 г. упразднил патриаршество вообще; высшим органом Церкви стал Священный Синод во главе со светским чиновником — обер-прокурором Синода. Летом 1917 г. патриаршество в России было восстановлено, на Поместном Соборе избран патриарх Тихон, но вслед за большевистским переворотом отношение между Церковью и советской властью стали весьма конфликтными. После смерти Тихона в 1925 г. коммунистическое руководство не давало провести новые выборы (Церковь управлялась Местоблюстителями патриаршего престола) до 1943 г. Лишь 8 сентября этого года Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал митрополита и Местоблюстителя Сергия Патриархом Московским и всея Руси.

^{113*} Германские племена кимбров и тевтонов, первоначально проживавшие на полуострове Ютландия, по непонятным причинам по-

кинули места своего проживания и со всем имуществом, женщинами и детьми двинулись: тевтоны — на запад, в Галлию, а кимвры — на юг. К 113 г. до н. э. они подошли к границам Римского государства и стали требовать земли для поселения. За время с 113 по 105 гг. до н. э. они нанесли римлянам шесть поражений, причем сражение с кимврами в 105 г. до н. э. при Араузионе в римской Галлии стоило жизни 80 000 римских воинов. Все это, а также неудачи Рима в войнах с Нумидийским царством в Северной Африке побудило римский народ избрать консулом знаменитого полководца Гая Мария, который с 107 г. до н. э. стал проводить военную реформу, дабы заменить привычное для Рима войско-ополчение профессиональной армией. К 105 г. до н. э. реформа была завершена, и уже в 104 г. до н. э. нумидийцы были разбиты. В 102 г. до н. э. Марий разгромил тевтонов при Аквах Секстиевых в Южной Галлии, а на следующий год нанес сокрушительное поражение кимврам при Верцеллах в самой Италии.

^{114*} Известный позднеримский (в отечественной литературе его иногда называют ранневизантийским) писатель, философ и поэт-гимнограф, отпрыск древнего римского рода, уроженец Северной Африки Синесий Киренский жил в конце IV — начале V в. н. э.

^{115*} Романтизм, понимаемый как течение мысли, а не только литературное направление, сыграл огромную роль в развитии гуманитарных наук, в том числе истории и филологии. Братья Гримм, особенно старший — Якоб, были основателями германистики как науки о немецком языке и немецкой литературе, одними из первых, если не первыми, фольклористами, исследовавшими германский фольклор. Карл Йозеф Зимрок, немецкий поэт-романтик XIX в., знаменит не только своими стихотворениями, воспевающими немецкую природу и жизнь, пронизанную воспоминаниями о седой старине, стихами на мотивы древнегерманских сказаний и поэтическим сборником *Deutsche Kriegslieder* [*Немецкие военные песни*] (1870) военно-патриотического содержания, написанным накануне Франко-прусской войны. Не менее известны его переводы на современный немецкий язык произведений германского эпоса и средневековой литературы, таких как *Песнь о Нибелунгах*, *Парцифаль* и др. Немецкий историк и государственный деятель Генрих фон Трайчке

известен не только *Историей Германии в XIX в.* (в 5 томах). Будучи уроженцем Саксонии, он в 1866 г. принял прусское гражданство и постоянно проповедовал в статьях и лекциях идеи национальной государственности и необходимости создания (или возрождения) немецкого духа. Кроме того, не будучи сторонником ограничения прав евреев, он писал о том, что они в корне чужды немецкой культуре, подрывают традиционное немецкое уважение к труду, наводнили интеллектуальные профессии и разлагающе действуют на умы немцев. «Мы не хотим, — писал он, — чтобы на смену тысячелетней культуре Германии пришла эпоха смешанной еврейско-немецкой культуры».

¹¹⁶ Имеется в виду эпоха до начала Великой Французской революции 1789–1795 гг. и после окончательного падения Наполеона в 1815 г., а также время до активного распространения идей Реформации в Германии, до Аугсбургского религиозного мира 1555 г., признавшего право протестантов на исповедание своей религии.

¹¹⁷ В начале 1813 г. Александр I учредил медаль для награждения «всем участвующим в поражении неприятеля». На лицевой стороне медали должен был быть помещен портрет Александра I, на оборотной стороне — «око Провидения в сиянии и 1812 год». Затем, однако, император повелел изменить лицевую сторону, поместив на ней вместо своего портрета надпись «Не нам, не нам, а имени Твоему» (*Пс* 113, 9: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей»). Таким образом аверс и реверс медали поменялись местами. Помещение на наградной медали ока Провидения должно было говорить участникам войны: «Победили не вы, вы просто избранники Бога, которому должны быть за это благодарны». Мысль, что отечество спасла рука Всевышнего, объективно направлена была против присвоения Кутузову титула спасителя отечества и больше того — заключала в себе возможность прославления в этой роли самого императора как помазанника Бога и исполнителя его воли на земле. На торжественно открытой в августе 1834 г. Александровской колонне многократно увеличенное изображение лицевой стороны медали с оком Провидения было помещено над надписью: «Александру I благодарная Россия». Якобы известен анекдотичный

случай, когда солдаты, рассматривая полученную награду, истолковали око Провидения как признание заслуг Кутузова, говоря: «Надпись „не нам, не нам“ мы знаем, она еще при государе Павле Петровиче была на рублях, а вот уж за глаз спасибо! Ведь это в память покойного фельдмаршала: у него, у батюшки, один глаз был, да он им более видел, нежели иной двумя». Наградная медаль для участников войны 1812 г. пользовалась огромной популярностью и была почитаема во всех слоях русского общества, став своего рода «удостоверением» участия в освободительной Отечественной войне, которая воспринималась народом как общенациональный подвиг (по В. В. Борташевичу). *Коммент. пер.*

^{118*} В романе Дж. Свифта *Путешествия Гулливера* герой попадает в Лилипутию, населенную крохотными человечками, Бробдингней, где обитают великаны, а также страну гуингнмов, умных и высококультурных лошадей, в которой проживают также дикие, лишенные разума, но вполне человекоподобные йеху.

^{119*} *Свободные искусства* — так со времен Поздней Античности и на протяжении всего Средневековья именовались науки подготовительного цикла (высшими науками были богословие, медицина и юриспруденция), требовавшие интеллектуальных усилий, в противовес «механическим искусствам», то есть ремеслам, требовавшим ручных навыков. К семи свободным искусствам относились: грамматика, риторика, диалектика (так именовалась логика; подразумевалось, что грамматика — искусство писать, риторика — искусство говорить, диалектика — искусство вести диалог), арифметика, геометрия, астрономия (не отделенная от астрологии) и музыка (имеется в виду наука о гармонии, а не исполнительство).

^{120*} *Жюльен Бенда* — французский философ и писатель; прославлен своим эссе *Предательство интеллектуалов* (1927), где он настаивает на том, что миссия интеллектуалов — хранить вечные и нетленные человеческие ценности, а тот из интеллектуалов, кто не делает этого, — предатель.

^{121*} *Noblesse de robe* — буквально: *дворянство мантии* (фр.), судебское сословие (мантия — одежда судьи) во Франции эпохи позднего Средневековья и раннего Нового времени. Юристы (не обязательно собственно судьи) имели право на дворянское звание, но они

все же почитались ниже, чем собственно дворянство, *дворянство шпаги*, военное сословие, члены которого считались происходившими от рыцарства.

^{122*} Фризы — небольшой этнос в Нидерландах, родственный голландцам, в настоящее время почти ассимилированный последними; фризский язык уступает место нидерландскому в повседневном общении. Сам Й. Хёйзинга по этническим корням был фризом. Сицилийцы — этническая группа в итальянском этносе, говорящая на диалекте итальянского языка. В антропологическом отношении фризы — светловолосые блондины с прямым носом, сицилийцы — темноглазые брюнеты с выгнутой спинкой носа.

^{123*} *Авалокитешвара* — один из самых знаменитых почитаемых бодхисаттв (см. коммент. 96*), воплощением которого является тибетский далай-лама. О значении его имени ученые спорят донныне и переводят по-разному: *бог, который смотрит вниз; бог, который увидит; бог, которого увидели; бог взгляда* и даже (но в несколько ином написании на санскрите) *наблюдающий за звуками*.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

2

Мартинюс. Нейхофф.
В ПРЕДРАССВЕТНОЙ
МГЛЕ*

* Martinus Nijhoff. *Voor dag en dauw*. Verzamelde gedichten. Prometheus. Amsterdam (dbnl), 2008.

Открытое письмо

Дорогой Хёйзинга,

нижеследующие восемь сонетов посвящены Вам. Они возникли благодаря Вашей книге *In de schaduwen van morgen**. Или, точнее сказать, не столько самой книге, сколько ее названию. В магазинах были вывешены объявления уже за недели до того, как она появилась. Слова *In de schaduwen van morgen* можно было понять совершенно по-разному. Мне, например, слышалось в них более *A l'ombre de l'aube* [В тени рассвета], чем *A l'ombre de l'avenir* [В тени будущего]. Но после того как я прочитал саму книгу, я понял, что, в противоположность тому, что я ожидал, в словосочетании, которое являет собой заглавие, Вы делаете ударение в большей степени на *schaduw*, чем на *morgen*.

Тем не менее Ваше уверение, что Вы оптимист, а не пессимист, я принимаю безоговорочно. Для ясности: выражаясь высоким слогом, Вы скорее Исаия, нежели Иеремия. Вы видите, что мир делается пустыней, но среди всей этой гибели продолжаете верить в спасение. «Он сделает пустыни его как Эдем, и чащи его, как сад Господа». Общественные устои рухнули, пессимизм стал роскошью и более невозможен. Но в моменты расчета с прошлым будущее убеждает нас, что даже самая утонченная философия есть не что иное, как малодушие. Только действие обещает спасение. Но какое действие? Это видно неясно. Мы живем в *предрассветной мгле*.

Таково заглавие, которое стоит перед посвященными Вам сонетами. Я попытался набросать очертания восьми персонажей

* См. Предисловие на сс. 6–7 наст. изд.

в предутренних сумерках. Это инженер, который спит в своей квартире напротив фабрики; девочка, расчесывающая волосы; вагоновожатый, выехавший в первый утренний рейс по городу; двое молодых супругов у себя в спальне; поэт, вызывающий в памяти кафе, где он был накануне вечером; уборщица, берущаяся за уборку дома; мальчик, который рано утром принимается за уроки; и наконец двое стареющих супругов, начинающих всё заново, как говорится, на иной основе.

Работать мне пришлось долго, я не раз откладывал всё это в сторону, мне приходилось, пока я писал, перечитывать написанное Вами и написанное у Исаии, прежде чем я счел эту чреду стихотворных строк достойной духа, которым проникнута Ваша книга.

С дружеским приветом,
Ваш М[артинюс] Н[ейхофф]

Бигхекерке, 1 сентября 1936 г.

I

De tekentafel voor het brede raam
bewaart van 't sterrenbeeld voorbijgevloden
een spoor op het papier; passer, potloden
liggen gedrenkt door de verdwenen maan.

De booglamp, op 't fabrieksterrein nog aan,
slaapt lachend in, als op haar bed een dode,
nu zij, voor 't werkmanstreintje uit stad ontboden
de klokjes langs de lijn heeft horen slaan.

De ingenieur, om 't heerlijke gesuis
van de machines, droomt, hij laat zijn huis
later, vlak tegen de fabriek aan bouwen.

De vogel is het struikgewas ontsneld.
In grote stilte gaat over het veld
het langzaam licht zich als een hand ontvouwen.

I

Чертежный стол у самого окна,
след тающих созвездий на бумаге,
карандаши напились лунной влаги;
неподалеку фабрика видна.

Там дуговая лампа зажжена,
под утро не хватает ей отваги
дремать — от железнодорожной тяги,
ударов в колокол вдоль полотна.

Но инженер еще охвачен сном,
под гул машин, близ фабрики свой дом
он выстроит, венец его старанью.

Мелькнула птица где-то в вышине.
И над землей в безмолвной тишине
свет медленно плывет простертой дланью.

II

Terwijl de kam het goud schraapt bij elkaar
waar de ongezeggelijke zon mee speelt,
al knetterend, vertelt het meisje haar
kleine verhaaltjes aan haar spiegelbeeld,
verhaaltjes, die de pop waarschijnlijk waar
zij nog in bed mee slaapt heeft meegedeeld,
of die, als men het haar voor 't vlechten deelt,
't oor ingefluisterd worden door het haar.

Leg ze niet uit, die woorden; sta niet stil,
het haarlint strikkend, bij wat zeggen wil,
trouwen, geld, reizen, kinderen; 't is taal
van kaartlegsters; 't zijn woorden waar eenmaal
een verre wanhoop in is vastgelegd,
maar vol van diepe vreugde als men ze zegt.

II

Течет по гребню золотая прядь
и солнце с ней задорное играет,
а девочка спешит пересказать
себе же в зеркале, что сообщает
ей кукла, с ней ложащаяся спать;
всё, что бывает или не бывает;
и то, что нашептать ей успевает
на косы разделившаяся прядь.

Не придавай значения словам,
завязывая бант, мечтам, деньгам,
нарядам, детям; всё это язык
гадалок; только преходящий миг,
далекого отчаяния грусть —
и радости; сказала, ну и пусть.

III

Verwachtingen en haren eenmaal grijs
zijn niet als nevelen van 't hoofd te vagen,
mijmert de trambestuurder, bij de slagen
der ruitenwissers, mogelijkerwijs.

De eerste rit is altijd weer een reis.
Full speed. Hij ziet bij 't zingen van de wagen
oude, onvergetelijke winterdagen
als niemand voor hem uit was op het ijs.

De stad slaapt nog. Zo ver men zien kan zijn
rolluiken voor de winkels neergelaten.
De draad hangt drup'lend door de lege straat.

Verstoot de woonsteden, o God, en laat
de kalveren weer weiden in woestijn.
Twist met ons, twist met ons, twist niet met mate.

III

Нельзя ни мысли, ни седую прядь
стереть со лба, как пелену тумана,
вожатый думает; по стеклам неустанно
не прекращают дворники сновать.

Он в первый рейс отправился опять.
Full speed*. Вагона песнь ему желанна,
как встарь, на лед он вышел утром рано,
и никому его не обогнать.

Весь город спит. И взгляд куда ни кинь,
шторы опущены, и все витрины серы.
Над улицей в каплях провода.

Низвергни города, Господь, тогда
пусть вновь тельцы пасутся средь пустынь.
Карай же нас, карай, карай без меры**.

* «Самый полный <вперед>» (англ.) — позиция на контроллере вагоновожатого.

** Нейхофф вспоминает пророчество об идолопоклонстве Израиля: «Мерою Ты наказывал его, когда отвергал его; <...> ибо укрепленный город опустеет, жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будут пастись тельцы и там будут покоиться и объедать ветви его». Ис 27, 8–10. За нынешние прегрешения Господь будет карать *без меры*.

IV

Hij knoopt, om 't licht te temperen voor 't kind
dat in zijn bedje zich ligt om te keren,
een zakdoek om de peer heen, en begint
doodstil zich voor de wastafel te scheren.
De vrouw, zich slapend houdend, hoort zich zweren
dat zij beminnen zal wat zij bemint:
o licht, wees vuur, ontsteek de morgenwind
opdat de ziel tot het vlees toe vertere.

Hij ziet dat zij het voorhoofd fronst; haar hand
balt zich; deze is zijn vrouw, zij huilt; hij ziet
diep, diep de spiegel in, hun huis in brand;

hij ziet dat, eens, en of hij wil of niet,
in weerwil van zijn vrees zijn wens geschiedt:
hij, zij en 't kind trekkend naar ander land.

IV

Он бриться собирается, берёт
платок, чтоб лампу им прикрыть, в расчете,
что сон, ворочаясь, свой не прервёт
дитя, врученное его заботе.
Жена, еще в предутренней дремоте,
любить их всех зарок себе даёт:
свет, стань огнем, который всё пожрёт,
не оставляя ни души, ни плоти.

Он видит, она мечется во сне,
сжимая руки; слышит ее стон;
он видит в зеркале: их дом в огне,

но будет всякий страх преодолен,
и, как желал, тогда увидит он
себя, ее, дитя в другой стране.

V

Hij was een avond vroeg naar bed gegaan.
Hij kon niet slapen. Het was volle maan.
Uit een café niet ver van 't huis vandaan
klonk dansmuziek. Hij is weer opgestaan.

Hij had niet veel tijd nodig zich te kleden.
Hij liep snel de drie trappen naar beneden.
Nauwlijks op straat, voerde, na een paar schreden,
de mensenmenigte hem met zich mede.

Hij kreeg een tafeltje bij de muziek.
Maar toen hij, door 't rumoer der kleine luiden
gegergd, acht ging slaan op het publiek,

begonnen de gezichten straatgeluiden,
dromen en kinderliedjes te beduiden
en in de dichte mist alarm te luiden.

V

Он в этот вечер рано лег в кровать.
Он спать не мог. Луна мешала спать.
И продолжала музыка играть
в кафе поблизости. Он снова встать

решил, в костюм висевший облачился,
на три пролета лестницы спустился
и сразу, чуть за дверью очутился,
на улице в поток нестройный влился.

Близ музыки он столик отыскал
и постепенно начал, понемногу
вживаясь в этот неумолчный шквал,

в мельканье лиц нащупывать дорогу
к снам, детским байкам, всякому предлогу
в густой и дымной мгле забить тревогу.

VI

De kamer hardt de lucht niet langer van
tabak en onververste bloemenvazen,
en in de keuken vragen whisky-glazen
of de aanslag ooit nog afgewassen kan.

Gedenkt vorige dingen niet, gij dwazen;
'k maak alle dingen nieuw; ik zal geen man
om Jacob's zonde uitleveren ten ban;
ik ben met u; ik ben de eerste en de laatste.

Reeds is de werkvrouw aan het werk gegaan.
De poetsmand laat ze in de open voordeur staan.
O, merk hoe luchtiger in huis het wordt!

Zij poetst, buiten, het koperen naambord.
Hoe spiegelen wordt het, hoe smetteloos!
De wildernis zal bloeien als een roos.

VI

Всё в комнате пропахло табаком,
в цветочных вазах гниль, стол за собою
не убирают и на нём чредою
стаканы из-под виски; всё вверх дном.

Глупец, не дай былому стать бедою.
Я новь творю*; Иакова грехом
не попрекну, не покидай свой дом**.
Я первый и последний***, я с тобою.

Уборщица пришла уже. Теперь,
заметь, весь мусор вынесен за дверь.
Все чисто, любо-дорого смотреть!

Начищена дверной таблички медь.
Всё заблестит без этого навоза!
Пустыня снова расцветёт, как роза****.

* Ис 43, 19; 2 Кор 5, 17; Откр 21, 5.

** Библейский Иаков за чечевичную похлёбку «купил первородство» у своего брата Исава. Получив благословение своего отца Исаака и опасаясь мести Исава, Иаков должен был бежать из родного дома (См.: Быт 25, 33–34; 27).

*** Откр 1, 10.

**** «De woestijn... zal bloeien als een roos» (*De Bijbel in de Statenvertaling*, 1618–1619. *Jes* 35, 1) [«Пустыня... расцветет, как роза»] (Нидерландская Библия, официальный перевод, 1618–1619 гг. *Ис* 35, 1). *Wilderis = woestijn* [пустыня].

VII

Niet zonder stap voor stap het oor te lenen
en zich bij elk gerucht te vergewissen:
't is niets; sluipt, na een gang vol hindernissen,
de jongen in zijn nachtgoed op de tenen
de deur in waar zijn zuster slaapt. Verdwenen
is alle vrees de zekerheid te missen
zijn schat bewaard te zien in duisternissen.
Hij zit een wjl aan 't bed, en sluipt weer henen.

't Horloge op tafel, de gevouwen kleren,
de schoolschriften onder de lamp geopend,
wachten totdat de jongen weer zal keren.

Hij zal zich kleden, heen en weder lopend,
hij zal neerzitten, en, zijn pen indopend,
een marschlied neuriënde gaan studeren.

VII

Он движется в потемках, еле-еле,
стараясь не шуметь, как только можно,
за шагом шаг ступая осторожно,
чтоб половицы вдруг не заскрипели;
он входит в комнату, идет к постели,
где спит его сестренка бестревожно;
отсюда мальчику уже не сложно
идти; момент, и он уже у цели.

Вот стол, часы; он начал одеваться.
Тетради, книги лампа осветила.
Со сном теперь пора уже расстаться.

Он сел к столу, рука тетрадь раскрыла,
и, взяв перо и обмакнув в чернила,
стал, напевая марши, заниматься.

VIII

Wij stonden in de keuken, zij en ik.
Ik dacht al dagen lang: vraag het vandaag.
Maar omdat ik mij schaamde voor de vraag
wachtte ik het onbewaakte ogenblik.

Maar nu, haar bezig ziend in haar bedrijf,
en de kans hebbend die ik hebben wou
dat zij onvoorbereid antwoorden zou,
vroeg ik: waarover wil je dat ik schrijf.

Juist vangt de fluitketel te fluiten aan.
Weer is dit leven vreemd als in een trein
te ontwaken en in ander land te zijn.

En zij antwoordt, terwijl zij langzaam-aan
het drup'lend water op de koffie giet
en de damp geur wordt: een nieuw bruiloftslied.

VIII

Стояли мы на кухне. Видит бог,
в который раз спросить я собирался.
Но потому что всякий раз смущался,
теперь хотел застать ее врасплох.

Вот с чем-то возится она. Как знать,
воспользоваться ль шансом, как бывало, —
тогда б она мне запросто сказала,
и я спросил, о чем бы написать?

Тут чайник засвистел. Вот так всегда:
как в поезде, подумалось вдруг мне,
проснешься — и уже в другой стране.

И мне ответила она, пока вода,
за каплей капля, падала отвесно
и пахло кофе: свадебную песню.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Абеляр Пьер (1079–1142), философ и поэт, родом из Франции 225

Август (до 44 до н. э. Гай Октавий, затем Гай Юлий Цезарь Октавиан Август; 63 до н. э.–14 н. э.), римский государственный деятель, император с 27 г. до н. э., фактически с 31 г. до н. э. 26, 273

Августин Аврелий, св. (354–430), христианский философ и писатель, один из отцов Церкви 83, 84, 222, 232, 349

Аверроэс (ибн Рушд Абү-ль-Валид Мухаммад ибн Ахмат; 1126–1198), арабский философ и врач, родом из мусульманской Испании 224

Аделунг Иоганн Христоф (1732–1806), немецкий языковед, лексикограф 208

Александр Македонский (356–323 до н. э.), царь Македонии с 336 г. до н. э. 201

Александр III (настоящие имя и фамилия Роландо Бандинелли; ок. 1105–1181), Папа Римский с 1159 г. 235

Амвросий Медиоланский, св. (340–397), церковный деятель и проповедник, один из отцов Церкви, епископ Миланский с 374 г. 222

Анжуйская династия (Плантагенеты), династия королей Англии в 1154–1399 гг. (старшая линия), 1399–

1461 и 1470–1471 гг. (Ланкастеры), 1461–1470 и 1471–1485 гг. (Йорки) 332

Аристогитон (?–514 до н. э.), афинский тираноубийца 267

Аристотель (384–322 до н. э.), древнегреческий философ 31, 126, 266

Баас Бекинг Лоренс Герхард Маринус (1895–1963), нидерландский микробиолог 282, 283

Байрон Джордж Гордон (1788–1824), английский поэт 106, 125, 318

Бакл (Бокль) Генри Томас (1821–1862), английский историк и социолог 209

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), русский революционер, теоретик анархизма 272

Баскен Хьюэт Конрад (1826–1886), нидерландский писатель и критик 203

Бах Иоганн Себастьян (1685–1750), немецкий композитор 237, 238

Бенда Жюльен (1867–1956), французский писатель, философ, публицист 353

Бентам Иеремия (1748–1832), английский философ, экономист, юрист 249

Бернард Клервоский (ок. 1091–1153), деятель Католической церкви, теолог-мистик; родом из Франции 15, 225

Бетховен Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор 133, 240

Бисмарк Отто фон, князь Шёнхаузен (1818–1898), германский государственный деятель, министр-прези-

* Указатель содержит имена только из основного текста эссе Й. Хёйзинги. Мифологические, литературные и библейские имена не комментируются.

- дент Пруссии в 1862–1890 гг., рейхсканцлер Германской империи в 1871–1890 гг. 209, 238, 291
- Боден Жан (1530–1596), французский гуманист, юрист, политический мыслитель 244
- Борджа (Борха), знатный итальянский род испанского происхождения; под семьей Борджа понимают: Родриго Борджа (1453–1503), Папа Римский (Александр VI) с 1492 г., его дети: сын Чезаре Борджа (1475–1507), герцог Валентинуа, правитель Романьи, и дочь Лукреция Борджа (1480–1519), герцогиня Феррарская 318
- Босуэлл Джеймс (1740–1795), английский писатель, секретарь Сэмюэла Джонсона 205
- Боэций Аниций Манлий Торкват Северин (ок. 480–524), римский философ, теолог, поэт и государственный деятель Остготского королевства 31, 222
- Браак Менно тер (1902–1940), нидерландский литератор, критик, племянник Йохана Хейзинги 307
- Бриан Аристид (1862–1932), французский государственный деятель, неоднократно в 1909–1931 гг. премьер-министр и министр иностранных дел Франции 297
- Брокгауз Фридрих Арнольд (1732–1806), немецкий издатель 211
- Буланже Жорж Эрнест (1837–1891), французский военный и государственный деятель, генерал 271, 280
- Буркхардт Якоб (1818–1897), швейцарский историк и философ культуры 107, 175, 179, 208, 209, 213, 214, 248, 322, 325
- Бэкон Роджер (ок. 1214–1292), философ и естествоиспытатель, монах-францисканец; родом из Англии 229
- Бэкон Френсис, барон Веруламский и виконт Сент-Олбанский (1561–1626), английский философ и государственный деятель, лорд-канцлер в 1617–1621 гг. 32
- Бюргерс Йохан Мартинус (1895–1974), нидерландский математик и физик 283
- Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707–1788), французский естествоиспытатель 47
- Бялобжеский Чеслав (1878–1953), польский физик 252
- Вагнер Рихард (1813–1883), немецкий композитор, писатель, публицист 127
- Валери Поль (1871–1945), французский поэт 125
- Валленштейн Альбрехт (1583–1634), немецкий полководец 258
- Вальдерзее Альфред, граф фон (1832–1904), прусский военачальник, генерал-фельдмаршал, начальник Генерального штаба Пруссии в 1888–1891 гг., главнокомандующий объединенными европейскими вооруженными силами в Китае в 1900–1901 гг. 277
- Вебер Макс (1864–1920), немецкий социолог, философ и историк 69
- Вейлер-и-Николау Валериано, маркиз Тенерифе (1838–1930), испанский государственный и военный деятель, генерал, командующий испанскими войсками на Кубе в 1895–1897 гг., военный министр в 1901–1902 гг. 275

- Вельфы, немецкий княжеский род, герцоги Баварские в 1070–1180 гг. и Саксонские в 1137–1180 гг., графы Брауншвейгские с 1180 г. (далее в Брауншвейге правили до 1918 г. различные ветви этого рода) 235
- Венанций Гонорий Клементиан Фортунат (ок. 540 – ок. 600), галло-римский латинский поэт, церковный деятель Франкского королевства, епископ Пуатье с конца VI в. 222, 223
- Верженн Шарль Гравье де, граф (1719–1787), французский государственный деятель, дипломат 261
- Вилдсхют Дирк Хендрик (1788–1868), нидерландский проповедник 203
- Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941), германский император и король Пруссии в 1888–1918 гг. 276
- Вильгельм I Завоеватель (1027–1087), герцог Нормандский с 1035 г., король Англии с 1066 г. 332
- Вильгельм (Виллем) I Оранский (Вильгельм Нассауский; 1533–1584), руководитель Нидерландской революции, статхаудер Голландии с 1579 г. 244
- Вирхов Рудольф (1821–1902), немецкий медик и политический деятель 209
- Вобан Себастьян Ле Претр де, маркиз (1633–1707), французский военный инженер, маршал Франции 249
- Вольтер (настоящие имя и фамилия Франсуа Мари Аруэ; 1694–1778), французский писатель, философ, историк 105, 204
- Вольтманн Людвиг (1871–1907), немецкий философ, социолог и публицист 61
- Гарибальди Джузеппе (1807–1882), итальянский революционер 291
- Гармодий (?–514 до н. э.), афинский тираноубийца 267
- Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ 94, 155
- Геел Якоб (1789–1862), нидерландский филолог, историк литературы 203
- Генрих II (1133–1189), король Англии с 1154 г. 230
- Генрих VI (1165–1197), император Священной Римской империи с 1190 г. 234, 235
- Генрих Лев (1129–1195) герцог Саксонский в 1142–1180 гг. и Баварский в 1156–1180 гг., граф Брауншвейгский с 1180 г. 235
- Гердер Иоганн Готфрид (1744–1803), немецкий философ 211
- Геродот (между 490 и 480 – ок. 425 до н. э.), древнегреческий историк 143, 350
- Гёте Иоганн Вольфганг фон (1749–1836), немецкий поэт, писатель и естествоиспытатель 125, 133, 141, 237, 238
- Гиппократ (ок. 460–ок. 370 до н. э.), древнегреческий врач 41
- Гладстон Уильям Юарт (1809–1898), британский государственный деятель, лидер Либеральной партии с 1868 г., премьер-министр Великобритании в 1868–1874, 1880–1885, 1886 и 1892–1894 гг. 276
- Гоббс Томас (1588–1679), английский философ 94, 156, 192, 343

- Годвин Уильям (1756–1836), английский писатель и политический мыслитель 272
- Гойя Франсиско Хосе (1746–1828), испанский художник 127
- Голциус Хендрик (1558–1617), голландский гравёр и художник 244
- Гораций Флакк Квинт (65–8 до н. э.), римский поэт 51, 109, 273
- Горький Максим (настоящие имя и фамилия Алексей Максимович Пешков; 1868–1936), русский советский писатель 113
- Грант Мэдисон (1865–1937), американский биолог, социолог и политик 61
- Грасиан (Грасиан-и-Моралес) Бальтасар (1601–1658), испанский писатель и философ 105
- Греви Жюль (1807–1891), французский государственный деятель, президент Французской Республики в 1879–1887 гг. 271
- Григорий I Великий, св. (ок. 540–604), Папа Римский с 590 г. 222, 223
- Григорий VII (Гильдебранд; между 1015 и 1020–1086), Папа Римский с 1073 г. 228
- Гримм Якоб (1785–1863), немецкий филолог 208, 237, 335
- Гроот (Гроций) Хюго (Хёйг; Гуго) де (1583–1645), нидерландский политический мыслитель, поэт и драматург 95
- Гутенберг Иоханнес (ок. 1400–1468), немецкий ювелир, изобретатель книгопечатания 243
- Данте Алигьери (1265–1321), итальянский поэт 125, 180, 186, 194, 205, 206, 213, 241, 246–248, 321, 326
- Декарт Рене (1594–1650), французский философ, математик и естествоиспытатель 32, 190, 341
- Делакруа Эжен (1798–1863), французский художник 126
- Дерулед Поль (1846–1914), французский политический деятель, поэт 271
- Де Ситтер Виллем (1872–1934), нидерландский астроном 47
- Джеймсон Линдер Старр (1853–1917), британский колониальный деятель 276
- Джонсон Сэмюэл (1709–1784), английский писатель и лексикограф 205, 213
- Джотто ди Бондоне (1266 или 1267–1337), итальянский художник 241
- Доминик (настоящие имя и фамилия Доминго Гусман), св. (1170–1221), религиозный проповедник, основатель ордена братьев-проповедников (доминиканцев); родом из Испании 229
- Донателло (настоящие имя и фамилия Донато ди Никколо ди Бетто Барди; ок. 1386–1466), итальянский скульптор 241
- Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), русский писатель 190, 341
- Дрейфус Альфред (1859–1935), французский офицер, безвинная жертва судебного преследования, вызвавшего политический кризис во Франции 271, 273–275
- Дрюмон Эдуард (1844–1917), французский публицист 274
- Дунс Скотт Иоанн (ок. 1266–1308), философ и теолог; родом из Англии 70, 229
- Дюрер Альбрехт (1471–1528), немецкий художник 237, 244

- Елизавета Австрийская (1837–1898), императрица Австрии с 1854 г. 272
- Зимрок Карл Йозеф (1802–1876), немецкий поэт и филолог 335
- Иероним Евсевий Софроний, св. (ок. 340–419 или 420), христианский писатель, один из отцов Церкви 222
- Иоанн I Безземельный (1167–1216), король Англии с 1199 г. 230
- Йост Ханс (1890–1978), немецкий драматург и поэт, в 1933–1945 гг. президент Академии немецкой культуры, в 1935–1945 гг. председатель Имперской палаты литературы и Имперской театральной палаты 355
- Кавур Камилло Бенсо (1810–1861), итальянский политический деятель, премьер-министр Сардинии в 1852–1861 (кроме 1859) гг., премьер-министр Италии в 1861 г. 291
- Камбис II (?–522 до н. э.), царь Персии с 529 г. до н. э. 143
- Камоэнс Луис де (Камоинш Луиш ди; 1524 или 1525–1580), португальский поэт 314
- Кандинский Василий Васильевич (1866–1944), русский художник 127
- Кант Иммануил (1724–1804), немецкий философ 80
- Каракалла (Септимий Бассиан, с 196 г. Марк Аврелий Антонин, с 198 г. император Цезарь Марк Аврелий Север Антонин Август; 188–217), римский император с 211 г., с 198 г. — номинальный соправитель 219
- Кардано Джироламо (1501 или 1506–1576), итальянский натурфилософ, механик, математик, медик, маг и астролог 244
- Карл I Великий (742–814), король франков с 768 г., король Италии с 774 г., император с 800 г. 225, 232
- Карл V Габсбург (1500–1558), император Священной Римской империи в 1519–1556 гг., король Испании в 1516–1556 гг. 245, 246
- Карл II Габсбург (1661–1700), король Испании с 1665 г. 250
- Карл VIII (1470–1498), король Франции с 1483 г. 245
- Карл Смелый (1433–1477), герцог Бургундский с 1467 г. 245
- Карлайл (Карлейль) Томас (1795–1881), английский историк, философ и публицист 106
- Карно Мари Франсуа Сади (1837–1894), французский политический деятель, президент Французской Республики с 1887 г. 272
- Келлог Фрэнк (1856–1937), американский государственный деятель, государственный секретарь США в 1925–1929 гг. 297
- Керн Йохан Хендрик Каспар (1833–1917), нидерландский индолог 356
- Кёйпер Абрахам (1837–1920), нидерландский протестантский теолог, политик, журналист 212
- Киплинг Джозеф Редьярд (1865–1936), английский поэт и писатель 216
- Клавдиан Клавдий (ок. 375–после 404), римский поэт 222
- Клеман Жак (1567–1589), монах-доминиканец, убийца короля Франции Генриха III 272

- Клемансо Жорж (1841–1929), французский государственный деятель, премьер-министр Франции в 1906–1909 и в 1917–1920 гг., председатель Парижской мирной конференции 1919–1920 гг. 293
- Кнеппелхаут Йохан (1814–1885), нидерландский писатель 203
- Кольбер Жан Батист (1619–1683), французский государственный деятель, генеральный контролер (министр) финансов Франции с 1665 г. 249
- Константин I Великий (император Цезарь Гай [или Луций, или Марк] Флавий Валерий Константин Август; ок. 280–337), римский император с 306 г. 220
- Коперник Николай (1473–1543), польский астроном 47
- Кортес Эрнан (1485–1547), испанский конкистадор, завоеватель государства ацтеков в Мексике 246
- Кромвель Оливер (1599–1658), английский государственный деятель, лорд-генерал (главнокомандующий) с 1650 г., лорд-протектор (глава государства и правительства) Англии, Ирландии и Шотландии с 1653 г. 273
- Кропоткин Петр Алексеевич, князь (1842–1921), русский революционер, теоретик анархизма, географ и геолог 272
- Кроче Бенедетто (1866–1952), итальянский философ, историк, литературовед, политический деятель 353
- Крюгер Паулус (1825–1904), президент Республики Трансвааль в 1883–1902 гг. 276
- Кьеркегор (Киркегор) Сёрен (1813–1885), датский философ, теолог и писатель 68, 190, 341
- Кюенен Сюзанна Мария (Сюзе; 1916–1980), нидерландский историк, друг семьи Йохана Хёйзинги 197
- Ларошфуко Франсуа де, герцог (1613–1680), французский писатель и философ-моралист 253
- Ленин (настоящая фамилия Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924), российский политический деятель, руководитель вооруженного переворота в октябре (по ст. стилю) 1917 г., глава правительства (председатель Совета народных комиссаров) РСФСР с 1917 г., СССР с 1922 г. 264
- Леонардо да Винчи (1452–1519), итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер 244
- Ле Руа Луи (Людовик Регий; ок. 1510–1577), французский гуманист, платоник, автор биографии Гийома Бюде (Будеуса), переводил греческих философов 315
- Лессепс Фердинанд Мари (1805–1894), французский инженер, предприниматель и дипломат 143, 271
- Литтре Эмиль (1801–1881), французский филолог, лексикограф и философ 204
- Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945), британский государственный деятель, министр торговли в 1905–1908 гг., министр финансов (канцлер казначейства) в 1908–1915 гг., премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг. 293
- Людовик IX Святой (1214–1270), король Франции с 1226 г. 236

- Людовик XI (1423–1483), король Франции с 1461 г. 245
- Людовик XIV (1638–1715), король Франции с 1643 г. 105, 122, 180, 238, 249, 250, 259, 260, 327
- Лютер Мартин (1483–1546), родоначальник Реформации в Германии 237
- Мадзини Джузеппе (1805–1872), итальянский революционер, глава правительства Римской республики в 1849 г. 290, 291
- Майнеке (Мейнеке, *традиц. неправильно*) Фридрих (1862–1954), немецкий историк 97
- Макиавелли Никколо (1469–1527), итальянский политический мыслитель, писатель, историк, флорентийский политический деятель 94, 156, 192, 244, 343
- Мак-Кинли Уильям (1843–1901), 25-й президент США (1897–1901) 20, 272
- Малиновский Бронислав Каспар (1884–1942), английский этнолог и социолог 36
- Маннхайм (Манхейм, *традиц. неправильно*) Карл (1893–1947), немецкий социолог 22, 69, 97, 98, 146
- Марий Гай (ок. 157–86 до н. э.), римский полководец и государственный деятель, консул в 107, 104–101, 100, 86 гг. до н. э. 334
- Маринетти Филиппо Томмазо (1876–1944), итальянский поэт и теоретик искусства 156
- Маркс Карл (1818–1883), немецкий социальный мыслитель, философ и общественный деятель 264, 319, 333
- Маршалл Фрэнсис Уолтер (1892–1967), американский правовед 282
- Меркадье (ок. 1150–1200), предводитель гасконских наемников на службе у Ричарда Львиное Сердце 257
- Меровинги, династия королей франков (V в.–751) 110, 222
- Микеланджело Буонаротти (1475–1546), итальянский художник, скульптор, архитектор и поэт 318
- Милон Кротонский (до 520–после 510 до н. э.), древнегреческий атлет 287
- Мольер (настоящая фамилия Поклен) Жан Батист (1622–1673), французский драматург и актер 54, 319
- Мондриан Пит (1872–1944), нидерландский художник 127
- Мохаммед (ок. 570–632), основатель ислама 25, 223, 224
- Мюллер-Фрайенфельс Рихард (1882–1949), немецкий философ и физиолог 73
- Наполеон I Бонапарт (1769–1821), французский император в 1804–1814 гг. и в марте–июне 1815 г., первый консул Франции (глава государства и правительства) в 1799–1804 гг. 27, 201, 238, 262, 273, 289
- Нельсон Горацио (1758–1805), английский флотоводец, вице-адмирал 104
- Неко (?–595 до н. э.), египетский фараон с 610 г. до н. э. 143
- Николай II (Николай Александрович Романов; 1868–1918), российский император в 1894–1917 гг. 277
- Николай Кузанский (настоящая фамилия Кребс; 1401–1464), философ, теолог, государственный и церковный деятель; родом из Германии 68, 237, 241

- Ницше Фридрих (1844–1900), немецкий философ 68, 107, 108, 190, 318, 341
- Нормандская династия, династия королей Англии в 1066–1135 гг. 332
- Ньютон Айзек (Исаак; 1643–1727), английский математик, физик, астроном и эзотерик 240
- Ортега-и-Гассет Хосе (1883–1955), испанский философ и социолог 137
- Оттон I Великий (912–973), король Германии с 936 г., король Италии и император с 962 г. 232
- Палмерстон Генри Джордж Темпл, виконт (1784–1865), британский государственный деятель, министр иностранных дел в 1830–1834, 1835–1841, 1846–1851 гг., премьер-министр Великобритании в 1855–1858 гг. и с 1859 г. 291
- Парацельс (настоящие имя и фамилия Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм; 1493–1541), швейцарский врач, естествоиспытатель, маг и алхимик 244, 318
- Петр I Великий (Петр Алексеевич Романов; 1672–1725), русский царь с 1682 г. (самостоятельно правил с 1689 г.), российский император с 1721 г. 260, 261
- Петрарка Франческо (1304–1374), итальянский поэт, гуманист 241
- Пиндар (ок. 518–442 или 438 до н. э.), древнегреческий поэт 125
- Пино Фернандо дель, испанский инженер, адресант Йохана Хейзинги около 1937 г. 351
- Писарро Франсиско (между 1470 и 1475–1541), испанский конкистадор, завоеватель государства инков в Перу 246
- Платон (428 или 427–348 или 347 до н. э.), древнегреческий философ 77, 80, 99, 111, 152, 338
- Принстерер Грун ван (1801–1876), нидерландский политический деятель, протестантский религиозный писатель и публицист 203
- Пруденций Аврелий Клемент (348 – после 405), римский поэт 222
- Птолемей Клавдий (ок. 90–ок. 160), древнегреческий астроном 47
- Рабле Франсуа (1494–1553), французский писатель, гуманист 318
- Равайак Франсуа (1578 или 1579–1610), убийца французского короля Генриха IV 272
- Радегунда (Радегонда), св. (ок. 520–587), с 538 г. супруга короля франков Хлотаря I 222
- Расин Жан (1639–1699), французский драматург и поэт 105, 125, 249
- Раскин (Рёскин) Джон (1819–1900), английский писатель, теоретик искусства 106
- Редон Одилон (1840–1916), французский художник 127
- Рембрандт Харменс ван Рейн (1609–1669), нидерландский художник 203
- Рильке Райнер Мария (1875–1926), австрийский поэт 75, 125
- Риттер Герхард (1898–1967), немецкий историк 96, 156
- Ричард I Львиное Сердце (1157–1199), король Англии с 1189 г. 230, 257, 273
- Росsetти Данте Габриэл (1828–1882), английский художник и поэт 106

- Руссо Жан Жак (1712–1778), французский писатель и философ 23, 25, 253, 261
- Рюйсбрук Ян ван (1293–1381), нидерландский философ-мистик 241
- Салическая (Франконская) династия, династия императоров Священной Римской империи в 1024–1125 гг. 234
- Сейер Эрне (1866–1955), французский социолог и философ 356
- Сен-Симон Клод Анри де Рувруа, граф (1760–1825), французский мыслитель 262
- Сидоний Аполлинарий (430–484), римский латиноязычный поэт и писатель, епископ города Арверны (совр. Клермон-Ферран) с 471 или 472 г. 222
- Синесий Киренский (между 370 и 375–ок. 413), позднееримский грекоязычный писатель, философ и поэт-гимнограф 334
- Слютер Клаус (между 1340 и 1350–1406), бургундский скульптор; родом из Нидерландов 241
- Сорель Жорж (1847–1922), французский философ и публицист 69
- Спиноза Бенедикт (Барух; 1632–1677), нидерландский философ 88
- Сталин (настоящая фамилия Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878 [по уточненным данным]—1953), советский государственный и политический деятель, руководитель Всероссийской коммунистической партии, председатель Совета народных комиссаров (правительства) СССР с 1940 г., диктатор («вождь советского народа») с 1934 г. 113
- Стендаль (настоящие имя и фамилия Анри Мари Бейль; 1783–1848), французский писатель 105
- Стоддард Лотроп (1883–1950), американский писатель, юрист и политик 61
- Тайлор Эдвард Бернетт (1832–1917), английский этнолог 208
- Тамерлан (европеизированная форма имени и прозвища Тимур Ленг, т. е. Тимур Хромец; 1336–1405), среднеазиатский государственный деятель и полководец, эмир с 1370 г. 201
- Тассо Торквато (1544–1595), итальянский поэт 314
- Тацит Публий Корнелий (ок. 58–ок. 117), римский историк 335
- Толстой Лев Николаевич, граф (1829–1910), русский писатель 345
- Трайчке (Трейчке, *неправильно*) Генрих фон (1834–1896), немецкий историк и литературный критик 335
- Тъенк-Виллинк Херман Дидерик (1872–1945), нидерландский издатель 198
- Тюрго Анн Робер Жак (1727–1781), французский философ, экономист и государственный деятель 204, 261
- Уилсон (Вильсон, *традиц. неправильно*) Томас Вудро (1856–1924), американский государственный деятель, 28-й президент США в 1913–1921 гг. 293, 294
- Уитмен Уолт (1819–1892), американский поэт 75, 268
- Умберто I (1844–1900), король Италии с 1878 г. 272

- Уэллс Херберт (Герберт) Джордж (1866–1946), английский писатель 118
- Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ла Мотт (1651–1715), французский писатель, религиозный мыслитель и педагог, епископ Камбре с 1694 г. 249
- Фихте Иоганн Готлиб (1762–1814), немецкий философ 94
- Фишер Ирвинг (1867–1947), американский экономист 294
- Фотел Жан Филипп (1871–1958), нидерландский санскритолог и археолог 356
- Фолленховен Корнелис ван (1874–1933), нидерландский юрист, автор фундаментальных исследований по мусульманскому праву (адат) Нидерландской Индии 96
- Фома Аквинский (1225 или 1226–1274), философ и теолог; родом из Италии 70, 222, 229, 241
- Фрайер Ханс (1887–1969), немецкий социолог 82, 84, 156
- Франциск Ассизский, св. (настоящие имя и фамилия Джованни Бернардоне; 1181 или 1182–1226), религиозный проповедник и поэт, основатель ордена миноритов (францисканцев); родом из Италии 229, 241
- Франциск I (1494–1547), король Франции с 1515 г. 245
- Фрейд Зигмунд (1856–1939), австрийский психолог и психиатр, основатель психоанализа 64, 88, 280
- Фридрих I Барбаросса (ок. 1123–1190), император Священной Римской империи с 1152 г. 234, 235
- Фридрих II Штауфен (Гогенштауфен; 1194–1250), император Священной Римской империи с 1215 г., король Германии в 1215–1222 и 1235–1237 гг., король Иерусалимский в 1225–1228 гг., король Сицилии с 1194 г. 236
- Фридрих II Великий (Гогенцоллерн; 1712–1786), король Пруссии с 1740 г. 260, 261
- Фукидид (ок. 460–400 до н. э.), древнегреческий историк 350
- Фурье Шарль (1772–1837), французский мыслитель 262
- Хаксли Олдос (1894–1963), английский писатель 252, 308
- Хелльвальд Фридрих Антон Хеллер фон (1842–1892), немецкий географ, историк и археолог 209
- Хенне ам Рин Отто (1828–1914), швейцарский журналист и историк 209
- Хёрн Лафкадио (Коидзуми Якумо), американский журналист, уроженец Греции, натурализовавшийся в Японии писатель, переводчик и публицист 278
- Хольбайн (Гольбейн, *традиц. неправильно*) Ханс Младший (1497 или 1498–1543), немецкий художник 244
- Цицерон Марк Туллий (106–43 до н. э.), римский оратор, государственный деятель, писатель и философ 207, 354
- Челлини Бенвенуто (1500–1571), итальянский скульптор и ювелир, писатель 318

- Чемберлен Джозеф (1836–1914), британский государственный деятель, министр колоний в 1895–1903 гг. 276
- Чемберлен Хаустон Стьюарт (1855–1926), английский философ 61
- Чосер Джеффри (ок. 1340–1400), английский поэт 241
- Шагал Марк Захарович (1887–1985), русский и французский художник 129
- Шелер Макс (1874–1928), немецкий философ и социолог 69
- Шеманн Людвиг (1852–1938), немецкий писатель, философ и социолог 61
- Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург и теоретик искусства 208
- Шмитт Карл (1888–1985), немецкий политолог, историк и юрист 79, 84, 155
- Шотуэлл Джеймс Томсон (1874–1965), американский историк 294
- Шпенглер Освальд (1880–1936), немецкий философ и историк 21, 33, 69, 83, 123, 140, 141, 156, 210–213, 215
- Штауфены (Гогенштауфены), династия императоров Священной Римской империи в 1138–1208 и 1212–1254 гг., королей Сицилии в 1194–1266 гг. 234
- Штирнер Макс (настоящие имя и фамилия Каспар Шмидт; 1806–1856), немецкий философ 272
- Эдуард I (1239–1307), король Англии с 1272 г. 273
- Эйк Ян ван (ок. 1390–1441), нидерландский художник 241
- Эйнауди Луиджи (1874–1961), итальянский политический деятель, экономист, президент Итальянской Республики в 1948–1955 гг. 282
- Экхарт Иоганн (Мейстер, т. е. Мастер, Экхарт; ок. 1260–1327), немецкий религиозный теолог и философ 241
- Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882), американский философ и писатель 106
- Эпименид (VI в. до н. э.), древнегреческий философ 44, 45
- Эразм Роттердамский (1466 или 1469–1536), гуманист, писатель; родом из Нидерландов 23, 51
- Эффен Юстус ван (1684–1735), нидерландский писатель 203
- Юстиниан I Великий (настоящие имя и фамилия Петр Флавий Савватий; 482 или 483–565), византийский император с 527 г. 222

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Сильвестров

Предисловие	5
-------------------	---

ТЕНИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

ДИАГНОЗ ДУХОВНОГО НЕДУГА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Предисловие к первому и второму изданиям	17
Предисловие к седьмому изданию	17
I. Настроения заката	18
II. Страхи сейчас и раньше	21
III. Нынешний кризис культуры — в сравнении с прежними	25
IV. Основные предпосылки культуры	32
V. Проблематичность прогресса	40
VI. Наука на грани мыслительных возможностей	43
VII. Всеобщий упадок способности суждения	50
VIII. Снижение потребности в критике	56
IX. Злоупотребление наукой	65
X. Отказ от идеала познания	68
XI. Культ жизни	71
XII. Жизнь и борьба	76
XIII. Упадок моральных норм	85
XIV. Государство государству волк?	94
XV. Героизм	104
XVI. Пуэрилизм	111
XVII. Суеверия	120
XVIII. Эстетическая выразительность при отходе от разума и природы	124
XIX. Утрата стиля и иррационализм	132
XX. Виды на будущее	136
XXI. Катарсис	149
<i>Дмитрий Харитонович</i> Комментарии	158

ЗАТЕМНЕННЫЙ МИР

Возможности возрождения нашей культуры

Предисловие	197
От издателя	198
Введение	198
I. Терминология феномена <i>культура</i>	202
1. Слово <i>beschaving</i> и его эквиваленты: <i>civilisatie, cultuur, civiltà</i>	202
2. Суть понятия и феномена культуры	213
II. Восток и Запад как культурно-историческая противоположность	216
1. Античность этого дуализма не знает	216
2. Единство и многообразие позднеантичной культуры. Влияние христианства	219
3. Запад к 600 г. Ислам	222
4. Ислам также не отделяет Восток от Запада	223
5. <i>Запад</i> возникает лишь как латинское христианство	224
6. Вклад различных народов в культуру Средневековья ...	226
а. Франция и Италия	226
б. Англия	229
с. Немецкие земли, склонность к расширению границ	231
7. Раздробление Германской империи	236
III. Рост и упадок культуры	239
1. Рост, упадок, вершины — всего лишь расплывчатые понятия	239
2. <i>Подъем культуры</i> в приложении к периоду XIV–XVI вв.	240
3. <i>Humana civilitas</i> . Великие — или счастливые эпохи?	246
IV. Культурные утраты ушедшего века	251
1. Культурные достижения и культурные утраты в целом. Ослабление морали	251
2. Милитаризм	254
а. В прямом смысле слова это едва ли приложимо к Античности	254

b. Виды воинской службы в Средневековье	256
c. Ведение войн в XVI и XVII вв.	258
d. Людовик XIV как первый представитель современного милитаризма	259
e. Пруссия и Россия	260
f. Французская революция	261
g. Пауза в истории европейского милитаризма: 1815–1864 гг.	262
h. 1864–1914 гг.	262
i. Гипернационализм	263
3. Появление, расцвет и поругание демократического идеала	264
a. Слово демократия	266
b. Идеал и практика демократии	267
4. Симптомы упадка и оскудения общественной жизни, начиная с последней четверти прошлого века	270
a. Черты вырождения политической жизни в Третьей республике	270
b. Современный антисемитизм в Западной Европе	273
c. Англо-бурская война: 1899–1902 гг.	275
5. Европа на пути к 1914 г. Империализм и интернационализм начала XX в.	276
a. Подъем гипернационализма	279
b. Связь с пуэрилизмом	279
6. Гибель ландшафта	281
V. Возможность восстановления	284
1. Первоочередные условия восстановления основ упорядоченных человеческих отношений	284
2. Переоценка понятия <i>национальное</i>	287
3. Лига Наций, ее добродетели и пороки	291
4. Доверие между государствами	297
5. Требуется основа доверия. Необходимость нового духа	299
6. Чаяние спасения	301
7. Следует ли ожидать возрождения христианской веры? ..	306
8. Кажется ли вероятным если не достижение идеала, то хотя бы новый расцвет в области эстетического?	309

9. Изменения в оценке основных добродетелей	315
10. Буржуа	318
11. Выздоровление культуры через самоограничение и сдерживание?	321
12. Культура и личность	323
13. Культура и государство	325
14. Культура и национальная самобытность. Следует ли опасаться культурного раскола?	327
15. Национальное многоединство	329
16. Крупнейшие нынешние типы культуры	331
а. Латинский	331
б. Англосаксонский	331
с. Славянский тип?	332
д. Германский культурный тип?	333
17. Полное структурное изменение общества?	336
18. Восстановление правового порядка в межгосударственных отношениях	344
19. Соотношения и качественные отличия	346
20. Принцип федерализма	348
21. Заключение	350
<i>Дмитрий Харитонович</i> Комментарии	357

ПРИЛОЖЕНИЕ

Мартинюс Нейхофф

В ПРЕДРАССВЕТНОЙ МГЛЕ

Открытое письмо	422
Сонеты	424
Указатель имен	440

По всем вопросам, связанным с приобретением книг

Издательства Ивана Лимбаха, обращайтесь

к нашим торговым партнерам:

ЗАО «Книжный клуб 36.6»

тел.: (495) 926-45-44, Москва

www.club366.ru

Торговый дом Фигурной

тел.: (499) 346-03-18, Москва

Торговый Дом «Гуманитарная Академия»

тел.: (812) 430-70-74, Санкт-Петербург

www.humak.ru

ООО «Университетская книга-СПб»

тел.: (812) 317-89-72, Санкт-Петербург

Магазины розничной торговли:

«Порядок слов»

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 15
ул. Караванная, д. 12 (третий этаж Дома кино)

тел.: (812) 310-50-36

«Книжный окоп»

Санкт-Петербург, Тучков пер., д.11/5

тел.: (812) 323-85-84

Интернет-магазины:

www.books.ru

www.figurnova.ru

www.labyrinth-shop.ru

Йохан Хёйзинга
ТЕНИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА
ЗАТЕМНЕННЫЙ МИР

Редактор *И. Г. Кравцова*
Корректор *П. В. Матвеев*
Компьютерная верстка *Н. Ю. Травкин*

Подписано к печати 05.04.2010 г. Формат 60×90¹/₁₆.
Гарнитура Garamond Premi Pro. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 2000 экз. Заказ № 3113.

Издательство Ивана Лимбаха.
197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, 28А.
E-mail: limbakh@limbakh.ru
WWW.LIMBAKH.RU

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография „Наука“».
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-89059-127-2



97858904591272

Несправедливость, жестокость, моральное принуждение, притеснение, ложь, вероломство, обман, попрание прав? — Но ведь улицы теперь в изумительном состоянии, и поезда ходят точно по расписанию!

Культуру можно назвать высокой, даже если она не породила ни техники, ни искусства, но она не может быть названа таковой, если ей недостает милосердия.

Даже образованные люди сейчас во множестве поддаются злобе дня, разделяя суждения, которые были бы прощительны лишь для низкой и невежественной черни.

Йохан Хёйзинга

Тени завтрашнего дня — ключ к творчеству и личности Хёйзинги.

Джордж Харинк, 2007

Хёйзинга был одним из тех ученых, которые побуждали к сопротивлению национал-социализму и сделали возможной победу. Но недуги, о которых он говорил, не исчезли.

Джордж Пушингер, 1979